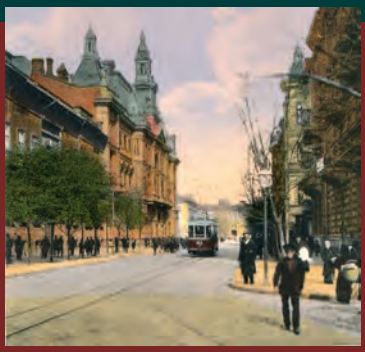
Одесский альманах
№92
I / 2023

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



Год войны показал нашу сплоченность, нашу силу, наше умение и желание защитить свою родину.

Живем и работаем на Победу

PLASKE
ПЛАСКЕ

УДК

Литературно-художественное издание

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (92), 2023
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга, Михаил Пойзнер, Алена Яворская
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Не периодическое издание
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук» Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 21 от 20.01.2003 г.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Тираж 100 экз.
Заказ № _____

ISBN

Літературно-художнє видання

«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 1 (92), 2023
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ»
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Михайло Пойзнер, Олена Яворська
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Не періодичне видання
Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»
Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.
Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Наклад 100 прим.
Замовлення № _____

© «Дерибасовская – Ришельевская», 2023

От редакции

Вы открыли новый выпуск нашего альманаха, уже девяносто второй.

Мы выходим раз в три месяца, четыре номера в год, а значит, нам уже двадцать три года.

Признаемся, выходить в последний год было очень трудно – война.

К окончанию первого года войны России против Украины и приурочили мы выпуск этого номера.

И Феликс Кохрихт, и Евгений Голубовский пережили Вторую мировую. Конечно, были мальчишками, но и голод, и холод, и бомбежки испытали. И все равно нынешняя война эмоционально воспринимается труднее, она бесчеловечна по сути своей, это не война армии против армии, а война России против украинского народа.

В дни, когда мы писали это предисловие к номеру, все средства массовой информации публиковали фотографии из Днепра, свидетельства бесчеловечного преступления России.

Могли ли писатели, живущие с нами в одно время, творить, не ощущая ужасов войны?

Из номера в номер мы ведем рубрику «Под звуки воздушной тревоги» – и это боль, запечатленная в словах, это тоже свидетельские показания наших современников.

И все же не только войной жив человек. Разве не важна сама фантасмагория нашего существования? Мы рады, что в этом номере опубликован короткий роман молодой талантливой украинской писательницы Ганны Костенко, приоткрывающий нам душу современного человека.

А какое разнообразие лирических высказываний в стихах! Конечно, и тут есть антивоенная тема, так и называет свою подборку поэт

и пианистка из Италии Юлия Пикалова, и как эстафету эту тему подхватывает известнейший поэт Украины харьковчанка Ирина Евса…

Номер альманаха нами завершен. Но мы еще не знаем, удастся ли его отпечатать на бумаге. До сих пор девяносто одна книга альманаха вышла и в электронном виде, и в бумажном. Но спонсорам все труднее поддерживать издание. Не только потому, что бумага дорожает, но и потому, что все деньги уходят на поддержку украинской армии. И все же мы надеемся, что удастся отпечатать и этот, рожденный в огне войны номер альманаха.

Ведь в нем, как всегда, монолог Михаила Жванецкого и стихи Юрия Михайлика, в нем эссе Михаила Пойзнера об Олеге Губаре (двадцать два года Олег был членом редколлегии альманаха), археологические расследования Андрея Добролюбского, интервью Евгения Деменка с одесситом, а сейчас крупнейшим поэтом Америки Ильей Каминским, чья помощь, кстати, позволила в бумаге выпустить девяносто первый альманах, интереснейшие автобиографические заметки Виталия Оплачко…

И, естественно, альманах стремится отразить культурную жизнь нашего города. А она и в год войны многообразна.

Ярким событием не только культурной, но и общественной жизни Украины стала мировая премьера оперы Александра Родина «Катерина» – музыкальное воплощение бессмертного произведения Тараса Шевченко. Новый – яркий и новаторский образ героини и Украины представила труппа Одесского национального академического театра оперы и балета.

Тематические выставки в музеях, показы студенческих работ, творческие встречи с воинами во Всемирном клубе одесситов – вот ритм и дыхание города, живущего на берегу, увы, не мирного сегодня Черного моря.

В эти месяцы, несмотря на дополнительные трудности, вызванные реалиями времени, одесские спортсмены стали призерами и победителями крупных международных состязаний.

Нынешний, особый творческий настрой, умение в экстремальных обстоятельствах быть на высоте – тоже традиция. Нынешние поэты, о которых мы рассказали выше, – наследники высокого профессионализма и новаторства предшественников, среди которых в Одессе, в наших краях, а затем – в «городе и мире» творили классики национальных литератур. Об одном из лидеров украинского авангарда, поэте Воло-

димире Сосюре – публикация Алены Яворской, о зачинателе современной еврейской литературы на исконном языке, иврите, – статья Евгения Голубовского.

С первого номера и уже много лет мы рассказываем о звездах одесской журналистики, о периодических изданиях разных времен и направлений. На сей раз всей редколлегией восклицаем: «Мы – из «Одессы»!». Этот журнал, который мы выпускали в конце 90-х, породил альманах «Дерибасовкая – Ришельевская». О том и этом времени – ностальгические воспоминания Феликса Кохрихта и Сергея Осташко.

И в заключение – о событии, быть может, и не масштабном, но символичном: недавно во Всемирном клубе одесситов возродился Джазовый клуб, в котором собрались и те, кто помнит концерты Леонида Утесова, и молодые музыканты, живущие в ритме джаза, присущем Одессе. Так считал, в этом был уверен Михаил Жванецкий.

Год войны показал нашу сплоченность, нашу силу, наше умение и желание защитить свою родину.

Живем и работаем на Победу.

Михаил Жванецкий

«Наших дурят»

Меня обманывают, потому что я переживаю.

Какой смысл обманывать того, кто пропускает обман мимо ушей, или того, кто не слушает обман? Граждане! Какой толк? Зачем? Смысл какой? Какая радость от выдумки, от жалобы?

Обман всегда связан с жалобой. Обман связан с просьбой.

Обманывая, рассказывать о себе, о своём здоровье, о своём тяжёлом положении как раз, как назло, накануне его большого взлёта, огромных заработков, и тут на тебе – перелом ноги, ребра, сустава, мозгов.

– Ты в гипсе?

– Уже снял. Но прихрамываю.

Самый тонкий проход в душу – просто рассказывать.

– Такая жара. Ни кондиционера. Ни воды. Такой холод. Батареи надо менять. Крыша протекает. Штаны износились, эх…

Потому вас и обманывают, что вы выслушиваете.

Хотя, казалось бы, какой смысл выслушивать того, кто дважды соврал? Кто трижды соврал. Что отвечать врущему? О чём с ним?

Вам ему сказать нечего, кроме того, что вы здоровы. Если вы скажете, что больны, вы услышите поток лжи… Только: «Я здоров. Всё хорошо. Ты замечательно выглядишь».

Дайте понять, что вы его поняли, и на все жалобы: «Я рад, что у тебя всё так хорошо… Как хорошо?.. Так хорошо!».

Вы чувствуете, что дикий разговор во взаимном тупике… Он столбенеет. Сверните в переулок, даже если вам туда не надо. Куда бы вы ни рванули – там лучше. В себе вы кое-как разберётесь. В нём – никогда. Оставьте его там! Кто-то его отравит или подожжёт. Как можно войти в положение врущего человека?

Мы попали с нашим воспитанием в мир обмана. Он торчит из земли, свешивается с карнизов, торчит на экране. Взамен огромного слоя советской лжи, что в виде чёрной тучи ходила над нами, на нас опустился обман в виде тумана. Этот туман из политики, рекламы, знахарства легче пережить, но трудно перенести.

Не надо говорить о человеке, который врёт! Не надо получать от него письма и звонки. Повесьте трубку…

Почему крик «наших бьют!» – собирает толпу? А крик «наших дурят!» – никогда? А надо собираться!

Ибо, ах, ибо этот обманывает того.

Тот – того.

Тот – того.

И самый тот – моего.

Этого «наших дурят!» терпеть нельзя.

Юрий Михайлик

Не верю снам

* * *

Не верю снам, с провидцами не спорю,
– но пробудись, опомнись, оглянись –
там шесть волков на снежном косогоре
стоят неровной строчкой – сверху вниз.

Они застыли – как окаменели,
который год, которые века,
как темные, не шелохнувшись, ели,
как белая, не двигаясь, река.

Январской ночью на опушке леса
они глядят, судьбу не торопя,
без сожаленья и без интереса
не на тебя, а в ночь поверх тебя.

Уже и жизнь прошла, и в снах смешалась
молчаньем волчьим, волчьей тишиной –
а то ли волчья шалость, волчья жалость,
иль волчья шутка в полночь надо мной…
Не верю снам. Я как заговоренный,
и в эту явь поверить не могу –
где шестеро уходят вверх по склону,
следов не оставляя на снегу.

* * *

Погляди, дорогая, мы еще никуда не ушли,
если облако нежности плывет в небесах вдали,
вот оно и останется, ему и плыть в вышине,
остальное забудется в ветре, в морской волне,
и пускай этот ветер несет и приносит слезы и смех,
ибо нашего облака нежности хватит на всех,
вот когда его взвесят на холодных вышних весах
и над берегом моря, и на дальних и ближних лесах,
и на северных с южными, сколько их там, – полюсах,
вот тогда наше время закончится во всех мировых часах.
Но пока это облако плывет в золотой золе
и пока все рифмуется в небе и на земле,
и пока этот миг не оттикает, мой друг, пока
над тобою и мною еще плывут облака,
наше облако нежности снова – который год –
над тобой остановится, чуть медленней поплывет.

* * *

Одиночество – время созвучий,
одинокому ночью видны
лишь обломки зеленой, колючей,
может, жизни, а может, луны,
день был смутен, а сумерки скрытны,
только ночь прожигает насквозь,
то, что виделось прочным и слитным, –
все раздельно, предельно и врозь.
Нет у ночи предвестий и знаков –
одиночества краткий оскал –
нет пророчеств и нет зодиаков,
лишь осколки от льдов и зеркал.
Все разрозненно, все удаленно,
и не зная судьбы наперед,
лупоглазая птица ворона
над тобой в темноте заорет.

* * *

Хорошо мы в мире тающем живем –
тает льдина, на которой мы плывем,
тает берег, удаляясь, а пока
тихо тают, улетая, облака,
и сгущается над нами свысока
малозвездная морозная тоска,
ибо тающим зияньем осиян
снизу тоже ледовитый океан.
Все растает с наступлением тепла,
жизнь истаяла и ярость истекла,
только горечь в оплывающей строке,
в тихо тающем меж нами языке,
и зеленые полуночные сны –
словно искры исчезающей страны.

* * *

По А. Герцену

У войны слишком много поклонников,
но хороших царей не проси.
Либеральней жандармских полковников
никого не найти на Руси.
А полковники – мелкие, ловкие,
от людей отличимы едва,
но украшены боеголовками,
где у прочих людей голова.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Под звуки воздушной тревоги

Из ленты Фейсбука

12 **Людмила Шарга**
Вспомнился «Щедрик»

16 **Виктория Коритнянская**
Маленький рассказ про чудо

18 **Юлия Мельник**
Позволь

19 **Тая Найденко**
Стресс и ярость

22 **Анна Михалевская**
Два направления одного замкнутого пространства

Людмила Шарга

Вспомнился «Щедрик»

Сигнал воздушной тревоги может настигнуть где и когда угодно: дома, на улице, на бегу, на ходу, во сне.

Так настигает смерть. Когда и где – предугадать невозможно, лишь предчувствовать.

Возраст не имеет значения.

У каждого свой часовой механизм, свои часы.

Привыкаем настолько, что перестаем чувствовать ход своих часов. Свое время.

Привыкаем к суете и спешке, к традициям и обычаям праздников, к похоронным ритуалам, к электричеству, вернее – к его отсутствию, рефлекторно протягивая руку к выключателю.

К людям, которые были близки, или только казались такими.

В телефонном разговоре всплывает имя. Улыбаюсь: а… знаю, конечно. Помню.

Возможно, всплывает где-то и мое имя, и кто-то говорит: «Знаю». Конечно, знаю.

Не знает, скорее – помнит.

Как помню и я.

Знать человека и помнить, каким он был, – абсолютно разные, едва ли не полярные точки: от начальной до конечной огромное расстояние. Жизнь. К которой мы тоже привыкаем и думаем, что будем всегда.

Кто сказал: «Не знаю, но помню»?

Возможно, это из чужой жизни, чужого опыта, близкого и мне.

Такое случается редко. Чужие слова и мысли, какими бы они мудрыми ни казались, останутся чужими.

Опция в социальных сетях «поделиться» позволяет украсить свою страницу чужими премудростями. Только лишь страницу – не жизнь. И в этом тоже есть привыкание. К чужим мыслям, чужой жизни, чужому опыту.

Привычки сводят на нет всё. Почти всё.

На рождественской ярмарке, открывшейся во внутреннем дворике одесской кирхи – кафедрального собора святого Павла, многое из того, к чему мы привыкли бы, вне всяких сомнений, но праздник Рождества приходит раз в году (я не о различиях в календарях и конфессиях, лишь о привычках). К счастью.

Иначе штоллены… вот они выложены на прилавке, и даже упаковка не мешает праздничному аромату кружить голову, которая и без того уже кру̀гом от пряных, сдобных, разных ароматов, смешивающихся в один – дух праздника.

Пекли бы их, когда вздумается, жили бы от выпечки до созревания – и утратили бы ощущение и вкус праздника.

У огромного котла с глинтвейном достаточно задержаться на несколько минут – пить необязательно, но перед соблазном устоять невозможно.

После отправиться к лоткам с рождественской выпечкой, штруделями, брецелями и, конечно, колбасками.

Ловцы снов раскачиваются – один другого лучше, ловят сны не только во сне, но и наяву.

– Покупайте! Ручная работа… Все ваши сны будут пойманы.

Благодарю и отхожу от палатки: я и сама неплохо ловлю сны, и не только свои, в чем неоднократно убеждалась.

Солнечный теплый день, улыбающиеся люди, детский смех, музыка… Лунає всесвітньо відомий «Щедрик». Щедрівка, на основі якої композитор Микола Леонтович створив легендарну пісню, що підкорила світ.

4 грудня відбувся великий концерт «Notes from Ukraine» у концертному залі Карнеґі-хол, що в США. Саме сто років тому на цьому місці вперше виконали колядку «Щедрик».

У 2023 році виповнюється і 145 років із дня народження Миколи Леонтовича. Він працював майже все життя. Першу редакцію «Щедрика» було написано до 1901-1902 рр., другу – у 1906-1908 рр., третю – 1914 р., четверту – 1916 р., і, нарешті, п’яту – 1919 р.

23 января 1921 года сорокатрехлетний украинский композитор был убит чекистом, попросившимся до этого переночевать в доме.

Трагедия произошла в доме отца Леонтовича в селе Марковка Винницкой области. Подробности этого преступления всплыли на поверхность лишь в 90-е годы, когда был открыт доступ к архивам. В архиве был найден отчет чекиста.

В тот день в 1921 году в Марковку приехали двое – извозчик Федор Грабчак и оперуполномоченный Винницкой ЧК Афанасий Грищенко. Именно последний ночью и выпустил пулю в композитора. К утру тот истек кровью и умер, а чекист, предварительно ограбив дом, покинул село.

Еще при жизни Леонтович опубликовал более двухсот произведений, собрал музыкальный фольклор, руководил целыми песенными коллективами школьников, обрабатывал украинские народные песни и создавал свои. А «Щедрик» стал поистине мировым хитом, известным далеко за пределами Украины.

«Щедрик» можно услышать во многих фильмах: «Один дома», «Санта-Клаус», «У зеркала два лица», «Крепкий орешек 2» и даже в «Гарри Поттере»…

Существует классическая камерная версия, для хора, для оркестра, рок-версия и а капелла, конечно же.

Вспоминается еще одно имя… Еще одна смерть. Владимир Ивасюк.

24 апреля 1979 года после телефонного вызова он вышел из дома и больше не вернулся. 18 мая его случайно нашли повешенным в Брюховичском лесу подо Львовом. Официальной версией смерти названо самоубийство.

Согласно неофициальной версии, к смерти Ивасюка мог иметь отношение КГБ.

Возвращаюсь к привычкам. К тому, что обновление новостей смотришь каждый час, и к ним привыкнуть невозможно: в Херсоне в результате российского обстрела погибли восемь человек. Пятьдесят восемь получили ранения. Восемнадцать человек находятся в тяжелом состоянии.

Российские террористы ударили по гражданским объектам. Под вражеским огнем оказались рынок, торговый центр, жилые дома, а также административные здания…

И к этому привыкли. К тому, что какая-то там «армиямира» подло и трусливо бьет по мирному населению и именует свои ракеты «ракетами добра».

«Щедрик» поют бойцы НАТО. Видеоролик снят в Латвии.

Не так давно в ленте мелькнул текст: возмущенный автор рассказывал о нелюбви к русским в странах Балтии…

И автор неглуп вроде. Но непробиваемая глухая стена спеси, уверенности в «благих намерениях» страшнее глупости.

Из истории любвеобильности страны-агрессора: Финляндия. Суоми-красавица. Текст жуткой по смыслу песни написан в 1939.

Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

Чуть менее века спустя, за две недели до 24 февраля, прозвучало: «…терпи, моя красавица…» уже по отношению к Украине.

Нет покоя красавицам, пока рядом рыщет чудовище.

…щедрик, щедрик, щедрівочка,
прилетіла ластівочка…

Виктория Коритнянская

Маленький рассказ про чудо

Последний экзамен, или Почему вдруг ноги у одного ангела превратились в утиные лапки…

Последний экзамен в ангельской школе был физкультура. Лёт на дистанции тридцать, сто и три тысячи метров, челночный лет, прыжки в высоту и в длину с места… В конце сдавали хождение по воде.

Заблаговременно был заполнен на поляне бассейн, и сотни юных ангелов разминались у его высоких бортов. Суетились рядом воспитатели, и грозный ангел – учитель физкульфтуры Ноах, кружился в нетерпении с золотым свистком на веревке.

Посмотреть, как будут сдавать выпускники один из самых сложных нормативов, собрались, казалось, все ангелы неба. Пожаловал даже Бог. И вот… Свисток!

– Начали! – крикнул Ноах, и ангелы, слегка помогая себе крыльями, медленно пошли по водной глади. – Так! Так! Молодцы! – восхищенно ревел учитель.

– Смелее! Давай! Давай, как Бог! – кричали бегущие у бортов воспитатели.

И ангелы дружно – все как один, успешно дошли до края бассейна. Некоторые даже не намочили края туники, потому что шли на носочках…

Следующие ангелы тоже справились с заданием. И те, что за ними, сдали на отлично.

– Ай да молодцы! – восторженно хлопал в ладоши Бог. – Ей-богу, молодцы!

Но вот у края бассейна встали последние выпускники. Среди них явно со страхом взирал на водную гладь невысокий ангел с такими же, как у розового фламинго, крыльями.

– Помнишь, как я учил?! Соберись! – подлетев, бросил ему Ноах.

Свисток. Ангелы уверенно пошли вперед. Они шли, почти не касаясь воды, и только один, с розовыми крыльями, то и дело проваливался в воду.

– Вперед! Помогай себе крыльями! – кричал ему учитель, но ангел, весь в слезах, остановился…

Постояв минуту, он развернулся и хотел уже вернуться, как вдруг… Ноги его… Стали точь-в-точь, как у утки! Ярко-оранжевые, почти красные, с большими кожистыми перепонками между пальцев…

От сотворенного чуда у всех собравшихся перехватило дыхание. Даже Ноах перестал кричать… И тут в тишине…

– Не бойся! Поверь, ты можешь! Иди! Смелее! – заговорил Господь.

И ангел пошел. Сначала несмело и робко, но с каждым шагом все увереннее и увереннее. Он дошел до края бассейна, развернулся и, сияя от счастья, побежал назад, не замечая совсем, что ноги его снова стали прежними…

– Главное – поверить в себя! – улыбнулся Бог и тут же исчез.

Экзамен был окончен.

Юлия Мельник

Позволь

Позволь быть дню медлительным и тихим,
Не обессиль его, не потревожь,
Пусть будут синь и солнечные блики,
А после – что угодно: ветер, дождь…
Позволь далекой ветке раскачаться
И птицу сонную не уронить,
Воде звенеть, а счастью превращаться
В веселую серебряную нить.
Позволь себе бесхитростное знанье,
Что вышагнуть возможно за слова,
За горечь жестов, тесноту дыханья –
В хрустальные ладони Рождества.

25.12.2022

Тая Найденко

Стресс и ярость

Оставаясь зимовать в Одессе, я примерно так себе это и представляла.

Только хуже.

Например, мебель и виноградник я заранее мысленно разделила на то, что пойдет на растопку, и на то, что пойдет на растопку, когда закончится то, что пошло на растопку первым.

Этот диван в детской комнате я давно не любила…

Чего я не представляла, перечитывая книги о блокадном Ленинграде и ужасах разбомбленного Лондона, так это пару сотен «пунктів незламності» на город, пауэрбанки, крошечные лэд-лампы, налобные фонарики, генераторы и газовые мини-плиты с баллончиками.

Все-таки век двадцать первый.

Жить со всем этим почти комфортно.

* * *

Но есть и неудобства, разумеется. Графики отключений составить почти невозможно, свет появляется в разное время, то на час, то на два, то на благословенные семь-восемь.

В таких условиях сложно готовить любимые блюда: плов со свининой, борщ на говяжьей кости, налистники с творогом, тефтели… Эхх…

Всегда думала, что я люблю Мандельштама. Оказалось, что вкусно пожрать – люблю не меньше.

Мясо хранить негде, разве что на улице, под дождем и коварным присмотром котов. А успеть при внезапном появлении света за несколько часов купить все для готовки и приготовить – проблематично.

* * *

Газовая плитка с баллоном, которую заботливо подогнала мне подруга (а я еще думала, что это я тут о ком-то позабочусь, ага…), ужасно пугает с непривычки.

Точно так же, переходя в юности с газовой плиты на электрическую, я несколько месяцев жила с мыслью, что подлый компот или яичница непременно убьют меня током.

Теперь вот, кипятя воду на газу, подозреваю баллон во взрывчато-коварных намерениях.

Увидев в новостях очередную историю о взрыве такого баллона в одесской квартире, торжествующе сунула под нос мужу: я же говорила, что эти твари опасны!

Муж почесал в затылке, еще раз изучил конструкцию зловещего прибора – и полез копаться в новостях сам.

Через пару минут нашел детали той истории: одесситка оставила газовый баллон на электроплите, на включенной электроплите, временно отлучившейся вместе со светом; а затем плита заработала снова – и баллон с газом отреагировал на это нагревание соответственно.

– И вот если только ты не планируешь провести подобный эксперимент… – начал муж.

Но нет, такого я не планирую. У меня эти две плиты на всякий случай даже в разных помещениях находятся – чтобы не сговорились!

* * *

До появления газовой плитки (которую я и теперь стараюсь больше, чем на десять минут, не включать) было грустнее.

Конечно, бутылка кефира и полбатона – отличный завтрак, но это если на ужин предусмотрено жаркое или хотя бы макаро-

ны с хорошим сыром. А когда на обед яблоки, а на ужин тот же кефир с хлебом, это грустно.

Люди мы тощие, на диетах никогда не сидели, к ограничениям не привыкли.

Диета в еде тут же сказывается на предпочтениях в чтении, кстати.

В один из таких дней взялась перед сном за женский роман, где средневековый граф с любовницей решил отобедать, и им подали – что бы вы думали?! – яблоки, хлеб и кислый эль (то есть тот же кефир по-средневековому).

С криком отвращения отшвырнула я дешевую бульварную книжонку – и взялась за другую, гораздо более лучшую, где графу подали отварную говядину с тушеными овощами, цыпленка под соусом, запеченную на углях рыбу с травами и всяческие восхитительные десерты.

* * *

Стресс и ярость отлично гасятся поеданием семечек.

Ну или прикрываются, чтобы других не пугать.

Если просто сидишь в углу с пеной у рта и скрежещешь зубами, это как-то напрягает окружающих. А если при этом в зубах семечки, то ты уже с виду не психопат на грани массового убийства, а немного нервный грызун-переросток.

Подруга на днях рассказала, что ее родственник раньше выращивал отличные грибы-вешенки в подвале, на мешках со скорлупой от семян подсолнечника. Но теперь этой скорлупой, говорит, не торгуют…

– О, если от жареных вам тоже подходит, то это не проблема! - заверила я. – Нагрызу!

Подруга усомнилась, что у меня получится собрать этой шелухи мешков пять.

Но… Судя по настроению, мешка два к Новому году точно нагрызется.

Ибо страшен гнев тихих людей, молча грызущих семки до времени… Страшен, странен и, в общем, безмерен!

Да, мешков на пять точно хватит.

Анна Михалевская

Два направления одного замкнутого пространства

Когда не можешь выйти вовне, идешь внутрь. Чем я и занимаюсь.

В четыре переговоры по зуму с американцами. Мама, будто только и ждала этого момента, начинает поливать цветы – вода с шипением вырывается из шланга. Я вижу, как Джонатан открывает и закрывает рот, но ничего не слышу. Наушники по хорошей традиции – одни сломаны, другие потеряны.

И чтобы маме не было скучно шуметь одной, дядя Паша включает турбинку.

Не знаю, почему это происходит именно во время моих переговоров.

Пока Джонатан неслышно рассказывает о новых функциях программы, я перебираю в голове неотложное. Докупить еще пару лекарств для Харькова. Опросить всех, куда прилетело, с эгоистичной надеждой, что прилетело не в них. Если получится, навязать помощь. Те, кому нужнее всех, как правило, молчат и сопротивляются. Закончить рассказ. Начать рецензию. Подумать, почему со мной происходит то, что происходит. В идеале – приготовить. До этого сходить за продуктами… А еще очень хочется к морю. То есть надо встать в шесть, чтобы опередить полицию и их собак…

Кто там говорит, что в войну жизнь остановилась, – я им не верю.

В блаженной паузе – у дяди Паши и его турбинки перекур, мама оставила полив и наставляет соседских детей, как им медленнее бегать и тише кричать, – мне наконец удается расслышать голос Джонатана.

Во время пятиминутного перерыва выскакиваю в палисадник и прошу маму не поливать. В глазах непонимание: и правда, что важнее ее цветов?..

Комендантский час как благословение – пружина дня распускается, можно просто сидеть на скамейке и смотреть на жизнь вокруг.

По кромке забора крадется Лева. Тень кота замирает перед навесом, танцует. Он примеривается и прыгает на крышу. Я не гоню его, понимаю: у меня свой дневной ритуал – суматоха и дела, чтобы занять ноги и голову, а у него свой ночной. Чутье подсказывает Леве: крыша безопаснее.

И еще я понимаю: если долго прятаться, можно забыть, в какой именно бархан ты воткнул со страха свою голову. И потом ее так и не найти.

Между гаражей ходит Матильда, охраняет свои владения. Частенько из темноты раздается шипение – Матильда прогоняет чужаков. Лева в выяснение отношений не вступает, он выше этого – в прямом и переносном смысле.

– У этой кошки сердце льва! – говорит дядя Паша.

Мне бы так, завидую я Матильде.

Маркиза, Матильда и Машка – любимицы дяди Паши. Но Матильда – самая любимая.

– Ты голодная? – заботливо спрашивает дядя Паша.

– Нет еще, – откликается его жена Света, она крутится рядом, сажает розы.

– Да я не тебе говорю, – отрезает дядя Паша и ласково смотрит на Матильду.

Та мерит дядю Пашу взглядом. И по настроению соглашается – подходит к тарелке.

Сосед улыбается и выглядит абсолютно счастливым.

Конечно, коты ходят за дядей Пашей, как собаки. Машку он однажды уговорил проложить для него трубу. Привязал к шее кошки новую пластиковую и запустил внутрь прохудившейся металлической, а сам ждал ее на другой стороне тоннеля. Машка нашла к нему дорогу – даже под землей.

Как и все мы, дядя Паша тоже от чего-то бежит и прячется. Как и для всех нас, это началось гораздо раньше войны. Просто сейчас все лучше видно.

Когда не можешь выйти вовне, идешь внутрь. Я нашла там много простых вещей, которых не замечала раньше. Взгляд соседского кота, оставшегося без хозяев. Цветок лунник: с приходом темноты он распускается за считанные секунды. Маленький яркий лоскут звездного неба – все, что видно ночью из нашего двора. Люди – уязвимые, неожиданные, любимые. Благодарность за каждый новый день – до слез. Холодное утреннее море – и я растворяюсь в нем.

Я нырнула в такие глубины, что, останься я там еще немного, могла бы пойти ко дну. Но все, что узнала, ничего не стоит, если не поднять это на поверхность, не вынести вовне.

Лето закончилось, ежедневные встречи с американцами тоже. Я почти не спешу, и мне не нужна тишина, чтобы постоянно заглушать свой голос чужими. Хозяева Левы вернулись, и он больше не пригибается от каждого шороха.

Кот по-прежнему прогуливается по забору, но на крышу не прыгает. Я поджидаю его, смотрю, как гибкая тень балансирует на тонкой кромке забора, и мечтаю отменить все ограничения. Хотя бы на эту секунду. Хотя бы в мыслях. Моя жизнь больше, чем палисадник и квартира на Молдаванке, чем этот двор. Чем работа и насущные заботы.

Внутри нас идет вечный бой за право выйти из замкнутого круга. И реальная война с обстрелами и смертями значит лишь то, что шаг вовне должен быть шире.

Море открыто круглосуточно. Звезды может видеть каждый. Цветы цветут для всех. И всегда у каждого в любой ситуации есть выбор – смотреть новости или создавать их.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

26 **Андрей Добролюбский**
«Жезл гнева»

40 **Белла Кердман**
Геверет Юдит, дочь пана Владислава

48 **Макс Нужный**
Яков Юльевич Бардах

57 **Олег Недоступ**
«Я родился с написанной биографией»

68 **Виталий Оплачко**
Румейские хроники

84 **Михаил Пойзнер**
Мой Губарь…

Андрей Добролюбский

«Жезл гнева»*

Джованни Боккаччо

«…Настало… столь горькое и жуткое, и недоброе время, что сочли лишним описать горечь сих времен».

Некий армянский писарь из Кафы

«Горечь сих времен». Чумная пандемия, или «Черная смерть», в XIV в. «…появилась на Востоке и унесла бессчетное число жизней… а затем, беспрестанно двигаясь с места на место и разросшись до размеров умопомрачительных, добралась, наконец, и до Запада», – писал Дж. Боккаччо в 1348 г. в «Декамероне». И «…от этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья… Выздоравливали немногие, большинство умирало на третий день…». Византийские историки и писатели тех времен с грус-

* Продолжение. Начало см.: Добролюбский А. «Я попал в какой-то другой мир» // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. – № 82, с. 28-42; № 83, с. 32-44. Ibidem. «Будь счастлив!» – № 85, с. 59-73; № 86, с. 36-50. – Одесса: ПЛАСКЕ, 2020-2021; «Хан Абдаллах, да продлится правление его» // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. № 89. – Одесса: ПЛАСКЕ, 2022, с. 34-45.

Никифор Григора

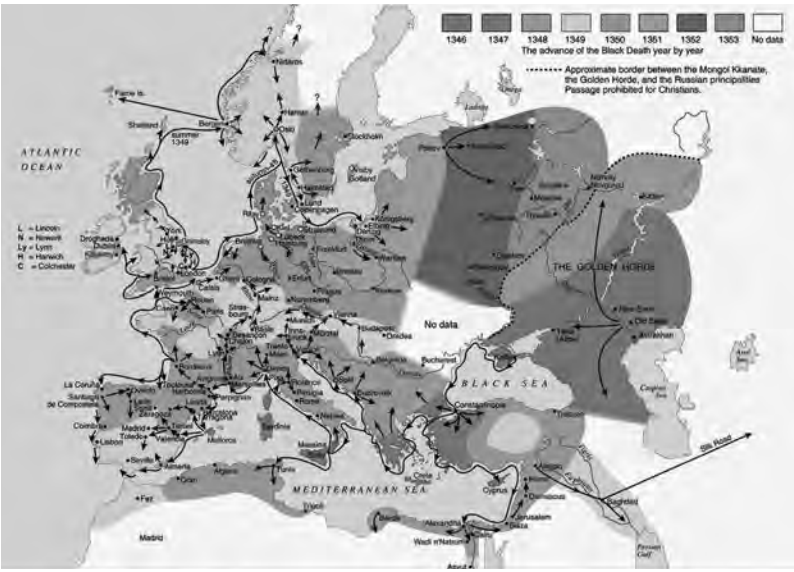
Иоанн IV Кантакузин

тью свидетельствуют, что она «опустошала как города, так и села, и наши, и все, которые последовательно простираются от Гада до столбов геркулесовых» (историк Никифор Григора), и прошла «вокруг почти по всему свету» (император Иоанн IV Кантакузин).**

При этом создается странное впечатление, что первая чумная пандемия, выкосившая более половины населения Европы, каким-то счастливым и загадочным образом обошла причерноморские степи между Днепром и Дунаем, – какие-либо сведения об этом совершенно отсутствуют. Получается, что первая волна этой пандемии (1346-1349 гг.) вообще никак не затронула пределы обитания Хаджибеевой тьмы.

Между тем полное отсутствие каких-либо известий о чумных и голодных годах может означать и то, что их просто некому было оставлять. Это может объясняться постоянным страхом и чувством обреченности людей, живших в обстановке «повседневного насилия» с непреходящим, невыносимо скорбным «привкусом бренности» (выражение Марка Блока). Так, в 1348 г. некий армянский писарь, живший в Крыму, писал, что «…колотил весь мир… *жезл* (вгоняя)

** Руссев Н.Д. Безносая привратница эпох: «Черная смерть» на западе и востоке Европы // Нестор, 2001, http://www.nestor.md/Russian/Russev.htm



Пандемия XIV века

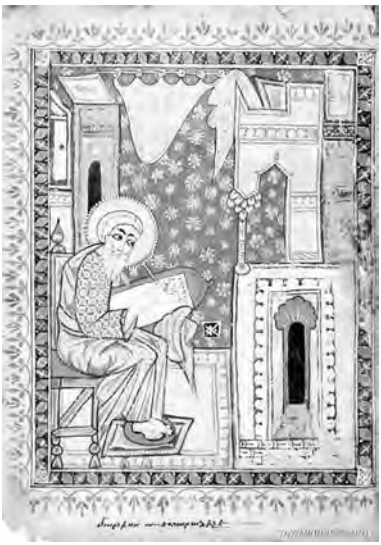
в войну, в голод и плен… и столь был велик *гнев**, что никто не сможет словом** изречь». Потому что перманентные катастрофы «великих эпидемий», наложившиеся на «повседневное насилие», придавали средневековой психологии неустойчивость чувств, «привыкших к почти постоянному трауру».*** И, по мнению другого армянского писаря из Кафы, записанного им в 1320 г., «…настало… столь горькое и жуткое, и недоброе время, что сочли лишним описать горечь сих времен».

Вторая волна этой чумы возникла в Золотой Орде примерно около 1363/64 гг., уже после Синеводского сражения.

* Жезл гнева Моего – орудие, посредством которого Бог наказывал Свой провинившийся пред Ним народ (Исаия 10, стих 5).

** Цит. по: Гулевич В.П. Тука-Тимуриди і західні землі улусу Джучі в кінці XIII – XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2013, с. 138-178.

*** Блок Марк. Апологія історії, або Ремесло історика. Додатки. Гл. друга. – Київ: Лаурус, 2018. – 144 с.



Некий армянский писец XIV века

Абу Бакр Мухаммад ар-Рази

Но и о ней в причерноморских степях никакими конкретными сведениями мы не располагаем. Лишь самые общие соображения позволяют думать, что она могла охватить пограничные со степью лесостепные и лесные области, и их уцелевшие жители бежали в степь. Значит, она должна была хоть как-то отразиться и на владениях улусбека Хаджибея, поскольку чумной мор на сопредельных северных территориях был едва ли не повальным. Этот мор и опустошил Смоленск, Киев, Чернигов, Суздаль. В Глухове, согласно летописи, не осталось ни единого выжившего. Все, кто исхитрился уцелеть, бежали на юг, в степь. А бежать нужно было «дальше, дольше, быстрее» – персидский врач Абу Бакр Мухаммад ар-Рази только лишь в бегстве видел единственное спасение. Такие беженцы, несомненно, пополняли Хаджибееву «тьму» – Ябу-городок.

За второй последовали третья (1374 г.) и четвертая (1396 г.) волны чумы. Историки называют «воистину несчастной» всю вторую половину XIV в., когда летописные известия о чумном

море встречаются едва ли не каждые несколько лет. Эти чумные поветрия неизменно сопровождались ежегодными засухами: Летом 1361 г. в Золотой Орде от засухи погиб урожай: «…и бысть в татарах глад великий». А «…лета (1364 г.) бысть сухмень велика по всей земле и въздух куряшеся и земля горяше», *«…У Мамаа тогда* (1374 г.) во Орде бысть мор велик». Тогда же «…на Ординских местех, в примории, и прииде на него гнев Божий, мор силен на люди и на скоты».* Не менее губителен был и 1396 год.

Известно, что при засухах земли просто выгорают – почва высыхает сначала с поверхности, потом, из-за неминуемо возникающих трещин, все глубже и глубже, и растущие на ней растения, не имея возможности получить потребной им воды, гибнут. Это порождает летние бескормицы скота. А потом и людей.

Бесконечная череда таких засух, а также частые эпидемии и эпизоотии были вызваны резким изменением климата – сильным похолоданием, которое даже было названо «малым ледниковым периодом» (первая фаза XIV-XV вв.). Оно, в частности, выразилось в крайней неустойчивости погодных условий и в резких перепадах зимних и летних температур, которые порождали гололедицы, или джуты.

При «стальном джуте» (*дзут,* монг. – зуд) – после внезапного потепления в холодное время года земля покрывается твердой ледяной «железобетонной» коркой. Не многим легче и «белый джут», когда выпадает много снега, и скот погибает из-за невозможности добыть корм, или же «черный джут» – когда из-за отсутствия снега зимой в безводной местности скот гибнет. При резких перепадах температур оттепели становятся гибельными, поскольку наступающие нередко после оттепелей сильные морозы приводят к образованию гололедицы (джута), во время которой скот не может добывать себе пищу и гибнет массами от истощения.**

Непосредственных свидетелей этих ужасов в причерноморских степях от Днепра до Дуная, которыми во времена Мамая

* Цит. по: Руссев Н.Д. Безносая привратница…

** Добролюбський А., Смирнов І. До питання локалізації Ябу-городка. – Старожитності Лукомор'я, № 4, 2022, с. 7-28.

владели эмиры Хаджибей и Дмитрий, не имеется. Лишь скудные археологические остатки, сохранившиеся в виде спорадических, но едва ли не повсеместных находок красно-желто-ленточной «керамики бедности»,*** указывают на «не слишком завидное положение» (выражение Ф.К. Бруна) обитателей Ябу-городка. Они, после поражения их сюзеренов под Синими Водами лишившись летних пастбищ в лесостепях, были обречены на самое жалкое существование – на истощенной территории, изнуренные голодом и чумой, вынуждены были бродить вдоль морского побережья. И тогда в голодном отчаянии ордынцы стали продавать своих соплеменников в рабство латинянам. «Во время голода и засухи они (*«*татары». – **А. Д.***)* продают своих сыновей*,* – пишет ал-Омари*.* – При избытке ж они охотно продают своих дочерей, но не сыновей, детей же мужского пола они продают не иначе как в крайности».****

На Дунае торговля велась по большей части через итальянские фактории Вичину и Килию, а между Днепром и Днестром – через приморские поселки латинян Лериче-Иличе, Флорделис, Джинестру. В 1350-60-е гг. историки отмечают наивысший расцвет генуэзской торговли – расширяются новые колонии в тех же Вичине, Килие и Белгороде в устье Днестра, появляются новые – в Ликостомо и иных пунктах дельты Дуная и черноморского побережья.***** Спрос на рабов особо возрастал после вспышек чумных эпидемий,****** вызывавших упомянутые ал-Омари «крайности». В них погибали родители многих невольников – ведь им после смерти можно было уже не платить. Эти рабы, особенно те, что продавались «в крайности», становились исключительно ликвидным товаром.

*** Добролюбский А. «Хан Абдаллах, да продлится правление его». – Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. № 89. – Одесса: ПЛАСКЕ, 2022, с. 34-45.

**** Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды В. Тизенгаузена. Т. 1. – СПБ, 1884, с. 219, 241.

***** Господаренко О. Про генуезьку присутність на території Миколаївської області: історикогеографічні й археологічні зауваження. – Емінак: науковий щоквартальник. № 3 (11) (липень-вересень), 2015, с. 54-59.

****** Хайдаров Т.Ф., Долбин Д.А. Вторая пандемия чумы в Золотой Орде и ее последствия. – Золотоордынское обозрение, № 4 (6), 2014, с. 96-112.

В документах из архива нотариуса Антонио да Понцо порой улавливаются имена эмиров Хаджибея и Темира-Дмитрия, и их «татар», торговавших в 1360-1361 гг. рабами в дунайской Килии. Названы татары Тобок (Thoboch), Темир (Themir) и Даок (Daoch). В Темире историки видят эмира Дмитрия. Они упомянуты как члены определенных подразделений десятков, сотен и тысяч, во главе которых стояли тысячники (miliarii) Ходжа (Coia), Кочубей (Conachobei) и Менглибуга (Megliabucha). Другие лица – Арук (Aruch), Ойа/Оджа (Oia) и Бекангур (Bechangur) названы посланниками «тысячника Ходжи» (miliarius Coia).*

О расцвете торговли во всех причерноморских поселках итальянцев в 1360-е гг. также свидетельствуют находки «керамики достатка и роскоши» – фрагменты импортной посуды «византийского круга», крымской, люстровой, селадоновой.** Черноморская работорговля была настолько выгодной, что в Генуе даже возникло особое ведомство, стремившееся ее монополизировать. Огромное число рабов состояло из «татар» Северо-Западного Причерноморья. Причем в руках «татар» именно их соплеменники чаще всего и становились живым товаром, в то время как основными покупателями рабов были итальянцы – по ряду документальных данных, в 70-е гг. XIV в. доля «татар» среди невольников Генуи, Флоренции, Венеции могла превышать 80%. В Генуе они оставались основной категорией рабов и в первой четверти XV в.*** Относились к ним, разумеется, сугубо потребительски – в описях они находились среди других товаров. К примеру, беременная женщина считалась больной и стоила меньше, чем «здоровая», потому что ребенок рассматривался как фактор, снижающий ее работоспособность.

К концу XIV в. в городах Тосканы не было зажиточного хозяйства без хотя бы одного раба. Они использовались и в широком престижном обиходе – становились приданым для невест, гонорарами за услуги и дорогими подарками. При перевозке на далекие расстояния невольников, как и любой другой товар, страховали.

---

* Узелац А. Татары в Дунайско-Днестровском междуречье во второй половине XIV в. – Золотоордынское обозрение, № 7 (3), 2019, с. 419-420.

** Добролюбський А., Смирнов І. До питання локалізації… С. 8-9.

*** Руссев Н.Д. Безносая привратница…

Франческо Петрарка

В 1360-е гг. интенсивность черноморского потока «живого товара» оказалась так велика, что венецианское правительство запретило судовладельцам перевозить из Таны в Венецию или любое другое место более трех рабов на одного члена экипажа. Этот запрет, как и вообще всякий запрет, нарушался: известен случай, когда одно судно оказалось загруженным 200 рабами.

Непосредственным указанием на интенсивность ордынско-итальянской торговли рабами на черноморском побережье близ устьев Хаджбейского и Куяльницкого лиманов (устья Днестра по тогдашним навигационным представлениям) являются находки монет хана Абдуллаха близ нынешнего поселка Котовского и на Приморском бульваре в Одессе. Эти монеты датируют «…бедствие… в Скифии**** недавнее…» 1367 годом,***** о котором в том же году, пребывая в Венеции, написал Франческо Петрарка своему другу Гвидо Сетте, архиепископу Генуи. «Оттуда… – пишет поэт, – …ежегодно в этот город (Венецию. – **А. Д.**) …прибывают суда, отягченные грузом, который, побуждаемые нуждой, продают родственники. И вот уже непривычного вида и неисчислимое скопище немощных людей обоего пола этот прекрасный город скифским обличием и безобразным сбродом – как чистейший источник мутным потоком – поражает. И если бы этот запруживающий тесные улочки люд не был бы милее тем, кто их покупает, нежели мне, и не привлекал их взоры более, нежели привлекают мои, и не гадок, и не омрачал прохожих дурного вида скоплением, то во всей Скифии вместе с изнурительным и бледным голодом в каменистом поле, куда поместил его Назон, редкую

**** Скифией, по античной традиции, европейцы в эпоху Возрождения именовали причерноморские степи.

***** Добролюбский А. «Хан Абдаллах, да продлится правление его»…

Овидий

траву зубами и ногтями щипал бы и поныне».*

В последних строчках Петрарка отсылает своего читателя к авторитету Публия Овидия Назона, который за тринадцать с половиной столетий до Петрарки и Хаджибея оказался, пожалуй, единственным и самым прямым свидетелем джутов и засух в той самой местности, которую занимала при хане Абдуллахе Хаджибеева орда. Воспользуемся здесь его авторитетом.

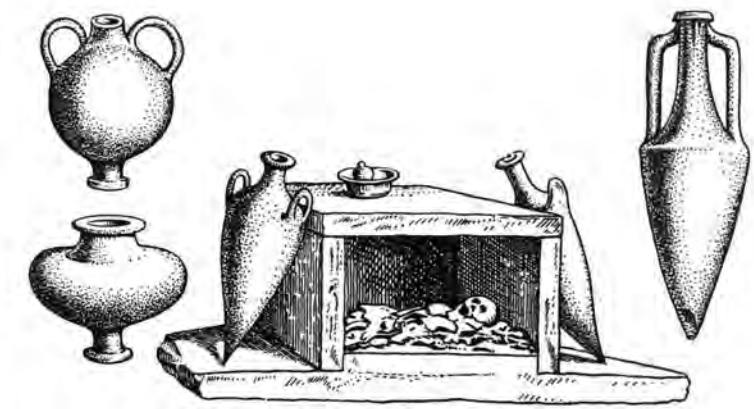
Свидетель ощущений. Известно, что в 8 году н. э. римский император Август по не вполне ясной причине (имеется несколько версий) сослал Овидия на окраину Скифии, где в 17 году (по другим сведениям – в 18 году) тот и скончался. Впрочем, не слишком ясно, где именно он находился все эти годы.

С одной стороны, пребывание в этих местах ссыльного поэта ныне топонимически маркирует город Овидиополь на левом берегу Днестровского лимана. Этот лиман в XVI в. историк Станислав Сарницкий именовал то Ovidii lacus, то Vidovo ieziero,** которое… находится между Гипанисом (Ю. Буг) и Тирасом (Днестр), но ближе к устью Тираса. Значит, «озером Овидия» могли быть также Сухой, Хаджибейский или же Куяльницкий лиманы. При этом «русские сообщают, что озеро Овидия было с тех пор, как [Овидий] жил в изгнании».***

* Цит. по: Крамаровский М.Г. Петрарка о бедах Скифии (Золотой Орды) в 1360-х гг. // История и современность. № 2, сентябрь, 2007, с. 122-144.

** Ф.К. Брун полагал, что Днестровский лиман получил свое название в память Витовта.

*** Белецкая О.В. Маяк в XIV-XVI вв. Материалы к изучению исторической географии Подолии и Северного Причерноморья. – Золотоордынская цивилизация, № 9, 2016, с. 186-196.



Гробница Овидия

С другой стороны, еще в конце XV в. в книге «De magnificenta», изданной в Венеции в 1498 году, некий Джованни Понтано привел сообщение некоего Георгия Трапезундского (1396-1484 гг.), что Овидия похоронили в городе Томы на кладбище у городских ворот. А Томы находятся на месте современной Констанцы, к югу от устьев Дуная.

Но в те времена это мало кого волновало. Ссылка Овидия куда-то на северо-восток Римской империи (где находились Томы, после гибели города уже никто не помнил) воспринималась людьми, читавшими древних авторов, чуть ли не как едва ли не самый яркий эпизод в ранней истории их страны. Поэтому сведения о жизни Овидия среди варваров включались в сочинения польских хронистов Марцина Вельского (1564 г.) и его сына Иоахима (1597 г.), Мацея Стрыйковского (1582 г.) и в молдавскую летопись Мирона Костина (1684 г.). В 1586-1590 годах поэт Петр Видавский написал стихи о жизни Овидия среди поляков.

Поскольку многие поэты, писатели и историки XIV-XIX вв., начиная с Петрарки, были убеждены, что именно «Скифия» связана с именем Овидия, то он оказался необычайно престижен на многие столетия. Так, в 1795 г. первый строитель Одессы

Франц де Волан при строительстве крепости на месте турецкого поселка Хаджидер наткнулся на древнюю могилу в каменном ящике. Она была немедленно им принята за могилу Овидия, а позднее Хаджидер был назван Овидиополем.*

Ныне пребывание Овидия в Томах мало кто оспаривает. Но оно не доказано, поскольку его могила там (пока?) не найдена. К тому же, вряд ли поэт находился в Томах безвыездно все годы своей ссылки, в которой он томился в ощущении непреходящей скорбной обреченности и все того же «привкуса бренности». В своих «Скорбных элегиях» (кн. III.10.10) он извещает читателя, что попал в «варварский край, у границ необъятного мира лежащий». Здесь «лишь унылой зимы голова заскорузлая встанет, / Землю едва убелит мрамором зимним мороз, / Освободится Борей, и снег соберется под Арктом – / Время ненастья и бурь тягостно землю гнетет. / Снега навалит, и он ни в дождь, ни на солнце не тает – / Оледенев на ветру, вечным становится снег. / Первый растаять еще не успел – а новый уж выпал, / Часто во многих местах с прошлого года лежит». Это – описание типичного «стального джута». И «мало людям тепла от широких штанин и овчины: / Тела у них не видать, лица наружу одни. / Часто ледышки висят в волосах и звенят при движенье, / И от мороза блестит, белая вся, борода. / Сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов, / Вина: и пить их дают не по глотку, а куском» (стихи 19-20, 45). «Как посмотрю я вокруг – унылая местность, навряд ли / В мире найдется еще столь же безрадостный край. / А на людей погляжу – людьми назовешь их едва ли. / Злобны все как один, зверствуют хуже волков. / Им не страшен закон, справедливость попрало насилье, / И правосудье легло молча под воинский меч».

И в «Метаморфозах» Овидий пишет, что «некое место лежит окраине Скифии льдистой; / Край безотрадный, земля, где нет ни плодов, ни деревьев; / Холод коснеющий там обитает и Немочь, и Ужас. / Тощий там Голод живет…» (кн. VIII, стихи 788-791).

Такой голод, порождаемый ледяными джутами, сменяется жестокими засухами. Они одушевлены Овидием в образе богини голода, или «Глада Богини», которая в поисках пропитания, «ногтем и зубом трудясь», обречена лишь рвать «скудные травы…

* Добролюбский А.О. Археология Одессы. – Одесса: Optimum, 2012, с. 38-41.

на покрытом каменьями поле». Выглядит эта богиня соответствующе – «…волос взъерошен, глаза провалились, лицо без кровинки, / Белы от жажды уста, изъедены порчею зубы, / Высохла кожа, под ней разглядеть всю внутренность можно. / Кости у ней, истончась, выступали из лядвей скривленных. / Был у нее не живот, а лишь место его, и отвисли / Груди, – казалось, они к спинному хребту прикреплялись. / От худобы у нее вылезали суставы узлами, / Чашек коленных и пят желваки безобразно торчали». И «…на покрытом каменьями поле, / Ногтем и зубом трудясь, рвала она скудные травы» (стихи 797-808).

«**Неисчислимое скопище немощных людей…**» В похожих обстоятельствах и обстановке люди ведут себя подобным образом. Если Петрарка видел «неисчислимое скопище немощных людей обоего пола» на улицах Венеции, то Овидий описывает их чувства и состояние на их родине, в «Скифии», где во второй половине XIV – первой половине XV вв. такая обстановка была самой обычной, повседневной и непреходящей. С постоянным «привкусом бренности».

Чтобы конкретнее представить общую картину, отображавшую этот «привкус», приведем здесь череду пандемий, наблюдавшихся историками: это 1360, 1363-1366, 1374, 1388-1390, 1402-1404, 1406-1409, 1414, 1417, 1419-1420, 1423-1427, 1428-1430 годы. Она производит сильное впечатление. Еще более его усиливает вереница джутов и засух, проходивших на фоне этих пандемий едва ли не ежегодно – это 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1371 и другие годы. А также эпидемии и эпизоотии, которые отмечены для 1360, 1364, 1365, 1367 гг. Среди перечисленных голодных лет более всего выделяются два, знаковые для нашего сюжета, – 1362 г. (Синеводское сражение) и 1367 г. – даты монет Абдуллаха в Одессе, которые оказались единовременными с письмом Петрарки.**

Ясно, что в подобных условиях некогда благополучная ставка эмира Хаджибея деградировала до самого заурядного стойбища. Видимо, бесконечная вереница голодных лет довела самого Хаджибея, а вслед за ним его неведомых преемников, в том числе и единственного нам известного «князя» Жамбо до «незавидного

** Крамаровский М.Г. Указ.соч., с. 128-131.

положения» (выражение Ф.К. Бруна), в котором его застал рыцарь Гильбер де Ланнуа в 1421 г. Жители его стойбища «не имели домов, – пишет он, – и они – жили на голой земле». Хотя сам князь, судя по всему, сохранял высокий статус, как собственный, так и своей ставки. И сумел достойно принять своего сановного гостя. «…Сказанный князь по имени Жамбо, – продолжает де Ланнуа, – дал мне много осетров… и хорошо кормил..», а «…потом его татары по его повелению переправили меня с моими людьми и повозками чудесным образом через реку, которая имела милю в ширину, на маленьких челноках из одного куска дерева».* Эта переправа от реки Аджигол до Кинбурнской косы активно использовалась со времен хана Абдуллаха.** Здесь же, восточнее Аджигола, в непосредственном соседстве со стойбищем князя Жамбо-Ямбо находился генуэзский замок Лериче-Илличе.

Перевоз, проведенный столь «чудесным образом», ясно указывает, что он был исполнен профессионалами. А таковыми среди «татар» могли быть лишь аланы-бродники. И это означает, что именно они в 1420-е гг. составляли немалое число жителей тогдашнего Ябу-городка. В большинстве своем они были христианами,*** что подтверждается и археологическими наблюдениями. Уже к XIII-XIV вв., по данным погребальной обрядности, аланы-бродники становятся фактически едва ли не идентичными тюркскому населению причерноморских степей.****

Контроль над этим перевозом имел, несомненно, немалое торговое и военное значение и приносил соответствующий доход.

---

* Брун Ф.К. Путешествия и посольства господина Гилльбера де Ланнуа, кавалера Золотого руна, владельца Санта, Виллерваля, Троншиена, Бомона, Вагени в 1399-1450 гг. // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1853, т. III, с. 442-461.

** Добролюбський А. Загадковий «…Kaczakeyow Mayak Karawull…» // Схід та Україна. Матеріали міжнародної наукової конференції «Схід та Україна: наукова конференція, присвячена пам'яті Ярослава Дашкевича», яка відбулася 17-18 жовтня 2022 р. / Упорядник – д. і. н. Я.В. Пилипчук. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2022 (укр., пол., азерб., тур., узб., англ. мовами), с. 95-100.

*** Бубенок О.Б. Поширення християнства серед аланів Північного Причорномор'я // Східний світ, № 1, 2000, с. 15-35.

**** Добролюбський А., Смирнов І. Пам'ятник невідомому алану поблизу озера Катлабух. – Eminak, № 1 (33), 2021, с. 305-314.

По всей видимости, Ябу-городок им пользовался и вовсе его не утрачивал вплоть до начала XVI в. Значит, в XV в. положение Ябу-городка было не всегда таким уж «незавидным». Он регулярно перемещался по «пути из-за Днестра морским берегом в Крым», или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков: судя по изгибу, это известный Валашский шлях, по которому ходили в Украину буджакские татары».

А в дальнейшем, после визита рыцаря де Ланнуа к князю Жамбо-Ямбо в 1421 г., Ябу-городок обозначается в документах как Качибей в разных местах ареала его обитания и в сходных написаниях (*Caczubyeow, Caczyebyeyow, Kaczubej castra, Caczibieiow, Kaczakenow, Kaczuklenow, Kaczakeyow, Kazubinyow, Koczubinyow. Kaczubyeiow* и пр.). Поэтому специалисты считают, что «говорить о Качибее как о населенном пункте в это время следует с большой осторожностью».***** В середине и второй половине XV ст. этот «Качибей», скорее всего, не являлся ни городом, ни местечком, поселком в пределах Подольской земли.****** А был он лишь обычным стойбищем, перемещавшимся в чудовищных условиях голода и чумы вдоль морского побережья. И едва ли не важнейшими источниками его существования были контроль над переправами, работорговля и добыча соли. А к началу XVI в. это стойбище снова отмечено как Ябу-городок на карте морейца Ильяса (1495-1506 гг.) и в ярлыке хана Менгли-Гирея (1507 г.). Тогда городок снова перебрался от Очакова к нынешней Одессе. В том же столетии на картах этой же местности появляется замок с названим Ode∫∫us, или Orde∫∫us. Но это уже другая история.

***** Петрунь Ф.Е. Качибей на старинних картах / Федор Евстафьевич Петрунь. – [Одесса, 1928], с. 191-198. Окр. відб.: «Записки общества естествоиспытателей», 1928, т. 44.

****** Білецька О. В. Качибей у світлі джерел XV-XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор'я) // «Записки історичного факультету» 26 випуск 2015: наукове видання / Колектив авторів – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015, с. 233-258.

Белла Кердман

Геверет Юдит, дочь пана Владислава

В начале августа 2022, под завершение моей работы в профессии, стаж которой более семидесяти лет (считая студенческую многотиражку), да и газета, с которой сотрудничаю со времени своего ПМЖ в Израиле, то есть около тридцати лет, прекращает свой выпуск – бумажные издания потеряли спрос, у меня раздался телефонный звонок.

Я не сразу узнала мужской голос – давно не слышала пана Владислава Кравчука из Варшавы. Одно время он регулярно приезжал в Страну, и даже бывал в нашем хостеле. Здесь жила Хена, его землячка по городу, который после войны вместо польского Брацлава стал белорусским Браславом. Пан Владислав, на поколение моложе нас с Хеной, успел все же родиться польским гражданином – в 1946 году, и вовремя переселился в столицу. Однако интереса к месту рождения не потерял.

Выйдя в отставку военным инженером, он занялся выяснением судьбы некоего старого ксендза, спасавшего во время оккупации евреев. Кто-то выдал убежище, немцы его накрыли, и во время расправы вместе с убитыми евреями упал замертво ксендз. То ли его застрелили, то ли не выдержало сердце. Среди тех, кого спасал праведник, был родной брат нашей хостельянки Хены, которому удалось тогда уцелеть.

Узнав, что я, журналистка, интересуюсь Польшей и немного владею ее языком, Хена познакомила меня со своим гостем. Сама она, кстати, – чудом выжившая в Брацлаве узница гетто, которую прятали по разным схронам члены семьи христиан-иеговистов. Хена рассказывала, что запомнила на всю жизнь картину: у озера

Владислав Кравчук с молодежью Врацлава у памятника погибшим евреям

на фоне заката стоит в облачении ксендз, и вид у него такой отрешенный, как будто он не от мира сего. «Он молился, разговаривал с Богом». Несколько брацлавян, в том числе и она, поддержали хлопоты пана Кравчука, председателя Польского содружества брацлавян, о присвоении тому ксендзу звания Праведника мира. Она показала мне визитку пана Владислава, и я вступила с ним в переписку.

С одним из варшавских виртуальных посланий пришли ко мне две фотографии, читатель видит одну из них перед собой: памятник евреям Брацлава и окрестностей, погибшим, как свидетельствуют надписи на идише с одной стороны и на русском языке с другой, от рук нацистов. И число жертв – более четырех с половиной тысяч человек. Рядом с памятником на одном снимке – немолодой мужчина, на втором – он же и несколько девушек. «Где это и кто это?» – спросила я. Это на месте массового

уничтожения евреев. И это мой виртуальный визави, пан Кравчук, который регулярно возит в свой родной город польскую молодежь из Варшавы. В Браславе, поясняет он, и сегодня проживает немало граждан Белоруссии – поляков, действует костел, а также Дом польский. День поляка, который становится там новой традицией, собирает соплеменников Кравчука со всего бывшего СНГ.

К польскому языку, да и вообще к Польше, у меня давний интерес, сентимент даже, хотя в родословной моей польских евреев не было и нет. Правда, жили в Варшаве мои приятельницы, Зося и Анна, работали обе в журнале «Жиче и здрове». Первая – полька, вторая – еврейка, участница войны из подразделения, сформированного на территории Союза. Мы познакомились в Международном доме журналистов в Варне, через пару лет встретились, к общей радости, там же. А потом они гостили у меня в Одессе, а я у них.

Когда я собралась на ПМЖ в Израиль, Анка прислала письмо с аргументами контра, ссылаясь на польскую пословицу: «Старые деревья не пересаживают». Она была неправа: я ни разу не пожалела о «пересадке». Но сообщить им об этом я не успела: обе вскоре умерли, почти в одно время.

Откуда ко мне польский язык? Из книжек. Одна одесская знакомая посоветовала: берешь детектив с ключиком или таксой на обложке (их иногда продавали в магазине «Дружба» на углу ул. Советской армии и Дерибасовской), кладешь рядом словарь – и читай! Хороший детектив, начав, не бросишь. А зачем мне тогда в Одессе этот «иностранный для бедных», как кто-то сказал? Ну все-таки. Из журнала «Film polski» можно было узнать кое-что о мировом кинематографе. Юмористическая «Przyjaciółka» («Приятельница») была по-хорошему остроумна… Польша стала для меня заграницей без проблем языка. Ходишь по улице, едешь в трамвае – и все понимаешь, и тебя понимают.

Я дважды почти по месяцу успела погостить в Польше из Одессы, еще до перемены ПМЖ. Первый раз попала туда, когда к власти пришла Солидарность. Остановилась у Зоськи и видела по телевизору ежевечернее выступление перед народом кого-либо из авторитетных, уважаемых сограждан: актеров, писателей, политиков. Такой человек объяснял населению, что происходит в стране. И каждое его (ее) выступление заканчивалось призывом:

«Не стой! Не медли! Действуй!». Помнится, тогда прозвучало сообщение, как некий мужчина взялся убирать мусорники во дворах – и сделал дело доброе для города и прибыльное для своей семьи.

Между прочим, поляки тогда показали в прямом эфире жуткую сцену растерзания Чаушеску и его супруги руками «простых румын». Российское перестроечное TV от такой «натуры» воздержалось.

Услышав по радио о традиционном шествии еврейских детей от приюта, откуда они вышли вместе со своим опекуном Яном Корчаком в свой последний путь – на станцию, к вагону на Треблинку, я решила присоединиться. Зося уходила с утра на работу и объяснила мне, на каком углу я смогу дождаться колонны. Задав пару вопросов прохожим, я это место нашла. Подошла молодая блондинка, спросила: «Пани до Корчака?». Услышав положительный ответ, предложила не ждать, она дорогу знает. И пока мы шли, эта полька рассказывала об организаторах и героях восстания в Варшавском гетто. Она – член Общества имени Эдиты Штайн, в таких шествиях участвует ежегодно.

Я не знала этого имени – Эдита Штайн. Попутчица рассказала: девушка, родившаяся одиннадцатой в еврейской религиозной семье, стала атеисткой и уехала в Австрию учиться истории и философии. Сумела пробиться в университет, куда девушек тогда не принимали. Успешно его окончила, получила ученую степень. В зрелом уже возрасте стала верующей католичкой, приняв имя Тереза Бенедикта Креста. Как ни прятали ее по монастырям монахини, эсэсовские ищейки сумели найти еврейку-католичку, и она тихо сдалась, не поставив в известность наставницу: не желала будоражить сестер-монахинь. И погибла в Биркенау одновременно с Корчаком и детьми его приюта. Будучи уже в Израиле, я услышала по радио, что Папа Римский Иоанн Павел Второй признал Эдиту Штайн святой. Она стала второй после Девы Марии еврейкой, возведенной в столь высокую христианскую степень.

Как рассказала мне новая знакомая, с которой мы шли тогда «путем Корчака» к площади Памяти повстанцев варшавского гетто, Общество Эдиты Штайн, членом которого она, полька, является, проповедует единение верующих иудеев, католиков и православных.

К сожалению, я свой прекрасный двухтомный польско-русский – русско-польский словарь с собой не взяла, показалось, что обойдусь уже. Однако без употребления язык постепенно теряется. Выручил пан Владислав: прислал по почте последний выпуск толстенного «Словника», который у меня и сегодня под рукой.

В настоящее время, когда в мире колеблются, а кое-где рушатся все моральные и нравственные устои, поднимает голову антисемитизм. И в столь опасной ситуации один из «верхних» израильских политиков, слабовато знающий историю еврейского народа и мира, ссорит Израиль с Польшей, называя ее главным пособником устроителей Холокоста. Ну проконсультируйся хотя бы в мемориале Яд Вашем, там тебе скажут, что треть Праведников мира – это поляки! И ты, пришедший в политику недостаточно образованный амбициозный еврей, должен бы все-таки знать, что в современном мире Польша поддерживает нашу Страну на международном уровне…

Мне по душе определение, которое дал польскому антисемитизму Адам Михник: «стойкий традиционный». Спросим себя, где, в какой стране это явление отсутствует, особенно сейчас, когда антисемиты обнаруживают себя даже там, где евреи сроду не живали? Но возьмем во внимание и то, что Михник называет «польским парадоксом», это когда идеологический Пан Антисемит становился фактическим Праведником мира. И да воздастся каждому по делам его.

Сейчас, когда открываются (увы, все еще не полностью) архивы карательных систем бывшего СССР и его сателлитов, в том числе Польши, многое видится не так, как мы усвоили из советских учебников и СМИ. За фактами ходить недалеко – Интернет под рукой. Взять хотя бы еврейские погромы, прокатившиеся в Польше во время войны. Было? Было! Но вот свидетельство Михаила Моше Хенчинского, еврейского мальчика из Лодзи, на глазах которого отправили в газовую камеру Освенцима его родителей. Чудом выживший мальчик стал высокопоставленным офицером польской контрразведки, впоследствии профессором-экономистом Иерусалимского и Гарвардского университетов. В книге «Одиннадцатая заповедь: не забывай», изданной в 2007 году в Иерусалиме,

он, в частности, рассказывает о погроме 4 июля 1946 года в городе Кельце, где поляки убили около ста евреев. Оказывается, за несколько дней до погрома в тот городок в качестве советника прибыл Михаил Александрович Демин, офицер советской разведки высокого ранга. Местные жители видели его в форме польского офицера. А через несколько лет Демин оказался в Тель-Авиве на месте секретаря советского посольства. Исчезнув оттуда сразу после Шестидневной войны, он всплыл затем в Германии в качестве главы торговой фирмы (о той «фирме» можем строить догадки). Мог вмешаться и остановить погром гарнизон советской армии, который находился поблизости, но не остановил. Эти и другие собранные Хенчинским факты приводят его к выводу: погром в Кельце был организован Смершем или другой советской силовой службой. Не оправдывая поляков-исполнителей, автор замечает, что в довоенном прошлом этого города погромов не было, оттуда никогда не изгоняли евреев. Кому понадобились тогда погромы в Польше? У Хенчинского такие предположения: Сталину, чтобы оправдать легитимность захвата «антисемитской страны», или коммунистическому правительству самой Польши (в составе которого и евреи, между прочим, были) – дабы превратить ее в мононациональное государство, без немцев, евреев и украинцев…

Пора, однако, вернуться к началу статьи, к неожиданному звонку из Варшавы. Пан Владислав, оказывается, интересовался своей землячкой Хеной – не мог до нее дозвониться. Я сказала, что она уже несколько лет не живет в хостеле: дочь сняла для нее с мужем квартиру в Реховоте, где с ними поселилась метапелет для постоянного ухода. Известно, что Илья, супруг Хены, покинул сей мир. Что с ней, я не знала, обещала узнать и сообщить варшавянину.

Развернув бумажку с номером телефона, переданную соседкой, которая время от времени общалась с Хеной, я обнаружила: он прежний, тот же, что у меня есть. И дозвонилась с первой попытки! Девяностовосьмилетняя Хена отозвалась, уточнила, какая Белла (в хостеле у меня были две тезки), и дала добро на телефонное общение с паном Владиславом, о чем я тут же его уведомила.

Юдит слева

Все получилось, и в тот же вечер мы с ним возобновили беседу, в которой вдруг прозвучало неожиданное, ошеломительное сообщение поляка: «У меня живет в Иерусалиме дочь, Юдит. Она еврейка». «Дайте ей мой телефон!» – только и сумела я сказать, после чего поспешила закончить разговор, чтобы перевести дух.

И стала размышлять. Я знаю, что у него в семье не было и нет евреев. Что соболезнование жертвам Холокоста – личная жизненная позиция Владислава. У этого поляка был брак с еврейкой? У него есть дочка, прижитая на стороне? Кравчуки удочерили еврейскую сиротку? Спрашивать неэтично – хорошо, что это сразу пришло мне в голову. И остается теперь ждать звонка. Если его не будет – пусть так и останется, допытываться у пана Владислава подробностей на эту тему не стану.

Однако звонок последовал через несколько дней. Женщина представилась на иврите. Услышав в моем ответе пару польских слов, перешла на явно родной для нее «ензык», а затем и на русский – значит, в школе училась во время ПНР, когда правили в ее стране коммунисты. Я пригласила Юдит к себе в хостел, в Мазкетет-Батья. Она готовно согласилась.

И вот передо мной высокая пригожая женщина. Прямые черные волосы до плеч, вполне светская одежда. Какая-то сразу своя. Выставила свежайший творожный рулет, который привезла с собой, осмотрелась – не надо ли что сделать. Не надо было: моя соседка и добрая помощница Дарья подготовила стол к чаепитию.

Усевшись напротив меня, гостья стала рассказывать, как она, уроженка Варшавы Магда, родная дочь инженера Владислава и врача Терезы Кравчуков, потомственных поляков, стала обитательницей Иерусалима Юдит Фустер. Это произошло в 1997 году, ей тогда исполнилось двадцать лет. Как, почему? А само собой, она так о себе почувствовала. Родители ее поняли. Здесь она вышла замуж за Йосефа Фустера, урожденного марана родом из Испании. Надеюсь, моим читателям не надо объяснять, кто такие мараны. На всякий случай вот справка из Интернета: «Мараны – это насильно крещенные евреи Испании и Португалии в период XIV-XVII веков».

Сейчас Юдит пятьдесят шесть лет, она работает секретаршей в больничной кассе Клалит. Муж старше нее на пять лет, он стал в Израиле раввином. У них пятеро детей, две девочки и три мальчика. Юдит недавно побывала с девочками у родителей в Варшаве. Эта еврейская семья часто видится со старшими, поляками.

Вот такая история. Кто-то стремится уйти от своего еврейства, а кто-то к нему приходит…

Израиль

Макс Нужный

Яков Юльевич Бардах

Яков Юльевич Бардах – выдающийся микробиолог, врач, преподаватель, общественный деятель. Родился в декабре 1857 г. Точная дата рождения неизвестна. Яков Юльевич отличался особой скромностью, очень мало занимался своей особой, а его сын Александр Яковлевич утверждал, что не помнил случая, чтобы в доме когда-нибудь отмечали день рождения отца.

По достижении того возраста, когда надлежало получить среднее образование, Яков Юльевич поступил в очень престижную в дореволюционной Одессе Ришельевскую гимназию, которую успешно окончил в 1875 году. В том же году он поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, в котором в то время работали составляющие гордость отечественной науки И.И. Мечников, И.М. Сеченов, А.О. Ковалевский. Будучи студентом, он приобщался к научной работе и за исследования свойств оптических изомеров яблочной кислоты был удостоен ректоратом университета золотой медали.

Окончив Новороссийский университет в 1880 году, Яков Юльевич Бардах, стремясь расширить свои познания в области не только биологии, но и медицины, поступает в Военно-медицинскую академию в Петербурге, которую оканчивает в 1883 году с отличием, получает звание лекаря. Вернувшись в Одессу по приглашению И.И. Мечникова, Я.Ю. Бардах начинает работать в небольшой микробиологической лаборатории, которую И.И. Мечников оборудовал у себя на квартире, расположенной в доме на улице Льва Толстого, 6, в которой впоследствии проживал внук Я.Ю. Бардаха Яков Евгеньевич Бардах, инженер по специальности.

Когда в 1886 году И.И. Мечников создал Одесскую бактериологическую станцию, первую в России и вторую в мире, он пригласил Я.Ю. Бардаха на работу в качестве помощника заведующего. В организации этой лаборатории тот принял активное участие. По свидетельству Н.Ф. Гамалеи, Яков Юльевич так организовал подготовку лаборатории к работе, что уже через несколько дней после открытия там производились предохранительные прививки против бешенства. В этой организационной работе Я.Ю. Бардаху очень помогли советы И.И. Мечникова и Луи Пастера. Интересно отметить, что первая антирабическая прививка была сделана самому Якову Юльевичу по его желанию с целью показать ее безвредность.

Круг работ Я.Ю. Бардаха на этой станции был обширен: прежде всего это антирабические прививки, проведение практических занятий по курсу бактериологии, который читал И.И. Мечников, – участие в работах И.И. Мечникова по изучению чумы крупного рогатого скота и в исследованиях фагоцитоза. Когда в 1888 г. И.И. Мечников, оставив Россию, переехал на работу в Париж в Институт Пастера, он передал руководство станцией Я.Ю. Бардаху. Несмотря на увеличившийся объем работ, персонал станции с ними успешно справлялся.

Когда в 1890 году одесская городская управа объявила конкурс на замещение должности заведующего станцией и обратилась с письмом к Луи Пастеру с просьбой назвать достойного кандидата, тот ответил письмом следующего содержания:

«*Институт Пастера, 17 апреля 1890 г.*

Милостивый государь! Спешу ответить на Ваше письмо от 11 апреля. Вы оказали мне высокое доверие, обратившись с просьбой указать лицо, которое я бы считал наиболее способным к заведыванию научными и практическими работами на Одесской бактериологической станции. Позвольте мне обратить Ваше внимание на то, что Вы у себя под рукой имеете выдающегося ученого, который заявил о себе в последние годы важными научными работами и как заведующий Одесским институтом для прививок против бешенства получил прекрасные результаты, обратившие внимание всех прививных институтов. Одесская управа не могла бы поступить лучше, как доверить заведывание бактериологической станцией доктору Бардаху.

Луи Пастер»

Разработанный Яковом Юльевичем интенсивный метод прививок против бешенства получил одобрение Луи Пастера, однако, несмотря на избрание Я.Ю. Бардаха на должность заведующего бактериологической станцией по конкурсу и большую ценность разрабатываемых им проблем, он по настоянию местных властей был уволен с занимаемой должности, и основной причиной этого была принадлежность Бардаха к еврейской национальности.

Удаленный со станции, Яков Юльевич продолжил научные исследования и в 1884 году защитил в Московском университете диссертацию на степень доктора медицины. Темой его диссертации явились исследования дифтерии. Они показали, что иммунизация приводит к усилению фагоцитоза бактерий и к выработке антитоксинов. Полученная им иммунизированная сыворотка была использована с лечебной целью против дифтерии. Это была первая отечественная работа, относящаяся к серотерапии.

Большой заслугой ученого явилась организация в Одессе одной из первых в Российской империи станций скорой медицинской помощи, во главе которой он стоял в течение двадцати пяти лет. Идея создания самостоятельного медицинского учреждения, оказывающего круглосуточную экстренную медицинскую помощь, принадлежит графу Михаилу Михайловичу Толстому

и городскому обществу врачей, по инициативе которых в начале 1901 года была организована комиссия для разработки плана создания станции скорой медицинской помощи. Семья графа (Елена Григорьевна и Михаил Михайлович) пожертвовала на создание станции, закупку оборудования и санитарных карет более ста тысяч золотых рублей. Часть средств была собрана путем добровольных взносов и пожертвований населения.

Строительство станции было начато в августе 1901 года по проекту известного одесского архитектора Ю.М. Дмитренко. За пятнадцать месяцев в Валиховском переулке был построен комплекс, состоящий из двух зданий и гаражей для санитарных карет. Еще пять месяцев понадобилось для решения организационных вопросов. В руководство станции вошли Я.Ю. Бардах, Г.Т. Духновский, И.Г. Оршанский, С.С. Винокуров.

Двадцать шесть лет, со дня основания станции в апреле 1903 года и до конца своей жизни, ее возглавлял Яков Бардах. Долгие годы в здании станции проводились и заседания Общества одесских врачей под председательством Я.Ю. Бардаха. В истории станции был зафиксирован и тот факт, что Яков Юльевич принимал активное участие в оказании помощи населению во время событий 1905 года. Так описал эти факты в книге «Право на имя» Ростислав Александров: «Осень 1905 года пронеслась над нашим городом смертоносным смерчем еврейского погрома. Очень самоотверженно проявили себя врачи станции скорой помощи, которые буквально под пулями оказывали пострадавшим первую помощь и доставляли их в больницы. Вместе с рядовыми врачами выезжал на вызовы и заведующий станцией доктор Бардах».

Я.Ю. Бардах принимал активное участие в работе многих одесских научных обществ. Он был организатором и бессменным председателем Одесского терапевтического, Одесского эпидемиологического обществ. Он был почетным членом Ленинградского микробиологического общества. Принимал участие в организации и проведении местных съездов врачей и естествоиспытателей. Выступал с докладами на заседаниях в Московском медицинском обществе, на Всеукраинском курортном совещании. Участвовал в организации Народного университета.

Много можно говорить о благотворительной деятельности Якова Юльевича. В дореволюционное время он организовал низшие бесплатные школы для беднейших слоев населения, заботился об их существовании и процветании. Вникал в жизнь и быт студентов, организовал и долгие годы стоял во главе комиссии по оказанию помощи нуждающимся студентам. Его имя стоит среди жертвователей на Еврейскую больницу.

В Одессе существовало Общество взаимного вспомоществования учителей-евреев. В отчете за 1901 год приводятся списки жертвователей и врачей, пользующих заболевших членов общества бесплатно. Среди них – Я.Ю. Бардах, И.С. Гешелин. В 1912 году было основано Общество распространения правильных сведений о евреях и еврействе. Яков Юльевич был членом комитета этого общества.

Читал лекции по микробиологии на съездах еврейских народных учителей. Читал публичные лекции в пользу просветительских учреждений в Одессе и Кишиневе.

Но вернемся немного назад… В 1895 году Яков Юльевич был избран приват-доцентом Новороссийского университета и впервые стал читать курс общей микробиологии на естественном отделении физико-математического факультета. Его лекции были интересны и привлекали большое количество студентов. Большим успехом также пользовались его лекции, организованные Обществом естествоиспытателей при Новороссийском университете для населения города.

Работая в организованной при Новороссийском университете микробиологической лаборатории, Я.Ю. Бардах изучал микроорганизмы одесских лиманов, полей орошения и соленых озер. Он изучал их свойства, сохранность и влияние на них температурных факторов. Эти исследования имели значение не только для общей микробиологии, но и для оценки курортологами свойств лечебной лиманной грязи.

При исследовании сточных и очищенных на полях орошения вод в лаборатории Я.Ю. Бардаха был применен биологический подход, основанный на выявлении показательных организмов. Я.Ю. Бардах также выявил значение микроорганизмов в плодородии почв на полях орошения. Он и его сотрудники разрабо-

тали метод очищения сточных вод путем применения активного ила. В иле были найдены чрезвычайно активные бактерии, аэробно разлагающие целлюлозу, а также вызывающие процессы нитрификации и денитрификации. Были выявлены микроорганизмы, которые размножаются даже в насыщенных растворах лиманных солей. Я.Ю. Бардах обнаружил галофильные бактерии, принимающие участие в круговороте веществ в лиманах и в образовании там лечебной грязи. Большое внимание ученого привлек вопрос создания искусственной лечебной грязи. Под его руководством эти исследования были начаты, однако при его жизни не были доведены до конца, но были успешно завершены его учениками.

В 1928 году в связи с сорокапятилетием научной и общественной деятельности Якову Юльевичу была дана высокая оценка президентом Академии наук Украины академиком Д.К. Заболотным, который писал: «На протяжении всей своей научной и общественной деятельности Яков Юльевич всегда принимал активное участие в разработке вопросов охраны здоровья и внедрения в жизнь профилактических мероприятий, одним из основоположников которых его следует считать. В личности Якова Юльевича счастливо сочетаются качества талантливого ученого и прекрасного человека».

Особо следует остановиться и на его врачебной деятельности. Как отмечает А.А. Ефременко, он был выдающимся врачом-практиком и пользовался очень большой популярностью среди населения Одессы. Когда состоялось его чествование (18 ноября 1928 года) в связи с сорокапятилетием научной и врачебной деятельности, зал Одесской филармонии не смог вместить всех желающих принять участие в празднике. На имя юбиляра поступило более двухсот поздравительных телеграмм от различных учреждений страны, а также от учебных заведений зарубежных государств.

Яков Юльевич Бардах любил Одессу и был предан ей. Он отказался от предложения Луи Пастера переехать на работу в Париж и от предложения Дюкло возглавить Пастеровский институт в Рио-де-Жанейро. Свои научные работы Я.Ю. Бардах публиковал в отечественных, французских и английских журналах. У него было много учеников и последователей.

Из воспоминаний Р.О. Файтельберга: «Впервые я увидел Якова Юльевича Бардаха в 1925 году на заседании Одесского терапевтического общества, где он председательствовал. Затем я довольно часто встречал его на стыке улиц Коблевской и Карангозова (ныне Льва Толстого), когда он возвращался после работы домой. Он был худощав, двигался всегда равномерным шагом с деревянной палкой в руке».

Будущий профессор, доктор технических наук Борис Адольфович Минкус (1904-2004) с малых лет был вхож в респектабельный дом доктора Бардаха как соученик по Ришельевской гимназии и друг его детей. С одним из них, Евгением, они стали коллегами-холодильщиками и близкими друзьями. После ранней смерти Евгения Яковлевича Борис Адольфович до последних дней оставался другом его семьи. Эти воспоминания записаны мною 22 января 2003 года слово в слово так, как говорил Борис Адольфович.

«Генриетта Яковлевна была личным секретарем Якова Юльевича: просматривала почту, периодику, подготавливала все нужное ему. Он, приходя с работы, прежде всего подходил к ней, целовал руку, затем здоровался с остальными.

Генриетта Яковлевна была строгой матерью, серьезной. Хоть мальчики были очень озорные, но в то же время послушные, воспитанные. Если в дом приходил гость, заходили здороваться гуськом по старшинству, с учтивым поклоном. У них были прекрасные велосипеды, лучшие преподаватели. Занимались дети даже летом: иностранными языками, рисованием. Генриетта Яковлевна сидела во главе огромного стола в огромной столовой, у балкона. Рядом на отдельном столике самовар. Скатерть с вензелем императора Николая II. Дорогая посуда. Вообще, в доме было много дорогого фарфора. Посредине стола – чернильница (как ни странно). Может быть, потому что за столом часто сидели ученики. Когда входил профессор в строгой визитке, все умолкали.

Обеды всегда проходили торжественно. Вино было от самого Таирова. К гостям относились с большим пиететом, даже если это были дети. Яков Юльевич прекрасно умел разговаривать с детьми: на их уровне и в то же время серьезно. Он прекрасно раз-

бирался в вопросах этикета. К нему часто обращались за советом в этой области.

Ассистенткой Якова Юльевича была Сарра Зигмундовна Хаит. Ее дочь Леночка приходила на праздники поздравлять Генриетту Яковлевну. Это была будущий профессор, доктор химических наук, заведующая кафедрой химии строительного института Елена Ивановна Медведева.

Яков Юльевич, приходя с работы, рассказывал жене, что произошло за день. «Генриетточка, сегодня было заседание кафедры. С докладом выступала Сарра. Я ей сказал: «Милая девушка, если бы ваши знания соответствовали вашей красоте…».

Деньги на покупку дома ему одолжил граф Толстой. Расписку взять не захотел. «Я вам верю без расписки». – «А если я умру?» – «Если вы умрете, это будет такое горе, что деньги не будут иметь никакого значения».

Кто из почетных людей ни приезжал в город, считал своим долгом посетить Бардаха. Дача Бардахов была на Французском бульваре».

Немного о семье Якова Юльевича.

Он женился в самые последние годы уходящего девятнадцатого столетия на молодой красавице Генриетте Яковлевне Кон (1880-1958). Она стала ему верным другом, матерью троих сыновей, помощником, личным секретарем.

Первый сын Михаил Яковлевич (1899 – ?) – врач, научный сотрудник научно-исследовательской кафедры профилактической медицины, ассистент клиники заразных болезней медицинского института. После смерти отца он уехал в Париж, на работу в Пастеровский институт. Так как советским людям родственников за границей иметь не полагалось, связь семьи с сыном и братом прервалась и уже никогда не была восстановлена.

Второй сын Евгений Яковлевич (1900-1946) – инженер по холодильной технике, кандидат технических наук. Ранняя смерть прервала его успешную инженерно-педагогическую деятельность.

Третий сын Александр Яковлевич (1902-1988) – лингвист, преподаватель иностранных языков: латыни, французского, немецкого. Преподавал в университете и в педагогическом институте.

Внук Яков Евгеньевич (1930-1996) – инженер.

В начале лета 1929 года Яков Юльевич заболел воспалением легких, и 17 июня его не стало. Газета «Известия» (1929 г., 18 июня) поместила некрологи, подписанные комитетом по организации похорон, профессорами В.К. Стефанским, Я.К. Гиммельфарбом, Л.Б. Бухштабом, А.А. Сапегиным. А на четвертой странице газеты напечатаны тридцать два (!) соболезнования от различных организаций, учреждений и частных лиц. Похороны были грандиозные, за счет города. Погребен Яков Юльевич был на Втором Еврейском кладбище рядом с Менделе Мойхер-Сфоримом и Семеном Фругом. В начале 70-х годов их останки были перезахоронены на Втором Христианском кладбище.

По воспоминаниям В.К. Стефановского, Л.Й. Рубенчика, А.А. Ефременко, Б.А. Минкуса, Мальвины Владовой (супруги Якова Евгеньевича Бардаха)

Олег Недоступ

«Я родился с написанной биографией»

В 5 часов 15 минут утра 26 сентября 1939 года ассистент кафедры инфекционных болезней Одесского медицинского института Фаина Ильинична Недоступ (в девичестве Фаня Элиевна Файнштейн) вылезла на улицу из окна комнаты, расположенной в Новобазарном переулке в полуподвальном помещении. Это героическое для ее тогдашнего состояния действие она предприняла, потому что ворота во двор были заперты, дворник беспробудно спал, а у нее начались схватки. Отдельное спасибо местным властям, переселившим несколькими годами ранее семью Недоступ из большой трехкомнатной квартиры в довольно высоком бельэтаже (затруднительно было бы Фаине выпрыгивать с трехметровой высоты на сносях) в удобный для этих упражнений полуподвал. Фаина быстрым шагом преодолела несколько кварталов до клиники мединститута, где к полудню того же дня в семье Иоанна и Фаины Недоступ появился их первенец Вадим.

Молодой отец Иоанн Недоступ был сотрудником Одесского института инженеров морского флота (ОИИМФ).

На раннее детство Вадима Недоступа пришлась большая война и эвакуация. В 1956 году он окончил пятидесятую школу с отличием – благодаря железной воле Иоанна Михайловича в первую очередь и личным способностям во вторую. В том же году Вадим поступил в ОИИМФ на судомеханический факультет.

Как много раз он потом говорил: «Я родился с написанной биографией», – подразумевая, что жизненный путь его был предопределен его семьей, ее укладом и приоритетами.

Окончив в 1961 году с отличием институт, он отправился по распределению на Рижский судостроительный завод, где проработал до 1963 года. Трудно переоценить влияние этих двух лет на всю его дальнейшую жизнь и карьеру. Именно там под влиянием среды, в которую он попал, под влиянием будущих блестящих журналистов и писателей, ярких ученых, молодых сионистов и диссидентов сформировалось его мировоззрение, его восприятие жизни. Именно оттуда появились у него силы совершить головокружительный переворот в своей жизни, уйдя навсегда от судовых паросиловых установок и дизелей в большую науку.

В 1963 году он возвращается в Одессу, чтобы поступить в аспирантуру к Якову Захаровичу Казавчинскому, профессору ОИИМФ, одному из создателей одесской термодинамической школы. Работа с Яковом Захаровичем сформировала область его научных интересов – там Вадим Иоаннович Недоступ впервые столкнулся с проблемами прогнозирования и расчета термодинамических свойств веществ при помощи методов теории подобия.

В 1967 году, как он шутил, «вдохновленный рождением сына», защищает кандидатскую диссертацию на тему «Исследование свойств газовых смесей методом термодинамического подобия». После защиты Вадим Недоступ три года работал старшим научным сотрудником в Проблемной лаборатории прикладной термодинамики ОИИМФ, основанной Я.З. Казавчинским в 1963 году. В эти годы он сформировался как ученый и оказался готовым к следующему крутому повороту в судьбе.

В 1970 году под влиянием своих друзей В.А. Рабиновича и А.А. Вассермана подал документы и прошел по конкурсу

Сотрудники проблемной лаборатории судовой холодильной техники и прикладной термодинамики ОИИМФ (1967 г.) вместе с профессором Я.З. Казавчинским. В.И. Недоступ в первом ряду третий слева, рядом с А.А. Вассерманом

во ВНИИФТРИ (Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиоизмерений, г. Москва) на должность старшего научного сотрудника в отдел низких температур (руководитель – доктор технических наук М.П. Орлова). Вадим Иоаннович рассказывал, что он, вскормленный Югом, так и не смог привыкнуть к северному укладу жизни. Особое недоумение у него вызывала московская кухня. Поэтому, когда в 1972 году Владимир Сергеевич Мартыновский пригласил его в создававшийся в Одессе отдел Института технической теплофизики Академии наук УССР, Вадим Иоаннович без колебаний принял предложение, и к 1973-му году возглавил это подразделение. В 1978 году отдел вошел в состав организованного в Одессе А.В. Богатским Физико-химического института АН УССР.

В.И. Недоступ наряду с большой организационной работой проводил серьезные научные исследования. Основное направление его работ в тот период связано с изучением геометрических особенностей термодинамической поверхности реального газа. Оно

осуществлялось с помощью так называемых идеальных кривых, на которых термодинамические свойства веществ совпадают со свойствами идеального газа. Результаты этих исследований отражены в написанных им главах монографии «Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона» (Москва, Изд-во стандартов, 1976 г.), получившей высокую оценку специалистов и переизданной в США. Главным итогом этих работ явились новые формы уравнения состояния газов и газовых смесей. Структура таких уравнений позволяла, в частности, получить уравнение состояния смеси с точным вкладом энергии разнородного взаимодействия. Результаты этих исследований были обобщены им в докторской диссертации «Метод идеальных кривых и его применение для расчета и обобщения теплофизических свойств газов и жидкостей», защищенной в 1984 г. в ОИИМФ. Применению разработанного метода посвящена монография В.И. Недоступа и Е.П. Галькевича «Расчет термодинамических свойств газов и жидкостей методом идеальных кривых» (Киев, «Наукова думка», 1986 г.).

После защиты докторской диссертации Вадим Иоаннович был назначен заместителем директора Физико-химического института АН УССР, в котором проработал в этой должности тридцать лет. Большая административная работа не мешала ему продолжать собственные научные исследования, оставаясь при этом руководителем отдела. Были выполнены фундаментальные исследования по разработке формы уравнения состояния для сверхвысоких температур и давлений и развита теория использования свободной энергии Гельмгольца в таком уравнении (монография «Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях» – Киев, «Наукова думка», 1990 г.). Он предложил теоретически обоснованное уравнение для энергии Гельмгольца бинарной смеси, которое эффективно используется исследователями термодинамических свойств смесей. Был выполнен также цикл работ по установлению связи «молекулярная структура – свойство», в котором предложены методы прогнозирования свойств не изученных веществ по данным о структуре молекулы. В последние годы В.И. Недоступ увлеченно работал над термодинамикой супрамолекулярных соединений. Им предложен новый подход к расчету кривых фазовых переходов в водных клатратах.

Вадим Иоаннович любил повторять, что свои способности он получил в наследство от папы, а характер от мамы. Но Иоанн Михайлович передал сыну не только свой талант. Дело в том, что Иоанн Недоступ был страстным собирателем книг. Не коллекционером, а библиофилом, воспринимающим каждую новую книгу как чудо, как новое переживание, как предмет искусства. Он собрал солидную по тем временам коллекцию книг – тысячи томов прекрасной литературы, и во всем этом великолепии довелось расти и взрослеть Вадиму Недоступу. Поэтому неудивительно, что любовь к книгам украсила и его жизнь. Человек читающий, смотрящий на мир, и человек не читающий, смотрящий на мир, видят разные миры.

Позднее, после путешествия в Париж, он говорил, что этот город воспринимался бы им как заурядная европейская столица (Барселона точно не хуже) с двумя приличными музеями, если бы не Дюма, Сименон, Эренбург и Хемингуэй. Дюма, кстати, стал первой и главной литературной любовью Вадима Иоанновича. Он мог процитировать наизусть главу «Диссертация Арамиса», рассуждать о кулинарных пристрастиях аббата Горанфло и искренне печалиться о гибели Портоса в последней части книги «Виконт де Бражелон». А еще он знал и любил поэзию. Любил ее страстно и самозабвенно. Каким-то образом Тютчев и Фет, Блок, Гумилев и Пастернак перекликались с его внутренним миром, освещали его жизнь своим гением. Книги также стали ему убежищем, формой внутренней эмиграции. В нем уживались сознательный конформист с абсолютно порядочным человеком, а порядочность, во все времена не дешевое понятие, в эпоху развитого социализма обходилась особенно дорого. Душевный разлад, вызванный несовершенством бытия, помогали компенсировать книги.

Окончательно, по его словам, его литературные вкусы сформировались в Риге. Его рижский друг Марк Абрамович Косой, в свое время блестящий инженер-конструктор израильской авиационной промышленности (проект Лави) вспоминает: «После окончания института в 1961 году Вадим с группой выпускников был направлен в Ригу на судостроительно/судоремонтный завод. Не все сразу пошло гладко – обычный конфликт: в институте учат теорию, а на заводе нужна практика. Первая фраза, произнесенная

Вадимом: «Мы еще увидим небо в алмазах». И действительно, благодаря своим способностям он стал хорошим инженером и начал продвигаться профессионально. Но цель его была заниматься наукой, а не оставаться инженером, поэтому он параллельно с работой занимался на курсах и успешно сдал все экзамены на кандидатский минимум, что позволило ему завершить работу на заводе в Риге и поступить в аспирантуру.

Почти трехлетнее пребывание Вадима в Риге совпало с хрущевской оттепелью, с расцветом поэзии, литературы и искусств в Советском Союзе. Создалась группа ребят, влюбленных в поэзию, увлеченных поэтами новой волны: Е. Евтушенко, А Вознесенским (цикл стихов в журнале «Октябрь»), Б. Ахмадулиной, Р. Рождественским и др. Кроме поэзии много отличной литературы, которую только начали печатать в Советском Союзе, – Солженицын, Хемингуэй и др. Он говорил: «Мы увлекались живописью и музыкой: посещали лекции Печерского и концерты в Домском соборе. Все это, а также наши бесконечные дискуссии дали толчок духовному развитию. Мы получали огромное удовольствие он общения друг с другом».

Так Вадим развивался профессионально и духовно, что повлияло на всю его дальнейшую жизнь.

Еще надо отметить, что это был короткий период изобилия в Риге, когда в избытке были марочные грузинские вина, выдержанные коньяки армянского и грузинского производства и вкусная еда в ресторанах. Так что параллельно с духовным развитием ему прививался вкус к хорошей жизни. Помнится, что несмотря на некоторые вольности холостяцкой жизни Вадим при первой же возможности ездил в Таллинн, где жила его будущая жена Наташа, с которой он впоследствии прожил всю оставшуюся жизнь. Это было незабываемое время, освященное крепкой дружбой, духовной и физической радостью.

Его рижские друзья, будущие журналисты и писатели И. Герольд и М. Абир, прекрасные ученые и инженеры Д. Тейтельбаум, В. Юфко и М. Косой, оказали на него огромное культурное влияние, приобщив его среди всего прочего к идеям сионизма. Вадим Иоаннович повторял неоднократно, что он – человек мирный, но единственная земля, за которую он пошел бы сражаться, –

это земля Израиля. Это не помешало ему большую часть жизни прожить в Одессе, которую он беззаветно любил. Однако его не оставляло чувство сопричастности ко всему, что случалось на земле Израиля, тем более что там жили его близкие друзья, а позже поселились его сын и внуки. Израиль дарил ему чувство гордости на протяжении всей жизни. Он рассказывал, какие сильные чувства он испытывал после победы Израиля в Шестидневной войне, в войне Судного дня, как он гордился потом своим сыном, работающим в Институте Вейцмана – одной из ведущих научно-исследовательских организаций в мире, как он гордился своим внуком, который служил в легендарной бригаде «Гивати», и внучкой, которая служила в военно-воздушных частях.

В.И. Недоступ с внуками

В то же время он любил Украину и фактически посвятил ей свою жизнь. Он часто говорил, что Израиль его гордость, а Украина его тревога.

Вадим Иоаннович любил повторять фразу своего отца: «Браки совершаются на небесах». Он в это верил и всей своей жизнью доказал истинность этой формулы для него. Свою будущую супругу Наталью он встретил в 1961 году в Одессе, где она была с родителями на отдыхе. С тех пор он не представлял себе жизни без нее. Наталья Сергеевна Недоступ (в девичестве Козляк) родилась в семье советского офицера Сергея Васильевича Козляка и Ольги (Цили) Исайевны Козляк (в девичестве Лифшиц). Она окончила Ленинградский Герценовский институт по специальности «дефектология и логопедия» и в свое время стала выдающимся дефектологом. Многие одесситы приходили к ней за помощью, и не было тех, кто ее не получил. В 1963 же году Наталья была на практике в селе Йорга, затерянном в лесах Псковской области. Вадим Недоступ с немалым трудом отыскал этот населенный пункт на карте, с еще большим трудом добрался туда и, не откладывая в долгий ящик, сделал Наталье предложение, которое, пусть не с первого раза, было принято. Свадьба была сыграна там же – в сельсовете Йорга, свидетелями и гостями были сокурсницы Натальи Сергеевны и местные жители, пожелавшие поздравить молодых. С тех самых пор супруги не расставались. Она стала символом дома, куда он всегда возвращался, а он был ей опорой и защитой до конца. Он вообще был очень верным человеком. Человеком, преданным без остатка тем, кого он любит.

Он умел дружить и лелеял свою дружбу как высшую ценность. Через всю жизнь он пронес дружбу с М. Бурышкиным, А. Вассерманом, В. Рабиновичем, Ниной Мартыновской (дочкой Владимира Сергеевича Мартыновского) и ее мужем В. Цимарным, Феликсом Кохрихтом, Леонидом Авербухом, Александром Курляндом и многими замечательными личностями, живущими не только в Одессе.

Он любил общаться с членами клуба «Беседа», куда неизменно приходил с бутылкой сладкой газировки.

За пятьдесят пять лет научной деятельности В.И. Недоступ опубликовал более двухсот пятидесяти научных работ, среди ко-

торых пять монографий и три монографических обзора. Вадим Иоаннович с 1984 по 2014 гг. руководил отделом термодинамики и теоретической химии. С 1989 по 2016-й работал заместителем директора по научной работе Физико-химического института имени А.В. Богатского. С 2016 по 2022-й был главным научным сотрудником института.

Вадим Иоаннович был членом Комиссии АН СССР по таблицам теплофизических свойств Международного союза теоретической и прикладной химии IUPAC. В Отчете советской комиссии – монографии «Теплофизические свойства газов и жидкостей» (1964-1971) АН СССР (Махачкала, 1972) он автор одиннадцатой главы, «Теплофизические свойства газовых смесей» (с. 275-289). Был членом редколлегии трех журналов, членом научного совета Публичной библиотеки г. Одессы, членом Совета по защите диссертаций, членом Союза журналистов. На протяжении многих лет, будучи главой наблюдательного совета Фонда «Відродження», он активно способствовал развитию гражданского общества в Одессе. Автор статей по истории развития теплофизики в Одессе, о профессоре Я.З. Казавчинском, о профессоре М.Л. Бурышкине, об одессите и выдающемся американском термодинамике А.И. Калине и др.

5 марта 2022 года завершилась яркая и необычайно содержательная жизнь Вадима Иоанновича Недоступа, выдающегося ученого, общественного деятеля, любимого и любящего мужа, отца, деда, друга, яркого сына Одессы. Он скончался от последствий коронавируса в Одесской городской инфекционной больнице.

Основное направление работ Вадима Иоанновича было связано с разработкой новых уравнений состояния и методов расчета и прогнозирования экспериментально не изученных веществ и соединений. Он был одним из пионеров комплексного изучения так называемых идеальных кривых на термодинамической поверхности реального газа. Он, в частности, показал, как с помощью однопараметрического семейства этих кривых можно получить класс линейчатых поверхностей, к которым относятся поверхности состояния газов и жидкостей. На основании этого получены эффективные формы уравнений состояния, в том числе одно из первых канонических уравнений для высоких

температур и давлений. В последние годы в круг научных интересов вошла разработка методов QSPR для определения термодинамических свойств сложных органических соединений.

Основные работы В.И. Недоступа:

Thermophysical Properties of Neon, Argon, Krypton and Xenon. Hemisphere publ. corp. – Washington, N.Y., London, 1987. – 604 p.

Расчет термодинамических свойств газов и жидкостей методом идеальных кривых. – Киев: Наукова думка, 1986. – 193 с.

Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях. – Киев: Наукова думка, 1990. – 196 с.

Прямые методы определения энергии межмолекулярного взаимодействия по теплофизическим данным // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. – Москва: ИВТАН СССР, 1983, № 1 (39), с. 73-121.

Идеальные кривые на термодинамической поверхности реального газа. // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. – Москва: ИВТАН СССР, 1985, № 2 (52), с. 46-85.

Уравнения состояния экстремально сжатых газов // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. – Москва: ИВТАН СССР, 1988, № 5 (73). – 79 с.

Каноническое уравнение состояния реального газа для высоких температур и давлений // Теплофизика высоких температур. – 1988, т. 26, № 5.

Асимптотические свойства идеальных кривых на термодинамической поверхности // Теплофизика высоких температур. – 2013, т. 51, № 1.

Classical Ideal Curves in the Phase Diagrams for Simple Substances // High Temperature. – 2015, Vol. 53, № 1.

Идеальные кривые: термодинамика, геометрия, использование. – Одесса: Издательский центр, 2021. – 316 с.

Плодотворная и активная научная и общественная деятельность В.И. Недоступа получила высокую оценку государства:

в 1992 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины»;

в 2003 г. он награжден орденом «За заслуги» III степени;

в 2006 г. – Знаком отличия Национальной академии наук Украины «За подготовку научной смены»;

в 2009 г. – грамотой Верховной Рады Украины;

в 2014 г. – Почетным знаком отличия Одесской областной государственной администрации.

Кирьят-Экром – Одесса

Виталий Оплачко

Румейские хроники

I

Я родился в городке Паластра (Pallestra). Там, где Дикое поле обрывается рыжими скалами над Меотидой, морем, столь изобильным рыбой, что древние называли его «божьим садком», где в светлые воды великой реки Кальмиус вливается горький Кальчик. К моменту моего появления на свет над ковыльными степями Приазовья пронеслись века и почти не оставили следа великих народов: киммерийцев, скифов, готов, торков и аланов. Чуть больше повезло хитроумным эллинам и вероломным генуэзцам. К 1780 городок стал именоваться Мариуполем – уездным центром греческого округа. Империи требовалось заселять новые земли, которыми она прирастала с каждой войной, большой или малой. Поэтому переселение греков-христиан из Крымского ханства в пустынные необжитые районы решало две задачи: колонизация и освоение северного побережья Азовского моря – и подрыв экономики Крыма, вассала и союзника Сиятельной Порты. Все это было частью мечты императрицы Екатерины II – создание Великой Новогреции на островах и континентальных землях неверных – Оттоманской империи.

Не скажу, что обо всем этом я ведал с раннего детства. Город наш был окружен греческими деревнями и хуторами, чьи названия ласкали слух жителей памятью о крымской прародине: Ялта, Урзуф, Старый Крым. Вместе с белгороной (сладчайшей янтарно-желтой черешней), яйцами, брынзой, айряном и сюзьмой на городские рынки проникал говор урумов из сел, говорящих

на тюркском крымско-татарском диалекте, и румеев – понтийских греков Анатолии и эллинских общин Крыма. Сами они вряд ли подозревали, что их самоназвание восходит ко Второму Риму – Византии.

Языковая среда в городе состояла из гремучей смеси греческих диалектов, русского и украинского языков. Но чем живет простой народ? Заработать и поесть! Лучше поесть вкусно. Румеи, урумы и наши, украинцы и русские, за век совместного проживания усвоившие кулинарную культуру греков, создали в Мариуполе моего детства гастрономическую Мекку! Чирчир! Вы знаете, что такое чирчир? Это не ваши столовские чебуреки, где сырого теста больше, чем мяса. Лучший чирчир в городе готовила моя тетя Вася. Это забавное имя приклеилось к маленькой гречанке Василисе, которую моя бабушка подобрала на улице во время голода двадцать первого года. Она так и жила с нами, пока не вышла замуж за своего, грека Лагонского. И на чирчир мы приходили к ней в дом. На керогазе кипел в чугунном казане бараний жир, тетя Вася раскатывала до прозрачности тесто, наполняла лепешечки остропахнущим бараньим фаршем и бросала их в казанок. Есть надо было немедленно, глотая горячий сок, мясо и вздувшуюся хрустящую оболочку. И запивать арьяном! Мой личный рекорд – семнадцать штук! Не удивляйтесь, взрослые ели и побольше.

Вот я назвал вам слово «сюзьма». А кто-нибудь спросил, что это? Если арьян налить в полотняный мешок, отцедить, придавливая, жидкость, а затем из полученной массы налепить небольших катышков и выставить на несколько дней просыхать, то что вы получите в результате? Вы получите чудо! Мариупольская вода горьковато-соленая, пить ее могут только местные. Но шарик сюзьмы в литровой банке превращает кальмиусскую воду в волшебный напиток с резковато-кислым вкусом, который так хорошо освежает жаркими июльскими вечерами. Но есть же еще и буза! Какая там газировка! Какое там ситро! Буза, любимый напиток нашего детства. В бутылку кипяченной воды засыпается просо, прежде замоченное и подбродившее, затыкается хорошей пробкой и ставится в погреб.

Через несколько дней бутылки выносятся на террасу, под радостные вопли детей вылетают пробки (где там вашему шампанскому!) – пенный газированный напиток, напиток-мечта, наполняет стаканы.

II

…Ранняя осень, еще тепло, но почему-то мой отец в серой толстой шинели с малиновыми кубиками на отворотах. В руках у него желтый фанерный чемодан. Он уезжает на фронт. Я иду провожать его «на калитку». Мне совсем не страшно – он такой сильный, и у него еще бело-синий значок парашютиста с подвеской за двадцать семь прыжков.

Мамы нет, она уехала в свой госпиталь собираться. Папа отказался брать котлеты. которые бабушка жарит на дорогу. Так что прощаемся мы вдвоем: военврач со свежим дипломом из мединститута города Сталино и его сын. Больше они никогда не встретятся…

…Бомбят почему-то ночью. Что они там видят? «Это на Фонтале, наши бомбят», – говорит бабушка и гасит коптилку на столе. Очень сильный грохот, где-то совсем рядом. Бабушка кидается к моей постели и застывает, прикрывая меня собой. Улетели.

Утром весь двор выбегает на улицу. Снизу от пивзавода строем по трое поднимается конница. Лошади рыжие, на кавалеристах кубанки, с трехцветных флагов свисают красивые желто-черные ленты. Впереди на мотоциклетке два немца. Кубанская дивизия.

…Уходят куда-то дядя Арон с тетей Фридой, в руках у них небольшие узелки. Дядя Арон работает на макаронной фабрике. Это она так просто называется, но там и конфеты делают, которые он иногда приносит нам, детям. Он очень высокий и всегда грустный. Или это потому, что у него глаза такие, большие черные? «Куда они уходят?» – спрашиваю я бабушку. «Ивреев забирают», – вместо нее отвечает Мишкина мама. Через много дней мы узнаем куда. Мариупольских евреев расстреляли у противотанкового рва на агробазе.

Дед с бабушкой собирают вещи – мы перебираемся из своей пристройки в комнату тети Фриды и дяди Арона. На мой молчаливый вопрос бабушка говорит: «Раньше, до революции, этот весь дом наш был. Вернутся – мы им как раз все и отдадим». Я узнаю новые слова: вот этот здоровенный шкаф называется «шифонэр», а эта штуковина с полками – «этажерка». Бабушка расставляет на ней книги, которые перед отъездом нам принес Поляков, врач из маминого госпиталя. Книжки с портретами вождей на синих обложках бабушка взяла на растопку, а дедушка на самокрутки. Но остались тоже интересные. Я показываю деду на картинке какое-то чудовище, и он по слогам читает, шевеля бледными губами: «Ле-ви-а-фан».

…В нашем дворе квартирует немецкая полевая кухня. После солдатского обеда всем детям раздают что-то розовое на плоских алюминиевых тарелках. Запах такой приятный, что все едят, не ожидая, когда оно остынет. Вкус этого пудинга остался со мной на всю жизнь.

Вилли, ефрейтор, живет в нашей комнате. По вечерам, выпив, он показывает деду, как надо поступить с Гитлером и Сталиным: сталкивает перед дединым носом два здоровенных кулака – хрясь! Дед смеется, потягивая самокрутку, но бабушке это не нравится. Она боится.

Бедный Вилли! Он оставил свой ручной пулемет в углу комнаты и ненадолго ушел. Как назло, появились полевые жандармы с бляхами на груди и в касках. Пока ждали нашего ефрейтора, съели оладьи, которые пекла бабушка. Дождались и увели Вилли насовсем.

У соседки поселились другие солдаты: форма похожая, но не немцы. Говорят вроде по-нашему. Но ничего не понятно. «Это словаки», – объясняет мне мой друг Мишка. Они не такие добрые, каким был наш Вилли. У них есть патефон, и на террасе бывают танцы с девушками из соседних дворов. Им словаки нравятся.

…Среди книжек есть академическое издание 1937 года «Сочинения А.С. Пушкина». Меня завораживают рисунки на полях этой книжки – женщины в каких-то странных шляпах, профиль мужчины с длинным носом. Это «лукавый» из молитвы, которой меня

обучает моя не очень религиозная бабушка. Вообще, все малопонятные слова находятся в зрительных образах. Слово «изячный», которое бабушка произносит по поводу какой-то знакомой, это полотняный мешочек с ячневой крупой на верхней полке. Козьма Крючков, дедушкин любимый персонаж, – это длинный зеленой краски крюк на мясной лавке. Для каких-то слов ассоциаций не находится, и это вызывает некоторую настороженность. Что такое, например, «ридикуль»?

Бабушка говорит: «У людей совсем плохо с едой стало». Дед принес с базара ведро коровьей крови. Бабушка засыпала туда пшено, положила лавровый лист и перец, вылила все это на лист, запекла в духовке. Готовый «пирог» разрезала на куски. Я позвал Мансура и его брата с сорок второго номера, прибежали пацаны с соседних дворов. Чуть не вся Торговая сбежалась…

…Конец августа. Жара. Город вымер. Уходят немцы. Всех трудоспособных сгоняют к зданию «полка». Здесь нас разлучают с дедом, он – нетрудоспособный, останется в доме инвалидов. Я реву и не отпускаю дедину руку, немец в каске отпихивает меня. Нас с бабушкой в огромной толпе гонят на вокзал. По крышам и чердакам лазят немцы с топорами, выискивают спрятавшихся. Очень дымно. Люди говорят, что немцы подожгли Слободку. На вокзале залазим в товарные вагоны. Очень тесно и жарко. Бабушка находит место, стелет на пол одеяльце и укладывает меня. Люди прибывают. Чей-то здоровенный ботинок наступает на меня. Бабушка отпихивает мужчину. Поезд трогается. Уехали недалеко, под Сартаной налетают наши самолеты, начинают бомбить. Всех выгоняют из вагонов, немцы-охранники куда-то деваются, и мы с бабушкой, пользуясь темнотой и сумятицей, уходим. Она заставляет меня хромать, получается плохо. Но это и неважно – на улицах ни души. В квартиру мы не заходим, сразу в погреб. Здесь мы сидим целый день и следующую ночь. Между бочками из-под соленых огурцов и капусты бабушка устраивает мне постель. У меня начинается кашель, она зажимает мне рот рукой, дает воды из бутылки. Я захлебываюсь и продолжаю кашлять. Утром выбираемся. Вокруг мертвая тишина и прохлада. Заходим в комна-

ту, все вроде цело. Через окно, распахнутое настежь взрывной волной, ветер приносит запах гари. Город продолжает гореть…

…Уже несколько дней в городе наши. Впервые за несколько месяцев идем с бабушкой по Большой к скверу. Там густая толпа. Я вижу, на фонарных столбах висят длинные люди с табличками на груди. Одна в сиреневом пальто мне кажется знакомой. Да ведь это Зоя-переводчица! Я видел ее во дворе у тети Таси на Карла Либкнехта, она танцевала под патефон с немецким офицером с серебряным кантом на погонах. Очень красивым офицером. Рядом вслух кто-то читает табличку: «За сотрудничество с фашистами». Бабушка оттягивает меня в сторону, мы уходим.

…Идем с бабушкой на вокзал, просто так, посмотреть на людей и на пассажирский поезд.

«Может, кого встретим», – говорит бабушка. Я знаю, что она надеется увидеть своего сына, моего дядю Валю. Его год назад забрали на работу в Германию. «С сорок второго номера уже вернулись братья Литвиненко, может, и наш приедет», – шепчет тихонько моя бедная бабушка. Покупаем перронные билеты, но на входе нас останавливает патруль. Проверка документов. Бабушка достает из «ридикюля» свой советский паспорт и мою «справку» с фашистским знаком на круглой печати. В справке написано, что моя бабушка – это мама, а дед – папа. Справку «устроил» Валька Шварценберг, папин приятель. Его, немца по национальности, приняли на работу в городскую управу.

Нас ведут в железнодорожную комендатуру, бабушку заводят в комнату, меня оставляют в коридоре. Рядом на скамейке инвалид на костылях, плачет пьяная баба.Через полчаса нас отпускают, но без этой фашистской справки. Теперь моя бабушка – бабушка!

…Май. Во дворе среди камней от старой конюшни распустились желтые одуванчики. Из открытого у Пантелеевны окна во двор доносится голос Левитана: «В ознаменование нашей победы над Германией сегодня, 9 мая, в день Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-

Морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». «Павшим в боях» – это про моего папу. «Вечная слава» – это значит, я его никогда больше не увижу? Слезы текут потоком, мне ужасно жалко себя. Мы регулярно после освобождения Мариуполя получали от мамы письма и переводы. А от отца никогда, ничего, ни строчки.

…Мы с бабушкой на базаре у мясного корпуса, где подрабатывает дедушка. Мне покупают стакан айряна с замечательной коричневой корочкой и плоский горячий пирожок с картошкой. К нам подбегает соседка тетя Нюра с криком «Надя приехала!». Бежим по Торговой, по растресканным тротуарным плиткам. Я не жду задохнувшуюся бабушку и влетаю во двор. И вот она – моя мамочка, в военной защитной юбке и голубой «бобочке». Моя мама вернулась! Но оказывается, только в отпуск, на неделю.

Бабушка накрывает на стол, а мама развязывает носовой платок и протягивает мне побелевшие шоколадные дольки. Некурящим вместо махорки давали дольку шоколада в день. Три года она собирала этот шоколад.

Мой отец не вернулся с войны, как и его братья. Моя бедная любимая мама после фронтовых и эвакогоспиталей несколько лет страдала ночными кошмарами – раненые, умершие, и все время кровь, кровь…

На фотографиях отцу двадцать шесть, маме двадцать. Казалось, впереди долгая, долгая жизнь.

III

Как только устанавливалась погода, двор начинал готовиться. Из общего погреба, из сараев выкатывалась тара под названием кадушки. Пропаривались крутым кипятком, высушивались на солнце, кое-где поправлялись сползшие обручи. В первой половине двадцатого столетия после 1917 городской люд Мариуполя жил точно так, как их сельские сограждане. Не надеясь, не веря и не полагаясь на государство.

В магазинах покупалось только то, что было невозможно произвести в своем хозяйстве. Другими словами, товары мобилизационного спроса – соль и спички. Даже сахар выпаривали из бекмеса – густого арбузного сока. Поэтому за два-три летних месяца непрерывного труда женщины старались обеспечить свои семьи припасами на всю долгую зиму. Никаких крышек, никаких закруток и в помине не было. Все делалось так или почти так, как и век назад.

С огурцами было все просто. Этот овощ не требовал коллективного труда. И моя бабушка относилась к нему почти небрежно: экая невидаль, соленый огурец! Поэтому огромная кадка, в которую я заглянуть по своему росту не мог, спускалась по доскам в погреб. Если кто-нибудь из соседей и «перепутает», не беда – это ж просто огурцы. Другое дело помидоры. Конечно, наша память сохраняет из детских впечатлений самое яркое, расцвечивая его ностальгией по невозвратному. Но таких соленых помидоров, как у моей бабушки, я больше в жизни не ел. Не знаю, какой сорт она выбирала. До самой весны помидор сохранял свою идеальную форму, тонкая кожура легко прокусывалась зубами, и рот наполнялся несравненным винным вкусом. Кадушка с помидорами ставилась на цеглу в неотапливаемом «калидоре» в нашей квартире.

Капусту резали на двух больших столах в несколько рук – приходили родичи и знакомые. Вокруг крутилось все детское население в ожидании кочерыжек. Огромная куча капустных кочанов быстро превращалась в горы полуфабриката, туда же отправлялась струганая морковь. Не знаю, как теперь, но прежде в наших краях клюква не водилась. Да и зачем она была? Каждые двадцать-тридцать сантиметров капусты перекладывались слоем небольших крепких яблок. А зимой – проснуться, выскочить с голыми ногами в коридор, разрыть холоднющую капусту и достать из глубины хрустящее «живое» яблоко!

Не знаю, как там сравнивают уровень жизни по стоимости биг-мака, но в Украине главный показатель – стоимость борщевого набора. И в отличие от русских щей, у нас обязательный ингредиент – что? Конечно, помидоры летом и томатный морс зимой. Никакой томатной пасты, только морс! Его

приготовление можно вполне отнести к работе в горячем цеху. Потому что кроме кипящей выварки с помидорным соком рядом стоял старый казан с булькающей смолой. Литровые бутылки темного стекла заполняли кипящим морсом, затыкали настоящими пробками и ловким движением стеклодува опускали с проворотом в кипящую смолу. Консервация закончена!

Варенье у нас варили почти из всех доступных фруктов. Однажды даже из такой экзотики, как райка. Ничего хорошего, на мой вкус. Моим любимым было повидло из слив. Оно же послужило косвенной причиной моей наклонности к путешествиям. Однажды я вертелся около бабушки, когда она помешивала в медном тазу душистую массу, и, видно, сильно ей мешал. Получил по лбу большой деревянной ложкой. Такая обида требовала достойного ответа… и я ушел из дому. Навсегда. Вышел из калитки и отправился в незнакомую для меня местность – на Слободку. До темноты бродил по узким улочкам среди палисадников с чайными розами, вдоль оград с паутелью. Пахло ночной красавицей, где-то, пощелкивая, звучал патефон – «Счастье мое я нашел в нашей встрече с тобой…». Ну да, он нашел, а мне что делать? Вернулся я совсем затемно. Встреча блудного внука была организована не по библейским канонам: сначала бельевой веревкой по заднице, а телец… не, тельца не было.

Учитывая нежный характер моих читателей, я все откладываю рассказ про колбасы, ветчину и сальтисон. Потому что они потребуют таких подробностей, что… нет, лучше в следующий раз, когда мы познакомимся поближе. А сегодня еще несколько слов про мариупольский говор. Это не про диалекты новогреческого. Это про наш язык, на котором говорили мы и наши соседи. Есть умное слово в лингвистике – флуктуация, то есть замена букв в нормативе. К примеру, у нас говорили «аны» вместо русского «они» или украинского «вони». Мыло именовалось «милом», хлорку звали «флоркой». Самое неожиданное – это «свальба» вместо свадьбы. Я долго считал, что это от необразованности, пока не обнаружил, что в Закарпатье традиционное «весілля» называют «свальбой». Бабушка пекла «фурабье», пе-

ченье ромбиками, тающее во рту. Звучит очень по-французски, но это греко-татарское хурабие, на которое не только в Курбан-Байрам, но и в любой другой день мог рассчитывать гость в доме наших братьев урумов.

Необходимое примечание для членов группы «Старый Мариуполь»: я не претендую на краеведческое исследование, возможные ошибки в моих текстах по невежеству, а не с умыслом. Моя цель скромна – мне хочется рассказать о жизни моей семьи и близких мне людей в той части города, которую я знал.

IV

Раннее воскресное утро, начало холодного марта.

– Женя, Женя! Вставай! Достань из падувала жужелку и посыпь до сарая. Я там вчера чуть не упала.

Женя – это мой дед Евгений Александрович Федоров. Несмотря на его шестьдесят лет, у него замечательная осанка, хорошей формы бритая до блеска голова. Он красив той грубой плебейской красотой, которая встречается только среди трудового люда. Женщины и до сих пор бросают на него заинтересованные взгляды. А прежде… Бабушка вспоминает какую-то Катьку, которая из-за него травилась кислотой и ей угрожала.

Во время нэпа у него была собственная мясная лавка на базаре, теперь он подрабатывает там грузчиком, таскает тяжелые туши. За это кроме небольших денег у нас каждый день есть кусок мяса. Дед встает около пяти и без завтрака отправляется на работу – там его не только накормят, но и нальют стопку-другую. Возвращается к часам трем, слегка, но только слегка навеселе. Бабушка ругается и ставит перед ним тарелку густого борща, заправленного толченым старым (!) салом с чесноком. После обеда спит до пяти. Потом встает, тщательно моется, надевает «кустюм» и отправляется «на преферанс» к доктору Кологномусу. Эта фамилия часто встречается в ссорах моих деда с бабушкой. Ее необычное звучание, как и все новые слова, вызывает у меня зрительные цветовые

ассоциации. Так, для меня надолго прилагательное «изящный» (бабушка говорила «изячный») связывалось с серым холстяным мешочком с ячневой крупой на верхней полке. Признаюсь, мне и теперь женщины в серебристо-сером, вне зависимости от комплекции, видятся изящными. То же самое с жужелкой. Для жителей старого Мариуполя это обычное слово. Так называются кусочки шлака, не сгоревшей породы. В снежные зимы жужелкой посыпали протоптанные во дворе дорожки к сараям и уборной.

Почти весь наш двор был вымощен ракушечником-дикарем, оставшимся от разваленной прадедовской конюшни. Небольшие окошки чистой земли весной прорастали одуванчиками, толстыми стеблями амбарной травы. Возле крана на влажной земле толпились, иногда взлетая, кусачие жуки. Их черные спинки выглядели, точно как жужелка из нашей печки. Совсем недавно я узнал, что жуки эти называются жужелицей. Видно, ассоциативное восприятие свойственно не только мне.

V

…Шел солдат чумацким шляхом через всю страну, называемую тогда Малороссией. Было это в царствие императора Николая I, еще до начала Крымской войны. Отслужил он двадцатилетнюю рекрутчину и, кроме котомки с бельишком и новых сапог, выданных в «бессрочный отпуск» при увольнении, не было у него ничего. Зашел он в корчму при дороге с расчетом и поесть, и выпить, а может, и переночевать. Разговорился с корчмарем про долю свою горькую: иду, мол, незнамо куда, нет у меня ни дома, ни жены. Время было уже позднее, корчмарь с солдатом выпили не мало, а в аккурат, чтоб близость душевную друг к другу почувствовать. И говорит корчмарь: «Там у меня в амбаре девки заночевали, с барщины возвращались и притомились. Берем фонарь, идем тебе женку выбирать». Сказано – сделано. При свете фонаря много не разглядишь, но вроде выбрали девку ладную, в теле и на лицо не страшную. А звали ее Дарья. Уж не знаю, как моему прапрадеду по фамилии Дуевич (Джуевич) удалось выку-

пить мою прапрабабку из крепости, но семейное предание говорит, что жили они счастливо и положили начало одной моей линии – Литвиненко. Кем был Дуевич/Джуевич – поляком, литовцем или хорватом, я не знаю. Да и неважно это.

VI

...В конце апреля, когда солнышко пригревало уже вовсю, бабушка приносила с базара соленые пузанки. Тот, кому посчастливилось попробовать эту азовскую сельдь, уже никогда не забудет ее восхитительный, ни с чем не сравнимый нежный вкус с легким запахом арбузной корки. Рыбка эта небольшая, сантиметров пятнадцать-шестнадцать. Про голландский обычай есть целые половинки сельди, макая их в чесночный соус, мы не ведали, но именно так мы и ели: половинки пузанка отправлялись в рот, по губам и на подбородок лился солоноватый жирок. К пузанкам шли первые огурчики и отварная картошка.

Июнь приносил в наш двор главную мариупольскую рыбу – чебак! Никакого отношения к своим однофамильцам азовский лещ не имеет. Эта жирная, набитая икрой рыбина, весом до двух-трех килограмм никак не походит на ту высохшую сморщенную фигню, которую вы употребляете под пиво. Бабушка покупала, а чаще нам приносил ее брат-рыбак, для меня – дядя Яша, два-три десятка здоровых чебаков. Их солили специальной крупной «рыбацкой» солью, затем вялили, вывешивая на террасе. Солнце насквозь просвечивало их янтарные тела, на подстеленные тряпки капал жир. Но вот что удивительно – мухи на них не садились. Чем бабушка смазывала рыбины, не знаю, но помню: «Если муха села – рыбу можно выбрасывать». Уже через неделю вяленые чебаки подавались к воскресному обеду или если гости. Но гости (родичи и соседи) были почти каждый день. Особенно ценилась рыба с «загаром» – легкая вонь разлагающегося жира и вправду придавала специальное гастрономическое качество трапезе. Кусочки спрессованной красноватой мелкой икры выбирались из нарезанных ломтей для любителей пива.

Но для меня любимым блюдом был чебак, запеченный в духовке. На крупной терке бабушка натирала картофель, нарезала лук, хорошо перчила горьким и душистым перцем, затем эта начинка отправлялась в выпотрошенное брюхо. Потом суровой черной ниткой рыба зашивалась, делалось несколько неглубоких надрезов, чтоб пропеклось на всю глубину, – и в духовку! Не могу сказать, что с голодухи любая рыба покажется лакомством. На Черном море про рыбу больше в фольклоре – «шаланды, полные кефали», бычки, ставрида, мифическая скумбрия. Правда, еще камбала-калкан…

У нас все эти бычки, тюлька считались сорной рыбой, годной только на котлеты. Отвратный запах, когда их жарят!

Настоящий улов – это метровая севрюга, осетрина (всегда в женском роде, никогда «осетр»). Сам был свидетелем: по нашей Торговой улице медленно ехал ЗИС, с его открытого заднего борта свисал хвост чудовищной белуги. Знаю, не верите! И, разумеется, вся эта «красная рыба» метала черную икру. Ее стоимость у рыбаков была просто смехотворной. Причем у нас любили не зернистую – суховатая, а паюсную. Литровую банку паюсной икры бабушка заливала сверху подсолнечным маслом «на зиму». Потому что рыбный сезон заканчивался к ноябрю, и кроме случайной сулы (азовский судак) или рыбца на стол уже ничего не попадало. Начинался мясной год. Об этом расскажу в другой раз.

VII. Как я познал женщину

– Гуси, гуси!
– Га-га-га!
– Есть хотите?
– Да, да, да!
– Ну летите все сюда!

По другой стороне Торговой, там, где она круто изгибается своей булыжной мостовой к Слободке, за одноэтажными домиками был большой пустырь. Скудная городская трава про-

бивалась между разбросанными кирпичами, белыми, и красной «цеглой», кое-где торчала кладка разрушенных стен. Там собирались дети всех соседних дворов и проводили целые дни жаркого мариупольского лета. Мы не играли в футбол, у нас не было мячей, девчонки не прыгали через скакалку – где ж там попрыгаешь? Естественно, все начиналось с «На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной…». Но долго играть в жмурки было скучно. На большом пустыре пока всех найдешь и застукаешь… надоест. Потом были эти самые «гуси». Но если собиралось пару десятков пацанов и девчонок в возрасте от пяти до двенадцати лет, можно было выстроиться в две шеренги напротив друг друга на расстоянии метров тридцать-сорок, и начиналась «Чью душу желаете?». Прорвать сцепленные руки и увести в свою шеренгу желаемую «душу» было делом нелегким. Старались бежать быстро, набирать скорость и с ходу врезаться в чужих. Девчонки, как правило, тыркались боком и легко попадали в плен.

Стоим мы так железной пацанской шеренгой и кто-то из старших на вопрос «чью душу?» кричит – «Маньку!». Манька из семьи эвакуированных. У нее растрепанные рыжие косички, зеленые глаза и такие же рыжие ресницы. Она на голову выше всех ребят, даже выше моего друга Сереги. Бежит эта Манька, высоко задирая коленки и по-мальчишески двигая локтями, прямиком на меня, вернее, на мою правую руку в сцепке с Серегиной. И уже в метре от нас начинает валиться и падает на наши руки всей грудью. Рука моя превращается в отдельный орган, вместо ожидаемого удара что-то теплое и мягкое прижимается к ней, я уже не слышу, что говорит Серега, зачем Манька становится рядом и берет меня за руку, – я в плену. Играть больше не хочется. Я ухожу домой.

Через неделю иду я с узелком, в который бабушка завернула еду для своего больного брата, дяди Яши. У него болезнь, которая называется темно-коричневым словом «рак», а Ксеня, его жена, «ничего не умеет», поэтому бабушка подкармливает его и либо сама относит, либо меня посылает. Свернул я в проулок, а навстречу мне Маня. Ее босые ноги все в красных цыпках, на плечах мамина кофта, а косички заплетены по-новому, с зеленой

ленточкой. И вся она такая… сияющая. Подошла, стала почти впритык и заявила: «А у меня грудь стала твердой, хочешь потрогать?» – и не дожидаясь ответа, расстегнула кофту. Прямо перед моими глазами оказались две розовые штучки. Я осторожно одним пальцем коснулся соска и отдернул руку, словно меня долбануло током. Маня захохотала и, не оглядываясь, пошла дальше, а я на заплетающихся ногах потащился к дому дяди Яши. Сердце мое было разбито. Я понимал, что теперь нас связывает что-то, для чего нет названия в нашем языке. Конечно, все мы были после войны обучены всяким словам и на «е», и на «п», и на «х». Женщины во дворе обсуждали при нас свои женские дела, своих немощных после фронта мужей. Много нам дала в познании мира уборная во дворе. Через широкие щели в ее дощатых стенах нам открылось неведомое. И в доме-жаркими летними ночами, когда мы все спали на полу, сквозь сон я слышал возню и торопливый шепот моего дяди Вали и его новой жены.

Но все эти знания были стыдными и немножко грязными. С Маней я хотел другого: взять ее за руку и идти куда-нибудь очень далеко, за Слободку, за Фонтал. И чтоб никого вокруг, только я и Маня. И смотреть в ее глаза, и чтоб так навсегда…

Через неделю Маня со своей матерью уехала в свою Одессу. Вернулись домой. А я остался…

VIII

Март 1919 года выдался в Мариуполе таким же переменчивым и капризным, как нынешний. Казацкие сотни генерала Краснова покинули город. Готовились к отступлению и части Мая-Маевского. Сводная бригада батьки Махно захватила Волноваху и продвигалась вдоль железной дороги к городу. В гарнизонной столовой господ офицеров обслуживали их жены, любовницы и городской люд, пристроившийся к относительно сытному месту. Работала там и светловолосая тонкая девочка Тоня Литвиненко, младшая сестра моей бабушки Марии. Старый Литвиненко до всех «этих безобразий» держал в своей конюшне во дворе собственного дома по улице Торговой пару мослатых коней и занимался извозом. Лошадей давно реквизировали, сбрую он поменял на пшено

у греков из дальнего Мангуша. Поэтому главными добытчиками в доме стали женщины.

Между тем махновская бригада продвинулась к пригородам Мариуполя, их бронепоезд «Спартак» стоял у перрона станции Сартана, что километрах в пятнадцати от городской черты. Три французских военных корабля на рейде начали разводить пары, готовясь оставить своих союзников – части Добровольческой армии – без артиллерийской поддержки. А в офицерской столовой готовился заговор, скроенный по сценариям пошлых романов. Офицерские жены решили испечь нарядный торт, начинить его крысиной отравой и вручить самому Батьке, когда он будет выходить из своего штабного вагона. Потом смешаться с толпой и бежать из города. Бежать в уверенности, что их затея, как и у князя Юсупова, сработает отличным образом. Моя бедная Тоня подслушала жаркое обсуждение планов «убивства» и, движимая, вероятно, классовой солидарностью с популярным крестьянским вождем, решила предупредить его. Пятнадцать километров туда, пятнадцать назад для молодых ног не расстояние. К вечеру она добралась до дома и рассказала обо всем своим. Долгая ночь прошла в бесконечных упреках, слезах и криках: «Махновцев выбьют, вернутся белые и нас всех повесят!». Под утро, когда все уснули, Тоня пошла в сарай, достала бутыль с «флоркой» (раствор хлорной извести) и выпила сколько смогла. Смерть ее была нестерпимо мучительной.

А махновцев таки выбили, и в апреле город снова оказался в руках добровольцев.

Михаил Пойзнер

Мой Губарь…

Начну как бы с сухой справки.

Олег Иосифович Губарь родился 16 ноября 1953 г. в Одессе в учительской семье.

Мать Дуся Марковна (1922 г. р.) преподавала немецкий язык, отец Иосиф Львович (1922 г. р.) – математику и физкультуру. Иосиф Львович – фронтовик, орденоносец, инвалид войны.

С детства Олег учился музыке, играл на скрипке, позже – на гитаре. Пел в детском хоре. Этим уже с малых лет зарабатывал какие-то деньги.

Учился как все. Много читал.

После школы начал работать на Первом судоремонтном заводе, заочно учился в водном институте, факультет механизации портовых перегрузочных работ. Отслужил положенное в армии. Потом окончил одесский университет, геолого-географический факультет. Инженер-геолог, при этом профессионально разбирался в вопросах динамики прибрежной зоны моря…

А вообще-то, я не собирался пересказывать биографию Олега Губаря.

Я хочу рассказать о *личности*.

О *явлении* с названием «*Губарь*».

Его литературное и историческое наследие огромно, масштабно и востребовано. Он хорошо понимал тонкости многих опер и балетов. Писал нестандартные стихи… Да разве только это?!

Не хочется опускаться до перечисления его трудов, всего сделанного как журналистом, писателем, историком. Достаточно упомянуть несколько эпохальных работ-открытий: «Первые кладбища Одессы»,

«История градостроительства Одессы» и наконец-то «Топография пушкинской Одессы», увидевшая свет уже после его смерти.

Работы эти уникальны как по охвату событий, насыщенности новыми фактами, так и, прежде всего, по всепоглощающей любви к Одессе и всему, что с ней и ее гражданами связано.

Читайте Губаря!!!

Так и только так можно понять Одессу!

Понять данные Губарем исторически объективные оценки деятельности современников описываемых событий.

Поражает его исторический кругозор – умение мыслить системно, аналитическим категориями, образно и крупномасштабно. И главное – это пристальное рассмотрение, казалось бы, незначительных деталей и всяких мелочей. А как известно, исторических мелочей не бывает…

Работы Губаря – своеобразный ориентир-указатель по истории государства, истории Одессы и знаковых личностей в «одесском пространстве». Личностей, положивших свои жизни на благо нашего города, во имя торжества общечеловеческих ценностей.

К чему бы ни прикасался Олег, создавались выверенные эпические историко-хронологические произведения, а его глубоким, почти детективным исследованиям могли позавидовать самые маститые академики-историки и иже с ними.

…Его часто можно было встретить на наших улицах. Обычно он ходил по краю проезжей части, опустив голову. Опираясь на палочку, осматривался, как бы ощупывая глазами свою и нашу Одессу. Все ли на месте?! А то, что мог подметить Губарь, мало кому вообще могло прийти в голову.

В любой компании он был своим, будь то известные художники или ученые мужи, а то и обычные «малоученые» типы, стремящиеся хотя бы пожать ему руку на Староконном базаре или обнять в какой-нибудь стремной заброшенной забегаловке на Молдаванке. К каждому он мог подобрать нужное слово, быть на равных, приблизить к добру и справедливости.

Без чванства и бахвальства он мог достучаться до любого. И достукивался… А если надо, то и ставил на место…

Он смог обстоятельно, похлеще иного строителя или юриста, разобраться в документах Одесского строительного комитета. Поверьте, это совсем не просто! До Губаря практически никто так глубоко,

со знанием дела и всесторонне не вникал в особенности раннего периода развития Одессы, во взаимоотношения различных фигурантов, идеологию принятия тех или иных технических решений.

Все это результат каждодневного и каждонощного труда.

Когда проживаешь полжизни в библиотеках и архивах (у него были даже специальные «архивные» валенки и калоши)…

Когда ты месяцами в археологических экспедициях…

Когда ты с лопатой на раскопках…

Когда холодно, голодно и нет денег…

Когда копеечная пенсия по инвалидности…

Когда сердце болит за Одессу…

Когда Одесса – смысл жизни…

Когда, когда…

Так он поставил Одессу впереди жизни, впереди своего благополучия.

Во многом благодаря Губарю истории и факты, которые теперь у всех на слуху, стали нашим общим достоянием. Тот же Воронцов и Воронцова, Кобле, Лузанов, Лидерс, Колонтаев, Разумовский, Папудов, Новосельский, Гаевский, Санценбахер, Зонтаг, Туманский, Драгутин. Перечень бесконечен…

В принципе, все эти фамилии известны, но что конкретно сделано для Одессы? Много или мало? Вопреки чему-то или кому-то? Когда и с чем связано?! Все это раскрутил Губарь. Раскрутил и поделился с нами сполна.

То, что написано Губарем, однозначно не подлежит сомнениям и пересмотрам. Это истина в последней инстанции! А причина одна – высокая внутренняя требовательность к самому себе.

Он умел, как никто другой, посмеяться над самим собой.

Он нес людям ту истину, которая помогает осмысленно жить…

Об очень многом и многих он буквально насильно напомнил всем. О выдающемся украинском художнике Юре Коваленко (книга «Человек с улицы Тираспольской») – его усилиями установлена памятная мемориальная доска и издан иллюстрированный альбом со стихами.

А не имеющая аналогов монография по истории евреев Одессы?

А сколько преднамеренно и непреднамеренно забытого он воскресил на страницах альманаха «Дерибасовская – Ришельевская»?

А хотя бы спасенная им от уничтожения старая голубятня на Прохоровской, 14?!

Этот список благодеяний неисчерпаем.

…Мне тяжело и легко писать о Губаре.

Мы познакомились в уже далеком теперь феврале 78-го. Он был тогда еще студентом университета, а я – как бы уже кандидатом наук. Но и тогда никакой дистанции между нами не чувствовалось.

Мы даже не присматривались друг к другу.

Мы, как говорится, подружились с первого взгляда… И все это, наверное, потому, что нас интересовали не «одесские мансы», а дело. Прежде всего, дело – история города и его улиц, этапы становления, первоисточники, персоналии…

Все последующие годы мы прошли вместе рука об руку. И это не пустые слова. Я всегда чувствовал его поддержку – поддержку человеческую и профессиональную.

Мы спорили, мы выпивали, мы помогали другим, мы любили и ненавидели… Ближе и откровеннее друга у меня никогда не было и никогда не будет.

А сколько улиц исхожено вместе?! В самых разных концах города – от Пишоновской и Косарки до всяких Пересыпских, Фонтана, Воронцовки, Курсаков, Чубаевки, Застав. В любую погоду… Сколько встречено людей – разных и одинаковых, тусклых и ярких… но непременно одесских. А сколько разговоров прошло под это «хождение за три моря»! Сколько по дороге обсуждено скользких вопросов, сколько подмечено одесского живого, неповторимого…

Как помнится, его любимая книга детства – «Капитан Сорви-голова» Луи Буссенара. Вот так этот Губарь, этот «Сорви-голова», пронесся по моей жизни.

Ах, Губарь, Губарь!!!

Он жил ради нас, творил и создавал ради нас.

Он скорее любой скорой помощи появлялся в нужном месте и в нужное время… даже без вызова.

Как по мне, он сделал для Одессы больше, чем все историки XIX и XX веков вместе взятые.

Одесса и одесситы в вечном долгу перед ним. Все, что он создал, – это гражданский подвиг. Подвиг во имя объективной исторической правды. Правды, устраивает ли это кого-то сегодня, или нет… Какой бы беспощадной эта правда ни была, какие бы ни разрушала новые или устоявшиеся стереотипы.

…Ему навешивали немыслимые ярлыки – то он то, то он то, то он это… Губарь не реагировал, он работал. Они же непременно хотели на его фоне хоть как-то высунуться, хоть как-то стать заметными. Не получилось. И не получится… Как говорится: «Чем ночь темней, тем ярче звезды…».

Он принял этот удар на себя.

Он оказался крайним.

Сегодня даже на горизонте, даже близко не видно, кто может занять за ним очередь. Очередь по-настоящему, до самопожертвования любящих этот город…

Война и смутные времена пройдут. И историю Одессы будут изучать «по Губарю». Изучать, беречь и не давать в обиду.

Его судьба драматична. Его судьба завидна…

19 марта 2021 г. он ушел из жизни.

Ушел, чтобы остаться с нами навсегда…

Читайте Губаря!!!

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

90 **Григорий Барац**
Леон

102 **Вадим Чирков**
Страна недописанных сказок

116 **Ганна Костенко**
В епіцентрі глухої невідомості

135 **Анна Михалевская**
Особенности понимания

143 **Витя Бревис**
Актуальные рассказы

152 **Ігор Паночишен**
Почуття

156 **Алена Жукова**
Уроки музыки

166 **Леонид Лейдерман**
Письмо в соседнее столетье, или Коханая вийде

185 **Михаил Пойзнер**
Баротравма уха

188 **Александр Хинт**
Две миниатюры

195 **Виктор Шендерович**
Как я теперь живу

Григорий Барац

Леон

Его можно было узнать издалека. Высокий, сухопарый, со спадающей к плечам седой шевелюрой. Он назначил мне встречу недалеко от места, где жил, – на площади Царей Израиля. Три года назад она стала называться именем убитого на этой площади премьер-министра страны Ицхака Рабина. Но Леон, проживший в Тель-Авиве много лет, не мог или не хотел перестроиться.

– Некогда уже привычки менять, – заключал он, посмеиваясь над своим возрастом, – важнее сохранить не только в кошельке, но и в душе то, что имеешь.

Леон ждал меня, с нетерпением перетаптываясь у пустующей скамейки под разлапистым низкорослым деревом. Белые шорты, футболка и кроссовки Nike дополнял ладный рюкзачок. На голове кипа, вязанная из светлых шерстяных нитей.

– Четыре минуты с тебя, – поздоровался он, – только красивым женщинам можно простить опоздание. Пойдем, нам по-хорошему час шагать, а с разговорами да с передышкой – все полтора.

Вынырнув из-под кроны, Леон двинулся не оглядываясь. Я засеменил, едва поспевая за ним. Его шаг был почти вдвое длиннее моего. Да и одет я был вовсе не для прогулки. Накануне, договариваясь о переговорах в его офисе, Леон спросил, осилю ли я пешком дорогу в Яффо. Мне, сорокапятилетнему крепышу, странно было слышать такой вопрос от человека, которому под восемьдесят. Показалось в шутку, оказалось всерьез.

– Если по прямой, через Кинг-Джордж, – сократим себе дорогу, – обернувшись после стартового рывка, объяснил Леон. И тут же сам себе возразил: – Сделаем-ка лучше ход конем – через Фриш-

ман выйдем на Шломо-Лахат и зашагаем вдоль моря по набережной. Тем более есть о чем поговорить.

– По прямой, наверное, быстрее? – обратился я скорее не с вопросом, а с просьбой.

– Не уподобляйся недалекому большинству, – парировал Леон. – На этой прямой больше полусотни перекрестков со светофорами. Самая лучшая дорога – проверенная дорога, которую знаешь.

Утреннее светило ловко катилось по крышам невысоких домов улицы, ведущей к морю. Мы перешли на теневую сторону. Но как только вышли на набережную, почувствовали коварные язычки лучей восходящего израильского солнца. Я едва поспевал за Леоном. На его шаг мне приходилось делать два. Римский профиль его загорелого лица плыл на фоне безветренного моря.

– Тихая вода берега моет, – сказал он, обернувшись на тонкие полоски пены, накатывающие на песчаный берег. – Завтра будет ветер, завтра будет шторм.

Сказано это было так убедительно, с такой уверенностью, что только мое неистребимое любопытство позволило задать некорректный вопрос:

– Как ты это определил? На небе ни тучки. Море почти как лужа.

– С мое проживешь – внутренний барометр наживешь, – срифмовал, улыбаясь, Леон и, сбавив шаг, добавил: – Ты лучше расскажи о себе.

Видимо, от удивления мое лицо перекосило так, что Леон расхохотался. Смеялся он тихо и беззлобно. Так умеют смеяться только добрые интеллигентные люди – снисходительно и доброжелательно. Так, чтобы не обидеть, а напротив – снять неловкость. Этому не научишь. Такое отношение формируется поколениями: смехом матери, отца, дедов, прадедов, прапрадедов и так до седьмого колена.

– Во-первых, я эгоист, – лукаво поглядывая, продолжил Леон, – с каждым новым знакомством рождаюсь заново. А когда моими устами младенца заглаголит истина, узнаешь, что во-вторых.

Морщинки веером рассыпались по его вискам. Из щелок глаз проглядывало голубоглазое детское озорство. Глядя на него, невозможно было не рассмеяться. Я «поплыл и раскололся», смеясь над собственной неловкостью.

– Это неправда, что смеется тот, кто смеется последним, – сохраняя легкую улыбку, заключил Леон. – Если отношения начинаются со смеха, они обречены на успех. Начинай, рассказывай.

– Леон, зачем тебе это нужно? – продолжал недоумевать я. – Мы ведь собираемся заключить деловой договор, а не породниться. По бухгалтерии ты меня пробил. В деле проверил. Почти партнерствуем. Сам убедился – все по чесноку. Так какое значение имеет, где я родился, учился, женился?

– О! Это уже слова не мальчика, но мужа, – не без иронии похвалил Леон. – Давай передохнем пару минут, а заодно и объяснимся, кто кому и кем приходится.

Гранитная скамья с высокой спинкой еще хранила ночную прохладу. Леон говорил, внимательно глядя на меня, и следил за моей реакцией.

– Доверие – великий двигатель развития и прогресса. Стоит по значимости в одном ряду с любовью, сексом и ленью. Без доверия даже детей не зачинают. Разве что случайно, – он хохотнул, – о чем потом сожалеют. Стопроцентное доверие может быть только к самому себе. И то оно, бывает, подводит. У каждого уважающего себя человека должна оставаться толика девственного пространства, в котором никого, кроме него самого, даже самых близких нет. Тебе понятно? – пристально поглядев мне в глаза, поинтересовался Леон.

– Пока меньше половины, – признался я.

– Правильный ответ, – зааплодировал Леон. – Засчитывается. Потому что меньше половины и сказано. А теперь ответь – кому ты больше доверяешь: маме или самому близкому другу.

– Не знаю. Наверное, с семьей я откровеннее, но смотря в чем.

– Не уклоняйся, будь честнее с самим собой. С кем советуешься, прежде чем принять решения, которые могут изменить жизнь? То-то, – вместо меня ответил Леон, глядя, как я развожу руками. И тут же добавил: – Это еще и потому, что доверие сына к маме и мамы к сыну – это данность, подарок ей и ему ко дню рождения. Маме и тебе остается лишь использовать заранее обусловленные возможности, чтобы не утратить доверие. Правда, должен оговориться, есть уроды, способные уничтожить его. Но это исключение из правила, которое подтверждает справедливость самого правила. Согласен?

– В принципе, да, – не сдавался я. – Но есть друзья, которых я знаю столько, сколько помню себя. Росли в одном дворе, в детском саду – в одной группе, в школе – в одном классе. Разве доверие другу не данность, дарованная провидением?!

– Не путай божий дар с яичницей. Материнский дар – это изначально свыше данная способность творить чудо: родить и выкормить человека. Умение приготовить яичницу не включено в геном человека. Даже этакой малости необходимо учиться. Доверие друг к другу, духовное сближение – это долгий и трудный процесс обучения души. Причем обоюдный. Результатом становится одна из самых высоких степеней доверия, когда совпадают или очень близки оценки событий, ситуаций и людей, когда нужда в дружеской помощи не требует объяснения причин.

– Так что – человек человеку друг, товарищ и брат или человек человеку волк? – съехидничал я.

– Вижу, ты устал отдыхать, если провоцируешь меня, – сказал, вставая и сбрасывая рюкзак, Леон. – Давай-ка разомнемся.

Его долговязая сухопарая фигура, казалось, переломится, когда он, сгибаясь, пытался достать кончиками пальцев носки кроссовок.

Тени высоток, охраняющих город от злых средиземноморских ветров, протянулись через песчаный пляж к морю. По мокрому песку у самой кромки воды сновали, как заведенные, фигурки людей.

– Не могу уже так, – кивнув в сторону физкультурников, пожаловался Леон. – Просыпаю. Прежде засыпал на час позже, а вставал на час раньше. Мои сутки прежде состояли из двадцати шести часов. Шесть для сна, двадцать для дела. Так на чем мы остановились? Ах да – на скамейке. Каламбур. Вот и рюкзачок мой. Пойдем не торопясь, но поторапливаясь. Время есть, чтобы наговориться всласть.

Какое-то время мы шагали молча по узором выложенному помосту. С одной его стороны уходили ввысь пятизвездочные отели известных мировых брендов, с другой по песчаному пляжу вереницей тянулись друг за другом прибрежные ресторанчики, кафешки и пабы.

– Сколько стоит твое время? – неожиданным вопросом Леон прервал паузу в разговоре.

– Это ты к чему? Да и как это посчитаешь?

– Я все о том же – о степени доверия под названием дружба. Чтобы сохранить ее на достойном уровне, требуется не только энергия души, но и время. Не зря говорят: чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли. Ученые мужи утверждают, что в среднем человек съедает десять грамм соли в день, вдвоем значит двадцать. Не нужно быть математиком, чтобы посчитать, что на это уйдет больше двух лет. А в результате может оказаться, что не с тем соль ел. Как сказал классик: «Время, которое у нас есть, – это деньги, которых у нас нет». Время нужно считать в деньгах. В деньгах, которые находишь, или в деньгах, которые теряешь.

Определить, говорит Леон всерьез, подначивает или, провоцируя возражения, заводит, я не мог. Тем более что тональность его речи варьировалась в достаточно большом диапазоне. От драматического тенора он плавно переходил к баритону и заканчивал предложение басом. Если фраза была вопросительной, он возвращался к высоким нотам лирического тенора.

– Скажи мне, кто твоя родня, друзья, приятели, партнеры, и я скажу, кто ты, – фальцетом произнес Леон.– Чем дорожишь, что ценишь?

Отмалчиваться стало неудобно. Но и рассказывать о семье человеку, с которым не так давно знаком, тоже было неловко.

– У кого что болит – тот о том и говорит, – сказал я, продолжая смешливую тональность Леона. – Я о друге, которого любил, которому доверял, как самому себе, но потерял вскоре, как стали партнерами.

– Банальная ситуация, – посочувствовал Леон. – Бывает иначе, но реже.

– Мы открыли кооператив, – продолжил я жалобную историю, – как только в нашем царстве-государстве появилась такая возможность. Производство – за мной, за другом – реализация. Стали неплохо зарабатывать. Ни конфликтов, ни ссор, даже размолвок не было. На самом взлете кооператива друг-партнер потребовал раздела и причитающейся ему доли. Объяснил странной для меня причиной. Мол, два лидера не могут быть в одной упряжке.

– Ты, конечно, растаял от эдакой похвальбы. Он ведь тебя лидером назвал. Упрашивать не стал. Отдал ему кучу денег за еще

не проданный товар. Долго возвращал долги поставщикам и в убыток распродавал остатки.

– Так оно и было.

– Остановись!

Леон крепко взял меня за плечи и повернул к себе. Южный средиземноморский ветер облизывал его вытянутое скуластое лицо, обрамленное белой пеной волос. Сократовский лоб, словно нотный стан, внезапно покрылся тонкими параллельными линиями морщин. Глаза, обращенные к морю, вспыхнули голубым неоновым огнем. Голос Нота – бога южного ветра, носителя гроз позднего лета – зазвучал надо мной.

– Так будет впредь, если ты не научишься защищать свои интересы и отличать друга от партнера.

– Это и так понятно, – оправдывался я. – Но от лома нет приема. Предательство – всегда неожиданный удар в спину. Причем от тех, кому больше всех доверяешь.

– Ты не пробовал взять ответственность на себя? – повысил голос Леон. – Может быть, это ты не знал сущности человека и передоверился ему. Возможно, это тебе не хватило терпения, деликатности и настойчивости докопаться до его души, понять, чем он дышит. Не пожимай плечами. Так оно и было, – выпалил он на одном дыхании. И, призывно махнув рукой, предложил тоном, не предполагающим возражений: – Дальше пойдем по воде босиком. Пока солнце светит, но не греет.

Не дожидаясь согласия, он спустился по лесенке к пляжу, жестами увлекая меня за собой. Его манера быть ведущим несколько раздражала меня, но не давала возможности противиться. Вслед за ним я потопал к белым куполообразным тентам у кромки воды. Так же, как он, разулся, подкатал до колена штанины и зашагал рядом по мокрому песку.

– Своя рубашка ближе к телу. Так, что ли? – спросил я, продолжая разговор. – Лучшая защита – нападение?

Леон остановился. Его медальный, бронзовый от загара профиль застыл на фоне морской голубизны, как на картинах Леонардо да Винчи.

– Сентенция сия стара, как мир! Потому и относится к морали старого мира, – изрек Леон, не поворачивая ко мне лица.

И, не ожидая моего недоумения, продолжил: – Понимание и соблюдение интересов друзей, партнеров, коллег и даже контрагентов – залог сохранности собственных интересов.

– Леон, ты уверен, что все будут блюсти мои интересы, как я их?

– Это не правило. Бывает, что годами выстроенная крепость рушится. Причем на любом этаже, на любом этапе. Достаточно не соблюсти равновесие, не соблюсти баланс. Баланс интересов и доверия. Такой обвал взаимоотношений – катастрофа, причем для обеих сторон. Одна теряет веру в людей, то есть бога в душе, во вторую вселяется дьявол, съедающий душу.

– Так значит, это игра, то есть жизнь без правил? Старайся, не старайся – как повезет. Так не бывает, чтобы не споткнуться на длинном, шатком и очень чувствительном, как подвесная лестница, встречном пути взаимодоверия.

– Начинаешь понимать, а всего-то полдороги прошли, – голос Леона вновь потеплел, подтаяли глубокие морщины в уголках рта. Он вновь повернул ко мне могучую голову стареющего, но все еще могучего льва и, улыбаясь, заключил: – Правила, даже если их называют заповедями, придумывают, исполняют и нарушают люди. А законы даны свыше. Называй эту данность как хочешь – богом или природой, но даже попытка их нарушения приводит к необратимым последствиям. И, прежде всего, в душах.

Пена прибоя мерно и ритмично накатывала на берег, так же, как миллионы лет назад. Стелющаяся под ноги волна ласкала наши ступни и стирала следы. Рядом со мной шагал библейский мудрец. Казалось, его слова долетали из того времени, когда звуки материализовались в скрижали, когда буквы могли воспарить и растаять от малейшего к ним пренебрежения. Следить за мыслью Леона было так же интересно, как и за его неожиданными движениями. Он внезапно останавливался, замирал и вдыхал раздувающимися ноздрями йодистый запах моря. Непредсказуемо улыбался, открывая у глаз веер веселых морщин, и произносил фразы, достойные быть отлитыми из благородного металла.

– Бог не движет ни руками, ни ногами, ни даже головой человека.

– Но к нему же обращаются за помощью, защитой и содействием, – попытался я зацепить Леона.

– Потому и обращаются, что пытаются переложить ответственность. Заповеди – это лишь проект закона о свободе выбора, о свободе принятия решений. Подписывать – пустое дело. Блюсти или отступиться от него – каждый решает сам. Причем осознавая, что делает. Ведь это очень просто. Так же, как отличить белое от черного. Вера – это мировоззрение, а мировоззрение – это «что такое хорошо и что такое плохо».

– Но для разных людей «хорошо» и «плохо» разнится, – попытался я найти брешь в рассуждениях Леона. – То, что одному хорошо, другому плохо.

– Верно, верно. Ты сам не замечаешь, что не возражаешь, а подтверждаешь мое определение. Это люди разные, а «хорошо» и «плохо» всегда и везде отличаются, как день и ночь, как сладкое и соленое, как горячее и холодное. Правда, бывают исключения – жарко, когда холодно.

– Ну это ты хватил, – запротестовал я. – Так не бывает.

По пристальному потускневшему взгляду Леона я почувствовал, что ляпнул несуразицу или попал в больное место. Он резко отвернулся и нырнул в тень, постепенно отползающую от кромки воды. Пылающая краюха только что испеченной солнечной буханки кокетливо выглянула из-за высоток.

– Бывает, – отрывисто, не глядя на меня, произнес Леон, усаживаясь на скамейку под пляжным грибком. – Обувайся, – так же сухо предложил он, передавая мне свой рюкзачок, в котором оказалась бутылка воды и полотенце.

Пока я возился, надевая и зашнуровывая кроссовки, он молчал, глядя в никуда.

– Ты знаешь что такое трескучий мороз? – спросил он, вставая. – Лучше тебе не знать. – Это когда бревна трещат, смерзаясь, и стволы деревьев лопаются с выстрелом.

– Леон, вокруг одни пальмы и солнце. Какой мороз? Тебе приснилось?

– Такой мороз, что снится мне до сих пор, и до сих пор холодно во сне. Тайгинский отдельный лагерный пункт № 2 Управления НКВД по Новосибирской области, – отчеканил Леон. – С сорокового по сорок четвертый год пришлось топориком помахать. Не помашешь – замерзнешь на тридцатиградусном морозе.

– Тебя как туда занесло?

– Не занесло, а завезли. В товарняке. Несколько месяцев из Вильно в Новосибирск. Когда в Вильно вошли советские войска, мне исполнилось двадцать два года. Арестовали в тот же день в редакции «Вильнер радио», где работал корреспондентом. Говорил и читал на идише, немецком, английском, польском, литовском, русском. Декламировал свои стихи в литературном салоне «Юнг Вильне». Трое суток побоев, без еды, воды и сна. Признал себя агентом советской разведки.

Говорил Леон быстро, отрывисто. Между предложениями делал короткие паузы, не то переживая, не то вспоминая прошедшее. Когда молчал, желваки перекатывались под его сухой, как пергамент, кожей.

– Лето сорок четвертого. Зэкам объявили о призыве в польскую армию, – продолжил он телеграфными фразами. – Поднял руку первым. Надеялся – сбежать будет легче. Не тут-то было. Рядовой в штрафной роте. Варшава, Прага, штурм Кольберга. Сколько людей рядом полегло! Надо мной бог руку держал. До апреля сорок пятого ни разу не задело. Только мелкими осколками спину посекло. Под Берлином пуля пробила ногу навылет. Попал в плен. Выручило знание языков. Прикинулся поляком. Немцам было не до разбирательств. В Заксенхаузене пробыл несколько дней. В первых числах мая русские освободили колонну заключенных, которую вели из лагеря на расстрел. В этой колонне был и я.

Леон замолчал. Закрыл глаза. Веки его подрагивали. Он натужно дышал и облизывал пересохшие губы.

– Оглушенный скорострельной речью, я с трудом успевал осмыслить ее содержание. Каждое предложение выражало событие длиною в дни, месяцы, а то и годы. Каждое слово кровоточило, как незаживающая рана. Ходуном ходил его острый кадык.

– Зачем ты мне все это рассказываешь? – заглядывая в глаза Леону, спросил я. – Ты ведь заново переживаешь все, о чем говоришь.

– Чтобы не забывать, что такое хорошо и что такое плохо, – с грустной усмешкой ответил Леон. Он отдышался, глотнул воды, встал и пошел, ничуть не сомневаясь, что я не отстану. – Не знаю, интересно ли тебе, но я должен все рассказать, – продолжил Леон,

как только я с ним поравнялся. – Несколько недель в пересыльном советском лагере. Полтора месяца дороги в том же товарняке в те же сибирские края. Как и всех советских военнопленных, меня интернировали. До пятьдесят третьего года отопительным прибором снова был топор.

На лесоповале в лагерном пункте Томско-Тимирязевского спецлеспромхоза я сдружился с японцем Акирой Матуситой и американцем Айзеком Хендерсоном. Они до сих пор мои друзья. Их мерками жизнь измеряю, людей оцениваю. Друзья-компаньоны, прошедшие испытание на доверие деньгами и временем. И пониманием, что такое хорошо и что такое плохо.

В начале шестидесятых в Японии появились радиотранзисторы. В Германии, куда я эмигрировал, они стоили дорого. Акира покупал запчасти транзисторов и отправлял их в Штаты. Айзек организовал сборку и отправлял ко мне, в Германию. Я продавал. Прибыль делилась поровну. Говорят, «friend in need is friend indeed». Думаю эта поговорка не вполне верна. Мои друзья давно ждут меня там. Но семьи их по-прежнему получают дивиденды. Это основное условие совместных деловых и дружеских отношений. Намек понял?! Так значит, это и есть во-вторых!

Леон беззвучно смеялся, вопросительно глядя мне в глаза.

Мы пересекли пляж и вновь выбрались на пешеходную дорожку, вымощенную узорами из разноцветной плитки. Редкие высоченные пальмы не спасали от солнца, скатившегося с крыш. Леон зашагал быстрее. Его шаги напоминали циркуль землемера. Мои – бег трусцой. Идти пришлось довольно долго. Майка на спине Леона взмокла. Я пыхтел за его спиной. У старого железнодорожного вокзала, которому нашлось как нельзя лучшее применение в виде размещения ресторанов и баров, мы передохнули и выпили по бутылочке минералки.

– Это хорошо, – похлопал меня по плечу Леон.

– Что хорошо? – удивился я.

– Хорошо, что ты не ждал, когда я вытащу кошелек, – хитро улыбнулся Леон. – Значит, не любишь быть должным. Проверочка засчитывается. Ну, двинули дальше. Не люблю опаздывать.

На циферблате часовой башни стрелки приближались к восьми часам. К фонтану Кита мы дошли за несколько минут.

– Пророк Иона просидел в его чреве всего три дня, – указывая на пузатое чудовище, иронично пояснил Леон. – Христос пробыл в могиле трое суток. А я в офисе лет сорок. А вот и он.

Дверь нам открыла брюнетка лет сорока, слегка полноватая, в строгом «professional style» костюме из светло-серой льняной ткани. Укороченный приталенный жакет слегка скрывал полноту и подчеркивал изящную талию. Пышная юбка длиной до колена не скрывала пухлые ножки с тонкой щиколоткой. В руках брюнетка держала вешалку со светлым мужским костюмом в прозрачном чехле.

– Знакомьтесь, – представил Леон, – мой компаньон и близкий друг Стефания. А этого, – он обернулся ко мне, – относительно молодого человека, кандидата в партнеры и друзья, фамильярно величают Эдгар, Эдик то есть.

Гладкие щеки Стефании слегка зарделись, она кокетливо заулыбалась. Не скрывая влюбленного взгляда, обращенного к Леону, передала ему костюм. Обернувшись ко мне, спросила:

– Вы тоже примете душ?

Я отказался:

– Неловко.

Было прохладно, работали кондиционеры.

За шумопоглощающими перегородками у компьютеров работали двое сотрудников.

– Их сейчас нельзя отвлекать, – прозвучал негромкий голос внезапно появившегося Леона. Он переоделся. Белая рубашка, бабочка, темно-синий габардиновый блейзер, стильные темно-серые штаны «палаццо» с выглаженными стрелками.

Уловив мой восхищенно-недоуменный взгляд, Леон усмехнулся обезоруживающей улыбкой:

– Не для тебя. Для себя надел. Так я себя больше уважаю, – засмеялся он. – Пойдем в кабинет.

Кабинетом оказалась квадратная аскетично обставленная комнатушка. Письменный стол, кресло для хозяина, стул для гостя, сейф и маленький холодильник.

– Ты прав, – начал Леон, усадив меня напротив, – я пробил тебя. С тобой можно иметь дело. Сомневаюсь не в тебе, а в непредсказуемой твоей стране Эсэсэсэрии.

– Что тебя смущает? – удивился я. – Вроде перестройка, гласность, кооперативы, частные предприятия. Почему в таком случае не работаешь с европейцами?

– Действительно, с ними надежней, – согласился Леон. – Но на западный рынок трудно пробиться. Все ниши заняты. Трудно расталкивать и конкурировать с агрессивной компетенцией.

– В стране, где рыночная экономика только открывает возможности, работать удобней и прибыльней, но опасней. Пугает непредсказуемость политики и бедность. Оттуда всегда исходит угроза войны.

Он встал и, улыбаясь, сказал:

– Мы рискнем с тобой. Должно получиться.

Он оказался прав во всем. Не ошибся в людях, умеющих делиться с нуждающимися. Не ошибся в своих опасениях насчет войн, начатых бедной и непредсказуемой страной.

А у нас получилось! Получилась дружба и партнерство, основанные на доверии.

«Friend in need is friend indeed». Друзья, которые нужны друг другу, – друзья до смерти.

Вадим Чирков

Страна недописанных сказок

Переехав из Одессы в Кишинев, я начал писать повесть-сказку, видя перед собой то покинутый город, то кого-то из ее обитателей.

*

Однажды я переступил трещину на асфальте, похожую на топографическую реку, переступил – и оказался в Стране недописанных сказок. В стране было всего два города, стоящих на берегу Синего моря, – Мускат и Купат. В одном жили виноделы, во втором – колбасники. Там-то и начались мои знакомства с необыкновенными людьми их необыкновенными приключениями.

Когда Мускат зажжет вечерние огни, чудится, что на землю опустилась звездная вселенная. И еще кажется, что все далекое вдруг стало совсем близким.

В порту покачиваются светлячки высоких корабельных мачт. Маяк силится поджечь густую, как нефть, темноту, а она все не горит. А маяк все не теряет надежды одолеть ее – и так до самого утра. Над крышами летит музыка… и идет-бредет походкой усталого человека вечер дня, который опять закончился благополучно.

– А завтра… что-то будет и завтра, – хочется сказать. – Все будет завтра!

Все, кроме того, что будет рассказано еще сегодня.

Видали ли вы город без своего Замечательного Рассказчика? Этакого бродяги, чудака, ловкача, что ни шаг попадающего

во всевозможнейшие переплеты и переделки (вам они и не приснятся) и с блеском выпутую… выпутувую… – тьфу! – это слово труднее выгововри… выговорить, чем нашему ловкачу выпутаться из переплета! В общем, нет на свете города без такого человека, а Мускат, спешу вас заверить, никак бы без него не обошелся.

На дверях дома Замечательного Рассказчика табличка с надписью «Буб Енчик». Но в Мускате его зовут Наш Енчик, и он даже рад этому.

Как выглядит Буб Енчик? Если вы успели нарисовать его себе розовощеким кругленьким веселым человеком, то я вас должен огорчить. Енчик высок и сутул, у него густые брови, из-под которых на собеседника глядят внимательные глаза, худая шея, большие руки и грустная улыбка. И он всегда счастлив видеть у себя гостей, которые приходят послушать его рассказы об удивительных приключениях.

Вот одна из его многочисленных историй.

Спасительное слово

– Однажды во время морского путешествия, – начинает Енчик, и все мгновенно замирают, потому что нет ничего интереснее, чем Енчиковы морские рассказы, – мы с капитаном стояли на мостике и беседовали о светилах, по которым моряки определяют место корабля в море. Капитан говорил и говорил, а я ждал момента, когда смогу вставить хоть слово. А капитан увлекся. Он расхаживал по мостику, дымил трубкой, жестикулировал и, кажется, перестал даже меня замечать. Путеводных звезд ровно девяносто девять, ясно, что рассказывать о них можно долго. И вдруг небо качнулось в моих глазах: я слишком перегнулся, опираясь на планширь, – и полетел за борт.

– Созвездие Стрельца имеет форму натянутого лука, – услыхал я на лету.

Всплеск – я начал быстро погружаться в морскую пучину. Башмаки тянули меня на дно.

– Прощай, созвездие Стрельца, – сказал я горько, – прощай, Енчик, прощай, Мускат…

Но тут я заметил, что мои слова, заключенные в мелкие пузырьки воздуха, стремительно уносятся вверх. Я прикрыл рот. «В этом твое спасение, – мелькнула мысль, – скорее решай, Енчик!»

– Яисамсебяспасу-у-у-у-у-у-у-у! – произнес я громко, насколько это было возможно в воде, спасительное слово. Пузырь вышел на славу!

Я ухватился за него обеими руками и через минуту был вынесен на поверхность, где уже курсировала шлюпка.

Капитан встретил меня на мостике.

– Вот и вы, – сказал он, – я рад вас видеть живым, Енчик. Вода холодная? Так вот: созвездие Стрельца интересно еще и тем…

– Я весь внимание, – сказал я, снимая пиджак, чтобы выжать из него воду…

Удивительная страна

Когда вся компания отсмеялась и часы пробили одиннадцать, Буб Енчик спохватился:

– Снова я увлекся! Опять меня разбранят завтра за ваше позднее возвращение домой! – этой фразой Знаменитый Рассказчик предупреждал слушателей о конце интересного вечера. И хотя все знают, что будет еще одна история – она приберегается под конец, – Енчика все же упрашивают.

– Ладно, ладно, – соглашается он, – расскажу вам о том, как я однажды побоялся, что буду выглядеть смешным без шляпы…

…В одном из путешествий я встретился с удивительным народом – все были одинакового роста. Дети, вырастая, сравнивались с родителями, все макушки были на одном уровне – ни на миллиметр выше, ни на сантиметр ниже. А правитель, чтобы хоть чем-нибудь отличаться от остальных, носил высокие каблуки – и был выше всех на пять сантиметров.

Моя же голова возвышалась над толпой. И как-то раз правитель вызвал меня к себе и предложил укоротиться.

– Наверное, мы сделаем так, – рассуждал он вслух, глядя на меня. – Снимем с тебя голову…

– Чудесная идея, – поддержал я правителя, – но на чем же я буду носить шляпу?

Правитель задумался.

– Тогда, – решил он, – надо укоротить тебе ноги.

– Тоже неплохо, – приветствовал я его остроумие, – но куда я дену все мои красивые носки?

Правитель почесал затылок и посмотрел на потолок.

– Признаюсь тебе, Буб Енчик, мне никогда так долго не приходилось думать, – вымолвил он наконец, – но ничего другого, кроме отсечения, не приходит в голову.

– Позвольте мне тогда уехать, – предложил я выход из положения. – Согласитесь, что без шляпы и носков я буду выглядеть просто смешным!

– Да, да, конечно, – обрадовался правитель, – это будет смешно. А мне, знаешь ли, не до смеха, ведь я очень-очень занятой человек! Уезжай, Енчик, так будет лучше!

И я покинул этот удивительный народ и был рад, встретив на корабле людей, которые были и выше, и ниже меня. Прощаясь, я помахал провожающим шляпой, а потом крепко нахлобучил ее на голову. Я не хотел с нею, с головой, расставаться.

Крах карьеры Енчика

Поздно вечером я пошел в порт.

Острый запах моря, маяк, силуэты судов у причалов, подвижные огни над водой и отражение их в черной масляно плещущей воде, звоны, скрипы, музыка, доносившиеся с кораблей (они кажутся особыми, из другой жизни, не похожей на твою), близость огромного темного и немного страшного моря – и я понял, какая это роскошь – позволить себе пойти ночью в порт.

Одному.

Это было самое нескучное одиночество, более того – оказалось, долгожданное, даже скажу – чем-то плодотворное.

Мелочь, крошево мыслей, суета дня топтались где-то там, позади, перед входом в порт. Я долго стоял у причала, слушая звуки порта, вдыхая его запахи.

Ни о чем особенном я не думал, но мне было хорошо видеть перед собой порт – ворота в Море, в Новое, в Завтра.

И когда захотелось посидеть, и я поискал глазами кнехт, и увидел кнехт недалеко от себя, а на нем сидящего человека, я, видимо, насытившись уже одиночеством, решительно направился к нему.

Я шаркнул подошвой, чтобы сидящий узнал о моем присутствии, – он обернулся.

– С приездом, – услышал я. – Садитесь рядом. Будете курить?

Это был Енчик!

– Спасибо, Енчик, – сказал я. – Давайте ваши сигареты.

Лучшего собеседника не могло и быть!

Некоторое время мы курили, курили молча, заменяя одинаково неторопливыми движениями руки с сигаретой и общим наблюдением за огнями на воде те обязательные слова, которые должно произносить при встрече. Потом настал черед говорить, и Енчик начал (он сперва усмехнулся и лишь затем начал):

– Вы тоже, наверно, привыкли к тому, что я рассказываю все только веселые истории?

– Я как раз ожидал, что вы расскажете, наконец, грустную, – ответил я. – По-моему, к этому шло.

Енчик склонил голову набок, словно проверяя услышанное.

– Тогда нам обоим повезло: на сегодня у меня только грустное.

– А вам хочется рассказывать? Может, просто поговорим? Или помолчим?

– Нет. Я привык рассказывать. Мой разговор – это рассказ. Все остальное для меня неинтересно. Но если вы…

– Что вы, Енчик, – я слушаю!

– Это случилось… – начал Буб Енчик обычным для себя голосом, – это случилось… не так далеко отсюда. Я искал дом моего нового приятеля и долго плутал узенькими переулками, пока не попал на прямую незнакомую улочку с высокими каменными заборами. Я пошел по ней, не видя никого, чтобы спросить, я шел наудачу.

Улица окончилась тупиком. Я остановился перед высокой стеной с плотно пригнанной железной дверью. Я почему-то не по-

вернул назад, а стоял и смотрел на дверь. Я раздумывал, что же мне делать дальше.

И вдруг дверь заскрипела! Она стронулась с места и… стала падать на меня. Не отворяться, а падать, но медленно, как… Дверь, Алексей, падала, или, вернее, опускалась, как средневековой опускной мост навстречу рыцарю, стоящему перед ним.

Енчик покосился на меня – не улыбаюсь ли я ненароком. Я не улыбался.

– Я увидел: на меня выезжает укрепленный на двери, нацеливается, растягивая гармошку, огромный фотоаппарат! Я не двигался с места, глаз фотоаппарата, играя радугами, гипнотизировал меня. Мне стало страшно, но я словно врос в землю, застыл.

Аппарат остановился, подержал меня под прицелом… Клац!

Меня кто-то подхватил, перевернул вверх тормашками, швырнул в глаз фотоаппарата, который каким-то образом расступился передо мной, и в то же мгновенье я оказался лежащим на земле.

Я поднял голову: я находился по ту сторону стены. Аппарат складывался сам по себе, дверь, очевидно, закрывалась.

Я почувствовал, что со мной не все в порядке. Я осмотрелся, пощупал себя… Алексей, вы не поверите – я стал плоским!

Я лежал на земле, плоский, как лист фотографического картона, как игральная карта, как все плоское на свете.

Я попытался встать, но ветер швырнул меня вниз.

Теперь я должен буду приспосабливаться к любому ветерку – сделал я первый вывод.

И стал размышлять дальше. Я лежал на спине (я был снят анфас), смотрел в небо (надо мной проносились обыкновенные белые облака) и думал.

Ходить мне придется все время боком. Бочком. (Я буду похож на крадущегося вдоль стены человека – ну-ну…)

И вот еще что: какое у меня сейчас выражение лица? Что на нем написано? А вдруг оно было в тот момент, когда я пролетал сквозь фотоаппарат, испуганным, как у воришки, застигнутого врасплох? Или просто глупым? Ведь я не знал, что со мной произойдет, я не подготовился… Что, если аппарат

перебросил меня сюда случайно, а здесь у всех надутые чванные рожи – фотоаппарат не был для них неожиданностью, – и я со своей испуганной физиономией буду среди них… ну вы понимаете.

Да и быть плоским, ходить боком, носить на лице раз и навсегда написанное выражение – этого для меня предостаточно, чтобы сказать: я пропал. А когда я подумал, что плоскими скоро станут и мои ощущения, мои мысли, мои шутки, мое сознание, я похолодел. Я заледенел – вот словно поточнее…

Вдруг я почувствовал, что меня берут; фотографию Буба Енчика кто-то взял двумя пальцами – я совершил перелет. Меня стали вдвигать в ряд других фотографий в длинном ящике, и я услышал голос:

– Дьявольщина! Этот где-то успел покоробиться!

– Который?

– Да новенький же! Глянь-ка – ну и вытаращился он!

– Нда-а… Слушай, а не выкинуть ли нам его? За такого не похвалят.

– И в ряд не влезает…

– Выкинь. Олух, сразу видать.

– Так и сделаю.

Я снова совершил перелет и шмякнулся – я шмякнулся, Алексей, потому что у меня вновь появилось тело, – оземь. Я вскочил и побежал по улице с высокими заборами, не оглядываясь. Я мчался, как спринтер, я летел, будто за мной гнались с собаками.

Я опомнился, только когда выбежал на широкую людную улицу. Я отряхнулся, оглянулся, я вздохнул – глубоко, глубоко – и пошагал. Я шел и гримасничал: я улыбался, изображал на лице печаль, гнев, усмешку, презрение, боль – все что угодно, но больше – радость.

Енчик вдруг рассмеялся. Он захохотал и повернулся ко мне весь, положил большие свои руки мне на колени.

– А знаете, что спасло меня от того длинного ящика, от той чертовой картотеки, в которую меня вдвигали и не вдвинули? Ни за что не догадаетесь!

– Что, Енчик?

– Моя сутулая спина! Из-за нее я не втиснулся в ряд! Поняли теперь?

Енчик все шлепал и шлепал ладонями по моим коленям, мы оба хохотали.

Раскачивались, посмеиваясь вместе с нами, огоньки на мачтах, плясали, покатываясь со смеху, огни на воде – все смеялось вокруг, и смеялась, плеща в мол, волна.

И я еще раз подумал: какая это все-таки роскошь – позволить себе пойти ночью в порт!

– Енчик, – вспомнил я все же, – но ведь вы обещали рассказать грустную историю!

– Она и есть грустная, – ответил Енчик. – Даже очень. Разве вы не заметили? Ведь тот ящик, в который я не втиснулся, был, возможно, началом моей карьеры! Той, где я перестал бы быть самим собой! – и Енчик снова великолепно на весь ночной порт расхохотался.

Сложил я планету…

В один из давних-давних моих вечеров я подумал (мне показалось, открыл), что шагами дано измерить то, что не меряется ни метрами, ни часами. Открытие было сформулировано так:

Любовь шагами
Мерю до утра,
Бродя один
Кварталами ночными…

Я долго не мог в те вечера лечь спать, оборвав ради сна счастливое непрекращающееся чувство любви.

То стихотворение не было дописано, та любовь – и слава богу! – не была измерена. Она вырастала с каждым шагом, с каждым ночным кварталом, пока не стала большой, как город.

И теперь я люблю этот город, его улицы, переулки, запах цветущей акации – запах счастливого свидания, золотые

полоски трамвайных путей, убегающих за угол высокого темного дома, фонари, в чьем свете я вижу качание листвы на тротуаре, отчего у меня кружится голова – все, все я люблю в том городе!

Еще я полюбил в нем предутренний час, ту короткую пору до восхода солнца, которая состоит из очень немногих, но важных вещей:

Из улицы спящей и стука моих каблуков,
Из первого шума листвы – взъерошило ветром каштан,
Из птичьего вскрика спросонок (и снова стучат каблуки),
Гудка парохода из порта, похожего на мычанье коровы проснувшейся,
Дымки, в которую город пока еще погружен,
Из первого блеска стекла –
Из вечных, короче, вещей.
Поняв, что люблю,
Вдохновенно
Сложил я планету,
Мой дом для меня и любимой –
Из вечных и прочных вещей,
Увиденных до восхода,
Отмеренных шагом моим…

С тех-то пор и появилось у меня открытие: шаги как мера неизмеримого, шаги как мера всех вещей.

Открытие было при мне, хотя нельзя сказать, чтобы я им пользовался часто или всерьез…

Письма с острова Гризоль

Из повести «Джек и Боб, пираты Атлантики»

Пират Джек живет и работает в газете в Одессе, корсар Боб живет в Москве и учится в шестом классе. Оба на самом деле заняты поисками разбойничьего клада на необитаемом острове, что в Атлантическом океане. Будучи ненадолго разлучены, они

переписываются, не забывая, к какому славному воинству принадлежат.

Вот два письма Джека, посланные Бобу по голубиной почте.

Остров Гризоль, июнь 2010 г.

Старина Боб!

На острове жара стоит такая, как когда-то в Арисси, где мы с тобой ныряли за жемчужными раковинами. Ох и пекло, Боб! За глоток лимонада с кусочком льда в кабачке мамаши Дисо я бы отдал половину того, что мы наскребли здесь… А это немало – даже без очков видно, что это немало!

Что-то от жары я стал болтлив, даже самого главного не успел сообщить. Ну так вот. Слушай.

Слонялся я раз по берегу и искал вчерашний день. Ты ведь знаешь, как это делается: суешь в песок ногу, как в калошу, и шевелишь пальцами на манер черепахи, которая ищет место для кладки яиц. Так и я – совал, совал, пока не нащупал… угадай что? Хоть тресни, не догадаешься!

Нащупал я вовсе никудышную книжонку по арифметике… Что с ней делать? Полистал я ее, полистал, набрел на какой-то пример и сдуру стал его решать.

Учти, Боб, я чувствовал себя не лучше, чем цыпленок на вертеле. И вот я сочинил ответ и для чего-то ляпнул его вслух. И тут же услыхал над собой чей-то скрипучий голос, который объявил мне, что «профессор Дифференциал к вашим (то есть к моим) услугам…».

Я со страху, что у меня удар, закрыл глаза и сунулся в песок.

А голос опять:

– К вашим услугам – господин Дифференциал!

Тут я вскочил и увидал толстенького джентльмена с книгой под мышкой и очками на длинном носу. Он кланялся мне и говорил, что-де с этого момента принадлежит произнесшему заклинание и прочее. Пока он раскланивался, я протирал глаза и думал только о том, как бы удрать от наваждения. В конце концов джентльмен пошел на уступки и разъяснил мне, в чем дело.

Оказывается, толстенький господин подчиняется правилам арифметики. Стоит кому-нибудь решить из этой книжки,

что я нащупал ногой, тот пример, как он должен предстать перед ним ниже травы и так далее. Зовут его просто Ференц, а «ди» и «ал» он добавляет ради амбиции. Он предложил задать ему самый трудный пример из арифметики, чтобы тут же решить, – кроме этого, он ничего не умеет. Но у меня никакой задачи не было уже, а помочь мне отыскать вчерашний день, как ты сам понимаешь, не смог бы даже Ференц. И я разрешил ему погулять вдоль бережка и подождать, пока я придумаю задачу.

И тут наконец она пришла ко мне, эта благословенная мысль!

Старик! Что, если я пришлю Ференца к тебе? Ты тогда быстро разделаешься с математикой и приедешь к нам: ко мне и к Виду, чтобы довести наше дело до конца. А, плоская камбала? Здорово я придумал? Хватай листок бумаги и побыстрее отвечай мне, а профессора я займу парой пустяковых задач с неправильными ответами – пусть поломает голову.

С тем будь крепок.
Жму краба, твой Джек.

Старина Боб!

У нас все по-прежнему, кроме того, что заходил на своей шхуне какой-то бродяга-капитан по имени Босси Кит. Его ребята были настроены довольно мирно и встреча обошлась без выстрелов, хотя я и Вил держали пушки наготове. Босси Кит рассказал мне, что ты устроился рулевым на небольшой посудине и через месяц будешь в Бруке. Обойди тебя шторм, Старик!

Вечером капитан и его ребята развели на берегу костер, спустили со шхуны бочонок рома и скоро стали петь. Мы с Вилом были неподалеку, нас увидели и пригласили к костру. Ах, какие чудные песни они пели! Жаль, из первой, длинной, грустной и страшной одновременно, мы услышали только часть:

Пока твои зубы
Не стали зубами скелета –
Скалься!

Приятеля шутке,
Хоть рожа изрублена, –
Скалься!
Летишь ли на леере
На борт враждебный –
Скалься!
Как скалится сабля твоя
На противника,
Скалься!
И если на рее окажешься,
Ветром качаемый, –
Скалься!
Да так, чтобы корчило тех,
Кто на палубе скалится,
Скалься!..

Потом парни спросили, знаю ли я какую-нибудь толковую песню. Я взял гитару и спел нашу с тобой любимую. Когда-то мы пели ее с Железным Гуго, славным джентльменом удачи, но, увы, он уже там, где только волны и волны… Если ты ее подзабыл, вот тебе слова – спой на досуге, вспоминая меня:

Лулу, подружка, прикрой глаза:
Сегодня кружка, а завтра за…
А завтра за борт швырнет волна,
Вдогонку буркнет: «Тебе хана!»

Скрипит наш румпель – туга вода,
Над головою свистит беда,
И черти складно дудят в дуду –
Пророчат черти мою судьбу.

Лулу, родная, спеши плеснуть,
Нам всем здесь крышка, уж лучше пусть
Глоточек рома – он круг в воде,
Случится чудо – не быть беде.

А как не выйдет – прощай, моряк!
Ты потерял, знай, совсем пустяк.
Что жизнь пирата – дымка клубок,
Волна прибоя, весла гребок.

Вил, как всегда, чудит. Позавчера он отмочил такое, что я, конечно, не в силах молчать. Хоть и разбирает меня злость, а все ж хорошо! Старая добрая шутка не покидает нас.

Историю с ружейными стволами ты знаешь. Но Вил на этом не остановился. Пока я спал после обеда в палатке, он пошел в бухту, поймал там небольшую – метра полтора – черепаху и знаешь, что придумал? Ни больше, ни меньше, как привязал меня к ней! За мою правую ногу, Боб!

Мне снилось что-то вроде того, что я бот, севший на мель, и что меня зацепили за корму и стаскивают с песчаной косы… Я чувствовал, что скрипят мои шпангоуты и что мой киль трещит по всей длине… А этот весельчак колотил черепаху по панцирю и орал во всю глотку!

Чем это кончилось, ты догадываешься. Я понял наконец, что я не бот, а чурбан, и попробовал вскочить. И шлепнулся, потому что Вил вспрыгнул на черепаху, и она дернула веревку.

Через час мы варили суп из этой бедняги, и единственное, о чем я жалею, – не было рядом тебя. Суп был отличный! Когда ты приедешь, я покажу тебе панцирь…

Я и Вил продолжаем наше дело.

Ту штуку, что я тебе послал, мы расшифровали только наполовину. Жаль, что ты не помог нам. Тебе ведь карты в руки, ты знаком с цифрами, а я умею лишь двигать секстаном да попадать из моего «Людвига» в самую мелкую в мире монету. В мелкую, Боб! Иногда мне кажется, что это не совсем то, что я хотел бы уметь…

Итак, старина, дело движется к концу. К твоему приезду, я думаю, все будет готово. Пробоины в борту «Натаниэли» заделаны, скоро на ней будет мачта. Твоя каюта будет, как и раньше, около форпика, иллюминатор выходит на правую скулу. Готовься, Боб, готовься!

С тем будь крепок.
Жму краба, твой друг Джек.

P. S. Еще один рундучок я все-таки нашел, но в нем была всего лишь горсть пиастров и кучка пустых раковин от мидий. Это насмешка, Боб! Но меня они не проведут! Я копаю и копаю, и чувствую, что близок к сундуку, полному золота и драгоценностей. Посылаю тебе рисунок злополучного рундучка.

США

Ганна Костенко

В епіцентрі глухої невідомості

Мікророман з циклу «Божественне рибальство»

Прокинься ж, для чого Ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай назавжди! Для чого обличчя Своє Ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту? Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі…

Псалми 44: 23-25. Пер. І. Огієнка

І якщо я згадаю про це, то жахаюсь, і морозом проймається тіло моє… Чого несправедливі живуть, доживають до віку, й багатством зміцняються?

Книга пророка Йова 21, 6-7. Пер. І. Огієнка

Банальна метафора людського повсякдення

Місту, в якому щодня відбуваються святкові фестивалі, так важко повірити, що хтось здатен викинутися з вікна, не дочекавшись кінця шоу-програми… Про таких людей майже не писали в міських пабліках та новинах, бо їхні вчинки вважалися поза нормою моралі, тою невидимою межею, яку місто саме собі навигадувало та намалювало наслиненим пальцем навколо очей.

Можливо, і для неї ця новина також пройшла б непоміченою. Але так трапилося, що з вікна вистрибнув професор теорії літератури, якого вона знала особисто. Його останніми словами нібито було щось про долоні та цвяхи, але перевірити це неможливо. Професор лишився наодинці з містом, в якого

занадто стомлені очі, аби розгледіти окрему людину з її болючими питаннями, і ця зустріч, як вже відомо, тривала недовго і закінчилася блискавичним польотом в один бік. Йому було шістдесят три роки. Та він нікого не звинувачував, принаймні офіційно. Просто вистрибнув з вікна – і все. Перервав потік карнавального життя, яке страшенно йому остогидло. Життя, що було, на його думку, відрижкою Бога, пародією на все, що він знав, і все, заради чого жив, жалюгідним кітчем, знецінюванням людського болю та страждання, що тиражувалися щодня у прайм-таймі з перервою на рекламу, болю, до якого ми звикли та на який не звертаємо уваги.

Незадовго до свого вчинку професор, якого вона знала особисто, у приватній бесіді висловився, що важко жити у світі, в якому доленосні події розчиняються в калюжі повсякденних мікроситуацій, лишаючись непоміченими натовпом; складно жити у світі, який занепокоєний людським горем лише на папері та зберігає потрібну дистанцію, не надто близьку та не надто далеку, аби не бути звинуваченим у байдужості чи, навпаки, у надмірній емпатії, світі, що є слабкою пародією на бюрократію людських емоцій. Все вивірено, ніби на вагах. Все прописано у протоколах. Він також додав, що місто, в якому йому пощастило народитися, мало неабияку культурну спадщину, але вона нищилася на очах і навіть не урбанізмом з його тяжінням до гігантоманії, хоча, безперечно, не без того, а тими, хто влаштовує щоденні фестивалі сп'янілих свідомостей, саме тоді, коли варто замислитися, подумати чи просто помовчати; хто перетворює історію на рекламні повідомлення, лозунги, на карикатуру на громадянське суспільство, що не готове до щирого діалогу про те, що там насправді відбувається за тими межами, намальованими наслиненим пальцем навколо стомлених від безсоння очей.

А відбувалася там війна, що жерла людей, ніби чудовисько з картини Босха, вперемішку з гнилою землею, скаліченим залізом, зруйнованими будинками та трупним смородом. Війна, що запхала до свого воложистого чуттєвого рота і його, професорського сина, котрий навіть не встиг злякатися, втративши усі канонічні пропорції вітрувіанської людини.

Вона бачилася з професором кілька тижнів тому, й вони багато про що розмовляли, і про війну зокрема. Той здався їй трохи сумним, але хіба це дивує? «Війна всередині, – казав тоді професор, – ззовні – театр. Погодься, яка банальна метафора!» І вона погоджувалася з ним. Та старий усе повторював, що істини банальні до неможливості, в цьому вбачав також своєрідну іронію. «Думаю, – говорив професор із сумною посмішкою, – коли Пілат питав у Христа, "що є істина", Той мовчав, бо не хотів здатися надто банальним чи сентиментальним, або навіть меланхолійно романтичним, бо знав, що римський прокуратор – людина освічена, хоча й не дуже мудра. Знав, що кожне слово можна потрактувати так чи інакше, що мовчання інколи найсильніша відповідь, сміливість, яку можуть дозволити собі одиниці. А може, і тому мовчав, що й Сам насправді не пізнав її за свої тридцять три роки, бо мав бути з'їдений іншою твариною, й теж з картини Босха».

І тут посміхнулася вона.

Але професор продовжував, говорив, що війна всередині, а ззовні – театр, от тільки людське горе проживається на сцені всіма фарбами відчаю. Й він знав то на власному досвіді. Він додав також, що по завершенню цієї квазівистави лунають гучні аплодисменти упереміш зі сльозами, але ніхто з акторів не воскресає. Не виходить до глядачів на другий поклін, аби отримати квіти. Хоча квіти – то єдине, що отримують мертві. От і лежать за лаштунками гори зіпсованого людського м'яса, того самого, що мало у судинах своїх образ і подобу Бога, лежать одноразовим реквізитом, спотвореними вітрувіанськими людьми, про котрих згадують хіба що в особливі дні пам'яті, в сумних піснях після реклами, які співають відтюнінговані діви з глибоким декольте, лежать у квітах свіжих і вже недуже, так і не пізнавши істини. Так і не доживши до тридцяти трьох. Лежать, допоки зверху не накидають новий реквізит, якому, можливо, і квіти ніхто не принесе.

Вона все мовчала та не спростовувала сказане. Але професор, в якого вже закралася негарна думка у серці, продовжував, що найсумніше те, що він не знає, як вийти з цієї зали, де нема чим дихати, як лишити театр з незмінним репертуаром та хвилин-

ними антрактами. Він казав, що йому здавалося, ніби поза тим театром з його бездарними, вічно повторюваними, але жорстокими п'єсами не існує іншого світу. Є лише абсолютна темрява та тиша. І більш нічого. І це його лякало, але водночас дарувало дивну надію.

– Але пробач, ти ж, напевно, хотіла поговорити зі мною про щось інше.

Вона справді хотіла поговорити про щось інше. Але як після таких банальних метафор розповісти про особисте свято? Весілля, на яке вона хотіла запросити професора. Але він так і не прийшов із уже відомих причин.

Тілу людства завдано потужного удару

Кров і вода скрапували зі шпиля, ніби на ньому розіп'яли сонце, що розривалося навпіл язиками полум'я. Палали портали, дах, стіни, ікони. Палав Собор, в якому хрестили її та тих, хто носив на своєму лобі викреслений водою символ віри.

Вона не могла поворухнутися, забула навіть, куди прямувала, і про те, що запізнювалася на зустріч. Просто стояла, ніби пришпилена, у глухому ступорі та не могла відвести очей від вогню, що нищив не просто архітектурну пам'ятку міста, геніальну споруду, одну з найкращих у своєму стилі, а вбивав красу, в якій стільки пам'яті, вбивав навмисно, жорстоко, безжально, бажаючи назавжди затерти енергетику долонь, що торкалися тих колон, ніби оголеного тіла, пробитого цвяхами молитов та людського горя. Вогонь руйнував щось більше за собор.

Побіля метушилися люди: дівчата ліворуч робили селфі з сумними обличчями на тлі пожежі, миттєво викладаючи фото у сторіз із хештегом #соборпалає, сторіз, який щезне за двадцять чотири години. За спиною чулися здогадки про теракт чи навмисний акт вандалізму, бо завжди знайдуться прихильники конспірології. Хтось мовчки плакав, відмовляючись вірити власним очам. Вона ж спостерігала як палає шпиль, що от-от впаде долічерева, та перебувала у мовчазному скаменінні, ніби

дружина Лота, котра не витримала й озирнулася, побачивши недозволену людському оку красу Божого гніву, вогонь, що винищив міста та її саму.

Вона дивилася на Собор у вогні та не розуміла тоді, що саме цієї хвилини зустрілася з *чимось*, що змінить не лише її подальше життя, а й життя усіх, хто робив селфі, мовчки плакав чи висловлював власні судження, з *чимось*, що розмовляє мовою вогню, яка лякала, але захоплювала. Це було повідомлення незрозуміло від кого та задля чого про виникнення нових пожеж, адже палатимуть інші собори, країни, міста, вулиці, будинки, палатиме саме людське життя з його встановленими правилами, кордонами, земними та небесними, палатимуть людські переконання, цінності, упередження, звички, орієнтири. Палатимуть люди зсередини та ззовні. Епоха великої невідомості вже розстібнула свого плаща, аби продемонструвати оголені коліна і все, що вище них. Але чи стане попіл добривом для нових цінностей, упереджень та звичок, ніхто не знав, навіть той, хто транслював це повідомлення. І вона не знала. Тихо дивилася на вогонь, що з'їдав символ міста, архітектурну пам'ятку, одну з найкрасивіших споруд в усьому світі, й боялася того, що бачила, того, що мерехтіло в її передчуттях.

Раптом вона подумала, що останнім часом занадто багато чує про смерть тих, хто гине від вогню, щоденних трагедій, кого переварює війна за межами міста чи за межами континенту, хто вмирає від невиліковної хвороби чи голоду, від нападу ґвалтівників чи п'яного водія, через бійку, аварію, напад зграї акул, землетрус, вибух, пожежу, повінь, знову війну, знову пожежу… Смерть стала вірусною рекламою, що спамить по всіх каналах сприйняття, якорить підсвідомість – та й свідомість теж. Вона стала агресором, загарбником усіх видимих та невидимих кордонів людського існування, аб'юзером, котрий не знає стоп-слова. Смерть повсякдень замастурбовує емоційний орган співпереживання та співчуття до будь-якого горя, орган, неспроможний відчути вже нічого, крім сильної симуляції, наближеної до фізичного болю… А тут палає всього-на-всього архітектурна споруда, і це проживалося справжньою трагедією.

Вона пригадала з історії міста, що Собор палав неодноразово за своє життя, й не тільки через терористичні акти. Його побудували на руїнах язичницького храму, на кістках незнаної історії, яку намагалися переписати або замовчати всі, хто мав не лише кров, але й клеймо влади на своїх руках, адже деякі факти розходилися з офіційними ідеологічними переконаннями. Вона згадала також, ніби на підтвердження власної думки, язичницьку символіку та жертовну кров на колонах, яку все-таки лишали неторканими, бо навіть новочасні отці Церкви побоювалися жорстокої помсти язичницьких богів, хоча й офіційно їх не визнавали. Екскурсоводи говорили про еклектику стилів, непомітно проводили туристів повз скров'янілі відбитки у Соборі, де вже кілька сторіч проповідувалася любов до ближнього та неможливість слугування Богові та мамоні* водночас. Але за фактом – можливо! І не тільки мамоні, але й чужим для офіційної ідеології язичницьким ідолам…

Хтось випадково штовхнув її у плече, й вона вмить загубила думку, яка жевріла у серці. Лишилося ледь помітне тремтливе мерехтіння нового для неї прочуття, ніби все життя з усіма своїми складними процесами було лише пісочним печивом у руках Того, Хто занурював його у тепле молоко сьогодення.

«Тілу людства завдано потужного удару».

Такими були заголовки у вечірніх новинах.«Але людство отримувало ще й не такі удари», – думала вона.

Собор обов'язково відновлять, життя триватиме, мовбито й не було тієї пожежі, не було жертовної крові на мармурових колонах. Не було зустрічі на підсвідомому рівні та повідомлення, яке так і не спромоглися прочитати люди.

– Я все бачила, – сказала вона у слухавку професору, який пив молоко з печивом за порожнім столом. – Я ніби була присутня на страті близької мені людини. Це так складно пояснити…

* Мамона (у перекладі з давньогрецької – багатство чи розкіш) у християнських церковних текстах – злий дух, ідол, що впливає на людей та поневолює їх через гроші, уособлює собою такі гріхи, як грошолюбство, користолюбство тощо.
У Нагорній проповіді Ісус Христос каже: «Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні» (Мф. 6:24).

І водночас я не могла відвести погляду. Вогонь лякав мене, але й заворожував…

– Так, – він її перебив, – я бачив новини. Це справді трагічний день. Тілу людства завдано потужного удару.

Щось більше за істину

– Я тут перебирав деякі папери та випадково знайшов його текст, точніше – уривки тексту. Це ще до того, як він… Відверто кажучи, я й гадки не мав, що він писав… Тобі було про це відомо?

Звісно, їй було про це відомо, як і багато чого іншого. Пригадалось, як вони ще студентами сиділи на хитких стільцях опівночі під простирадлом вересневого неба на маленькому балконі з відкоркованою пляшкою дешевого червоного вина, яка стояла біля його ноги, бо на маленькому не менш хиткому столику вміщалися хіба що два келихи вина, попільничка та кругла свічечка. Він читав їй те, що написав за день, що не встиг відредагувати і вже не відредагує. Читав уголос і бачив ще не написані слова та речення, що мали скластися в єдину концепцію майбутньої повісті завтра, післязавтра… ніколи. Вона слухала уважно, але інколи так захоплювалася тембром його голосу й особливо вимовою шиплячих звуків, в яких було стільки ніжності, глибини, потаємної пристрасті та водночас невпевненості, що губила нитку оповіді, повертаючи себе до реальності ковтком терпкого вина. Часто запитувала його про батька та не розуміла, чому він не показує свої оповідання людині, котра знається на теорії літератури. «Але ж саме тому й не показую», – відповідав юнак і, можливо, мав рацію.

– Якщо маєш час, я прочитаю, – сказав професор у слухавку.

Вона не мала ані часу, ані бажання слухати написане, бо знала, що крізь букви чутиме голос, який сім років тому був найдорожчим, чутиме шиплячі, які повертатимуть її у минуле, у той вересневий вечір із терпким вином, повертатиме у страшний сон, що відбувся потім, сон, від якого вона так і не прокинулася. Зараз

вона чекала на мужчину, але соромилася сказати про це професору, бо відчувала незрозумілу самій собі відповідальність за те, що так і не стала йому невісткою. Вона давно хотіла сказати, що збирається заміж, але все не випадало нагоди, моменту, сміливості, бажання, ніби її другий шлюб міг затерти у пам'яті професорського сина, вересневі ночі, шиплячі звуки, хиткий столик, самого професора.

Але той вже читав текст у слухавку, його голос трохи повеселішав, можливо, через букви та слова, в яких впізнавав знайомі інтонації, паузи, знову шиплячі, в яких воскресав образ сина, котрий, ніби Лазар, вийшов із темряви небуття на осяяну сцену професорської пам'яті. Вийшов усміхненим героєм із розжеврілими квітами, прибитими на дошку грудей. Вийшов, аби посміхнутися та сказати, що він живий і з ним все добре, що його воскресила невидима сила – єдина сила, яку він визнавав.

Професор читав про липке павутиння невизначеності та нестабільності людського життя, в якому плуталися жертви обставин, люди, у котрих зникала віра у свободу вибору та волю, у котрих зникла свобода вибору та воля. Невизначеність, ніби звір, підкрадалася тихо та обережно, аби не злякати місто, у череві якого стільки живих сердець, здатних мерехтіти яскравими вогниками. Вона ближчала з кожним людським вдихом та видихом, очікувала на потрібний момент, аби заполонити собою всі куточки людського існування, бо їй подобалося бачити, як розсипаються люди під тягарем її тіла. Професор читав про тих крихких людей, котрі, ніби гілля, під натиском змін розламуватимуться в часі болем і відчаєм, адже не буде жодного не розхитаного каменю, на який можна ступити не вагаючись. Але читав також про інших, хто був зроблений із тих самих кісток і плоті, але мав унікальну здібність до радості без підстав та передумов, простої радості самого перебування, навіть в епіцентрі невідомості. Невизначеність, величезний вселенський сумнів, кралася обережно, але впевнено, заспокоювала себе думкою, що таких людей із радістю у серці, здатних не просто випромінювати слабке мерехтіння, а й стати вогняним мечем, встромленим у горлянку звіру, незначна кількість,

і що млини часу з легкістю переб'ють їм кістки, а разом – і спроможність тих сердець до радості. Але парадокс полягав у тому, що радість неможливо вбити, навіть якщо фізично знищити серця, що її випромінюють. Радість неможливо зламати, бо має вона ту ж природу, що й невідомість. Тож підкрадається вона так само обережно і тихо, аби не лякати собою людей. Радість сама була невиразною, невимовною, невловною та хиткою, з однією лише відмінністю, що…

Професор зупинився. Його син посміхався йому через літери. Печера небуття вже кликала його додому, і він, воскреслий Лазар, мав повернутися на вихідну точку, аби знову вийти на осяяну сцену професорської пам'яті, щойно він перечитає написане. Професор мовчав, бо далі не було продовження, сама лише недомовленість та шиплячі, яких ніхто не вимовив, але вони висіли у повітрі.

– Ти не знаєш, про яку радість йшлося?

Вона мовчала.

– Він в усьому хотів дійти до суті, – сумно сказав професор. – Чому він ніколи не давав мені читати власні тексти? Боже, як прикро, що в мене немає нічого з написаного ним, окрім цього фрагменту… Я б назбирав на окреме видання, а так… ніхто не чутиме його голосу, крім мене…

Вона також про це подумала, але відповіла професору, що той пізнав муки натхнення, нехай і не встиг видати книгу, але у творчості йому відкрилося щось більше за істину.

– Що може бути більшим за істину?

Подзвонили у двері. Вона вибачилася та поклала слухавку. До неї прийшов мужчина, на котрого чекала. У думках прокручувалося професорське питання: що може бути більше за істину? Більшим за істину може бути лише любов. Більшою за істину може бути лише радість, яку неможливо пізнати, лише впізнати. Радість, якої вона так давно не відчувала, ніби й не було її ніколи.

«Чи здатна я радіти в епіцентрі невідомості?» – подумала вона та відкрила нарешті двері.

Вона знову не наважилася сказати професору, що виходить заміж.

Вічний вандал, вічний садист

Вона чула від професора, що їх привезли до місцевого шпиталю, тих, у кого були назавжди втрачені канонічні пропорції меридіанів, ромбів, трикутників та овалів, тих, хто вже ніколи не матиме композиційного завершення власної вітрувіанської людини. Професор вважав, що невидима межа, наслинена пальцем навколо безсонних очей, вже перетнута остаточно, і назад дороги не буде. Він вважав також, що місто фестивалів, на жаль чи на щастя, неодмінно впаде від натиску історії, яка відбувається поза його увагою, історії, яку неможливо замовчати чи проігнорувати, бо вона вже дихає у вікна, вимальовуючи пальцем нерозбірливі ієрогліфи на запітнілому склі, множиться в атмосфері, насичує собою повітря очікуванням певного театрального жесту, з якого починається будь-яке дійство. Професор додав також, що собори палатимуть тепер часто, ззовні та всередині, палатиме все людське життя з усіма його основами та передумовами, і буде надзвичайно складно удати, що нічого не відбувається, але, безперечно, знайдуться ті, хто толеруватиме чужий біль із тихою награною посмішкою, або навіть без посмішки, хто толеруватиме жорстокість та буде занепокоєним людським горем лише на папері чи на сторінках соціальних мереж. Межа, повторював знову і знов професор, вже перетнута, і, на його думку, місто фестивалів приречене.

Вона мовчки погоджувалася, бо що тут скажеш. Але минув уже тиждень, і місто, що хворіло на безсоння, влаштовувало новий фестиваль із червоною доріжкою та відтюнінгованими дівами з силіконовими серцями, згадавши про тих, хто побував у череві птаха смерті хіба що у двадцятичотирьохгодинному сторіз, що зник, щойно стрілка годинника перетнула нульовий рубіж. Як прокоментував професор: скалічений реквізит нікому не цікавий. Людей захоплюють тільки мертві, живі їх не приваблюють. Можливо, саме ця фраза, кинута професором з відчаю, впала росою на її смуток і підштовхнула піти до тих, ким зовсім не цікавилося місто. Щоправда, вона так і не могла збагнути, що їй там робити та чим вона може бути корисною людям зі спотвореними пропорціями тіла. Але хіба

тільки тіла? Просто відчувала, що мала прийти, хоча б заради самої себе, заради професорського сина чи самого професора, спілкування з яким ставало дедалі складнішим, докучливим і неможливим, але водночас мало примарну цінність, нагадувало про невидимий зв'язок густих ментальних дротів з живою енергією всередині, що жахтить, зберігаючи у своїй циркуляції пам'ять про людину, котру любили обоє.

Вона назвала себе волонтеркою і пройшла на територію шпиталю, інтуїтивно прямуючи до скверу, де блискотіли брудно-білі плями лікарняних сорочок, бинтів та халатів. Тут було забагато гнилуватого білого кольору, який завжди її лякав. Вона вже десь зустрічалася з цією палітрою болю та відчаю, але зараз не могла згадати, де саме. На хвилину зупинилася, спробувала очима порахувати кількість білих плям. І злякалася, бо вразив масштаб самого проєкту (чи як там правильно казати у світовій театральній геополітичній тусовці), злякалася кількості залученої масовки (чи як би там висловився професор), злякалася скалічених юнаків, молодших за неї. А може, й справді, банальні метафори найдовше живуть, бо тоді їй здалося, що випадково потрапила за лаштунки між двома актами ще не закінченої вистави-війни, що жерла людей за межами її міста, в якому ніхто не чув пострілів, тих останніх дзвоників, після яких починається дійство. Потрапила в інший світ, населений скаліченими істотами, які мовчки проводжали її поглядами у спину, бо не звикли бачити людей без крові на обличчі. А ще підсвідомо шукала очима професорського сина, котрий вже давно спочивав за лаштунками. Без квітів. У ту хвилину вона думала, що професор таки має рацію, і місто фестивалів приречене, бо все, що відбувається за твоїми межами, рано чи пізно відбудеться у твоїх межах, у тобі самому. Червоною доріжкою йдуть відтюнінговані діви, червона доріжка лишається від тіла, яке витягають з-під завалів. Забагато червоного серед брудно-білого.

Вона дивилася навсібіч та все думала, що може зробити для тих, у кого геометрія ліній знищена залізним сім'ям чудовиська з картини Босха.

Щодня те чудовисько, ніби гумкою, затирає все, що дихає, – меридіани, живі трикутники, теплі круги та ромбоїди. Очі, мрії,

посмішки. Затирає людей. І цей акт вандалізму нікого не дивує, не чіпляє за живе, хоча й руйнується щось більше за пам'ятник архітектури. На очах зникають нейронні мережі людського духу, кровообіг думок, нитки віри та особлива мелодія між ребрами тисячі з плоті та крові, всіх тих, хто опинився на сцені зачиненого театру під сліпучим вогнем прожекторів та оплески невідомого глядача.

Так міркувала вона, не помічаючи, як тихо присіла на лавочку біля клену, як сидить у нерухомості щонайменше пів години. Вона мовчки спостерігала за тими, кого навіть не бачила фізично, лише відчувала, передчувала, передбачала за тисячі кілометрів звідси. Бачила спалених, вбитих, поранених, контужених, покатованих, знищених у майбутньому, знищених у цю ж хвилину, тих, кого вже перетравило це чудовисько кілька десятків років тому, кілька сторіч тому, кілька епох тому. «Такі різні люди, – думала, – такі різні часи, а монстр з картини Босха лишається незмінним, вічний вандал, вічний садист із залізним сім'ям смерті».

І як те, що колись помре, вона раптом відчула, ніби торкнулася мізинцем мокрого липкого павутиння, крихкість межі, що відокремлювала її від чудовиська з картини Босха, ніби направду та межа була вимальована наслиненим пальцем навколо очей. Та відчула гарячий спазм, що затягував у корсети шлунок, серце, легені. Страх перебирав її ребра, мовби грав на лірі, занурювався у темну тканину м'язів, аби намацати той орган, що й сам був музичним інструментом.

«А якщо все зникне, абсолютно все?» – подумала вона, дивлячись на листочок клену, підсвічений, ніби лампою, сонячним променем.

І згадала чомусь свої книжкові полиці, на яких так багато ще не прочитаних томів, подумала про недописану дисертацію, професорського сина, з яким так і не склався шлюб, знову про книги з витатуйованими на палітурці прізвищами авторів; згадала вечірню сукню, яку купила за знижкою, але так і не вдягнула в оперу, бо так і не поїхала у Відень; прелюдію та фугу ля мінор Баха, яку вчора слухала у поганому записі, картини художників, які не встигла побачити в оригіналі; згадала про

чоловіків, з якими не склалося, друзів, з якими не склалося, батьків… Вона питала себе, в які підвали ховатися від чудовиська з картин Босха… Босха, якого теж не бачила в оригіналі, але писала про нього дисертацію. І чи варто ховатися, якщо птах смерті увірветься до затрамбованого заторами міста з його щоденними фестивалями, якщо запліднить смертю мирних людей, своїм металевим сім'ям, запліднить її чи професора, чи всіх, кого вона недолюбила.

«Що мені робити, – думала вона, – якщо невидима рука випхне мене на сцену, де сліпитиме прожектор в очі, і я не бачитиму ані глядача, ані режисера, або ще гірше буду лише частиною масовки, середньостатистичним коефіцієнтом, якого ніколи ні про що не питають?..» За брамою шпиталю лунали крики затрамбованого від пробок міста з його щоденним коловоротом подій. Воно благало про допомогу, але червону стрічку вже перерізано. Новий фестиваль розпочато.

Нова метафора, і теж банальна

«Знову цей біло-брудний колір», – подивилася у вікно, заліплене з протилежного боку сірою мрякою, туманом, що ніби герпес вискочив на губі у міста саме в той момент, коли гриміло чергове свято сп'янілих свідомостей.

Вона стояла біля вікна, не вмикаючи світла, вглядалася у густе кружало з сірого місива та думала про Того, кому було лише тридцять три. Намагалася пригадати будь-які історії про чудотворне воскресіння міст, повернення їм зору, слуху чи будь-якої іншої втраченої здібності, або навіть одужання від того ж герпесу, що корінням своїм вплітався до нервової системи вулиць та перехресть. Але як на зло, окрім Содому та Гоморри, нічого не пригадала. Аж соромно.

Пішла на кухню зварити каву: прогріла турку гарячою водою, всипала меленої кави, цукор, дрібку солі, кардамон і трохи кориці, додала води, все перемішала та поставила на вогонь. І знову подумала про Того, Хто ходив по воді: чи зумів би Він врятувати її місто від злоякісних фестивалів, чи зупинив би

вир буденного театрального жесту, з якого починається будь-яка вистава, чи знищив би банальну метафору сьогодення, в якій усі варяться, чи зумів би зупинити той кітч, що вже є не тільки стилем життя, а самим життям, в якому все спрощується, нівелюється, механізується, знецінюється, висміюється та неодмінно продається. Втім вона продовжувала полемізувати подумки з собою і про те, що велика небезпека ховається у руйнуванні банальних метафор, бо не встигнеш оком моргнути, як і сам стаєш прародителем іншої, не менш тривіальної метафори, засновником нового театрального жесту, з якого обов'язково народжується новий кітч, нова вистава, а отже й нова війна. Той, хто руйнує банальні метафори, проти власної волі стає родоначальником нової. Банальні метафори з'їдають навіть тих, хто ходить по воді.

Пінка почала завертатися, шипіти та здійматися вгору. Вогонь вимкнуто, кава готова. Вона повернулася до вікна. Пила каву, не вмикаючи світла. І все стежила, чи не вималює туман нові невидимі межі, які не зуміє перетнути Той, на кого вона підсвідомо чекала. І раптом їй спало на думку, що знищення Содому та Гоморри – певною мірою теж терористичний акт, але про це незручно говорити. Ця історія постає метафорою божественної педагогіки, яка традиційно не піддається критиці та осмисленню, повчанням з певним хепі-ендом, адже Содом і Гоморра мають друге життя, лікуючи суглоби грішників нових поколінь. «А може, – все думала й думала вона, спостерігаючи за туманом, що, ніби герпес, вкрив обличчя вулиць, – так і мало статися, адже міста взагалі не заслуговують на порятунок, бо складно лишатися праведником у світі, занепокоєному людським горем лише на папері, у світі, де роблять репости та селфі на тлі чужого болю, де не помічають того, що відбувається на відстані витягнутої руки, за межею, якої не існує. Може, то єдиний порятунок від цинізму – бути перепрограмованим на лікувальну сіль».

Вона думала також і про те, що на її місто вочевидь чекає вогонь, ззовні та зсередини, полум'я, що затирає людей, ніби гумкою. І немає різниці, божественне воно чи людське, природне чи рукотворне, вогонь справедливості чи сусідньої держави: попіл – то єдине, що лишається від слова «вчора».

Вона допила каву та подумки спитала сама в себе, куди потрапляють міста після смерті, і чи можуть вони зникнути так абсолютно, аби не лишити по собі ані тіні, ані навіть згадки, міфу, легенди про всіх, хто пересувався жилами гріховного міста, хто не був у колі тридцяти шести праведників…

Туман тихо посмоктував обличчя вулиць, креслячи нові невідомі межі слинявим пальцем навколо очей. Якби вона розуміла мову туману, почула б: «Так». Але вона не розуміла, тож нічого не почула.

Раптом думка її перескочила у бік брудно-білого кольору, який завжди її лякав. Швидко підійшла до полиці з книгами – запилених склепів, які не воскресають у мовчанні. Бігцем гортала сторінки важких книг із твердою обкладинкою, шукала щось конкретне, палітру, яка останнім часом не давала їй супокою. Нарешті зупинилася на потрібній репродукції, увімкнула лампу та підсунула її ближче до книги, бо хотіла розгледіти все в найменших деталях.

«Ось вона… Камілла*… – прошепотіла собі під ніс. – І цей брудно-білий колір! Саме такі напівтони мають страх і відчай».

Відклала книгу.

– Забагато цього брудно-білого кольору. Інколи біле занурює в найглибшу беззоряну темряву.

Калейдоскоп одноманітних комбінацій

Вона була у бібліотеці, вивчала великий каталог із ілюстраціями Босха. Предметом її зацікавлення були донатори з картини «Ecce Homo», якій було присвячено один з параграфів недописаної дисертації. Професор невпинно переконував її завершити дослідження. На його думку, вона не мала права знецінювати набутий досвід, знання та витрачений час читанням чужих монографій. До того ж дослідження видавалося йому доволі цікавим, хоча й не відкривало нічого нового, – втім, як і більшість дисертацій. Так от, коли вона вдивлялася в прозорі силуети замовників, які, мов привиди, проявилися у нижньому правому куті

* Йдеться про картину Клода Моне «Камілла на смертному одрі» (1879).

картини, коли подумала, що ми самі, ніби донатори, входимо у події історії, що відбуваються незалежно від нашої присутності, згоди чи бажання, що хтось вписує нас у потрібну картину світу, епоху, пейзаж, сюжет, наче зроблені ми з прозорого крафтового паперу, не лишаючи жодного шансу, але вимагаючи нашої безпосередньої участі та певного театрального жесту, з якого все починається; коли подумала, що вчора ми ліниво споглядали за розп'яттям Христа, сьогодні – за відтюнінгованими дівами з червоної доріжки, вглядаємося у картинки, що вічно повторюються, слайди, кадри, ті чи інші складні часи, випробування, смерть, той чи інший біль, який ми маємо невідомо задля чого переживати та проживати, спостерігаємо багато-багато разів, аби знову й знову втрачати близьких, себе, віру, любов, страждати невідь задля якої мети, від того чи іншого педагогічного жесту, який по суті своїй зовсім не відрізняється від театрального; страждаємо, але заспокоюємо себе думкою про спокутування гріхів незнаних нам прадідів, вічно переймаємося несправедливістю, шукаючи на землі правди, якої немає, і покладаємося в думках лише на пекло як на єдину субстанцію, що зуміє все розставити по місцях, адже Яхве занадто зайнятий, аби звернути увагу на окрему людину, котра чекає від нього бодай якогось чіткого пояснення тому, що відбувається навколо, хоча і знає, що на все Його воля; коли вона подумала, що ми самі живемо всередині якоїсь божественної рулетки, яка бездумно випльовує цифри, на які ми ніколи не ставимо, у калейдоскопі одноманітних комбінацій, що випадають випадково та завжди не на нашу користь, – так от, у ту саме хвилину їй зателефонувала колега з університету, аби повідомити, що шоу-програма для професора з теорії літератури, з котрим вона знайома особисто, скінчилася блискавично швидким польотом в один бік. Колега зазначила також, що офіційно професор нікого не звинувачував, бо не лишив по собі записки.

Розмова скінчилася, у читальному залі було тихо. Вона продовжувала вдивлятися у намальований Босхом натовп. Вона знала, що обов'язково допише своє дослідження, говоритиме про донаторів у сюжетах біблійних сцен, котрих з такою старанністю вимальовував майстер зображення пекла.

Чорний кубик на дитячій долоньці

Вона йшла пішки додому після захисту дисертації, стомлена та спустошена, йшла до мужчини, котрий за кілька днів стане їй чоловіком, і міркувала про те, що їй нічого не належить у цьому світі. Навіть власний біль – лише сходинка до чорної порожнечі великої невідомості, що розстібнула перед нею свого плаща. На мить вона зупинила внутрішній погляд на цій невідомості, аби розгледіти її кольорову таємничість. І здивувалася, коли побачила чорний кубик на дитячій долоньці, предмет, значення якого не могла збагнути, але бачила його надзвичайно красивим і чомусь усміхненим. Невідомість була живою істотою, що дихала кутами власної мікросистеми та від імпульсу того глибокого, тихого, крихкого, тендітного, від невловної, ледь помітної усмішки, що випромінювалася з незнаних їй глибин пам'яті, була альфою та омегою існування, вічним рухом, вічним супокоєм – у неї запаморочилася голова.

Вона не знала, що у цю саму мить у власному серці пульсувала схожа мікросистема, що вибухала невидимою силою, здатною пробити горлянку будь-якому звіру. Не знала, що у животі її червоною трояндою розкривала свої пелюстки сама любов. Любов, що робила її неупередженою до болю, але водночас переповнювала болем, співпереживанням до тих, хто носив у грудях своїх музичний інструмент, тих, хто був чи буде з'їдений чудовиськом з картини Босха, хто палав зсередини та ззовні, хто стояв під прожектором на сцені в очікуванні певного театрального жесту. Вона не знала, що й сама перетворилася на скров'янілу рану на Тілі Життя, рану, яка ніколи не загоїться, яка болітиме завжди.

Кілька крапель упали на чоло. Незабаром мала розпочатися злива. Буря, що насувалася білою хмарою з цілою лабораторією Тесли у своєму трикутному череві, промовляла до людей мовою вітру. Вона відчула, як пришвидшився час і як загострилися у повітрі всі звуки, всі струни затрамбованого міста, як у пиловому вихорі перемішалися сигнали, крики, люди, машини, фарби, рухи в одну єдину пляму, що мала бути змитою небом. І крики ластівок теж чула: вони не боялися нічого, не знали нічого, але літали

лабіринтами неба, бо перебували у даності вільними та відчайдушними.

Вона повільно підвела очі й зустрілася поглядом із хмарою, що білою пітьмою накривала місто. З чорної порожнечі в очі її болю дивилася сама Невідомість усміхненим чорним квадратом, маленьким кубиком на дитячій долоньці. На неї дивилася Радість, яку так складно пояснити розумом. Радість, що боліла усіма звуками та фарбами одночасно. Радість в епіцентрі Невідомості.

Вона заплющила очі, передчуваючи зливу.

І розверзлася сльота небесна. У неба відійшли води.

Остання розмова з професором теорії літератури

– Знаєш, про що я думаю? Цей світ не зникне, що б ти там не казала, які б страшні події не чекали на нас попереду, які б чудовиська з картин Босха чи будь-кого іншого не лякали своєю присутністю, світ лишатиметься рікою, в яку неможливо увійти двічі.

Знаєш, я думаю, що Той, кого кличуть Богом, ніколи не стомиться милуватися земним буттям з усією його циклічністю, повторювальністю та передбачуваністю. Я навіть думаю, що Він дивиться цю нескінченну виставу з таким самим захопленням, як ми насолоджуємося хвилями океану. Ці хвилі з першого погляду здаються однаковими у своїй ритмічності, але за фактом жодна хвиля не повторює попередню. Так саме і ми… маємо особливий код на власних долонях, лінії, які ніколи не повторюються. Тому, я переконаний, у кожній циклічності є своя унікальність, своя краса, свій біль і свій сенс. Розумієш, про що я? Нас неможливо знищити, трава рано чи пізно так чи інакше пробиває будь-який зцементований бруд. Так було завжди, так буде завжди. Нас неможливо знищити, бо ми – хвилі єдиного Океану, хоча й не розуміємо цього.

Знаєш, останнім часом я мрію навчитися бачити не очима, а єством, розуміти не мозком, а серцем власну причетність

до великого Океану. Бути деревом на Тілі Життя, легенями Того, Кого кличуть Богом… Мрію бути частиною єдиного пульсу, диханням, кровообігом того, що не можна пізнати розумом. Того, що не можна знищити розумом. Взагалі не можна знищити, хоча чудовисько з картини Босха не полишає надію зробити це. І мова навіть не про війну! То лише один із механізмів затирання наших свідомостей. Я взагалі забороняю собі боятися жодних чудовиськ, ззовні та зсередини, бо саме страх робить мене безпомічним реквізитом. Я тепер це збагнув і вважаю це власною перемогою, власним досягненням.

Знаєш, я зрозумів зараз, що саме розіп'яті красою вічного руху Тіла Життя, ми здатні зустрітися з нашим страхом сам на сам… Скільки б тобі не казали про нестерпний біль у м'язах, коли у долоню забивається цвях, переживаєш та усвідомлюєш це до кінця, до самісіньких основ лише тоді, коли то твоя долоня. Або долоня твого сина.

Знаєш, чого я справді бажаю, хоча знаю, що мені не вистачить на це сил, – не злякатися зустрічі, яка неодмінно відбувається в епіцентрі особистого горя. Нам необхідна ця зустріч. Хоча й вимагає вона особливої мужності та сміливості, бо саме в цей момент ми переплітаємося поглядами з Тим, Кого кличемо Богом, обмінюємося болем, через який пізнаємо один одного.

Він трохи помовчав. І додав наостанок:

– Знаєш, не буває зіпсутих життів. Думаю, кожен має роль на плацдармі буття. І світ цей не зникне, що б ти там не казала…

А ще я давно хотів сказати: ти маєш вдруге вийти заміж. Відважся знову когось полюбити. І обов'язково знайди в собі сили і мужність відчути живу радість в епіцентрі глухої невідомості.

Анна Михалевская

Особенности понимания

Вы вот-вот начнете читать реальные истории настоящего, которые лет через двести вряд ли кто-то поймет. Возможно, их найдут в забытых архивах полуразрушенных старинных высоток, и исследователи того времени будут долго спорить, что такое пин-код и турбинка, зачем нужны были тренинги, и кто все эти люди, которые так много говорят о войне.

Роза ветров

Город пропитан патриотическим духом насквозь – даже в самых неожиданных местах. Завсегдатаи наливайки с метеорологическим названием «Роза ветров» обмениваются репликами.

– Слава Украине! – говорит предположительно женщина с сине-зеленым отливом лица. На ней кокетливая куртка с потертым Микки-Маусом. Она тащит за собой грязный пакет, набитый другими грязными пакетами.

– Слава Иисусу Христу! – тут же отвечает ей предположительно мужчина, он сидит на корточках около «Розы» и помахивает бутылкой.

Оба довольны, улыбаются беззубыми ртами.

– Слава героям Украины! – не по уставу добавляет в меру одутловатый точно мужчина. Вероятно, стаж в «Розе» у него еще не наработан.

Остальные друзья «Розы» слегка покачиваются на нетвердых ногах и кто как выражают свое одобрение.

Люблю наблюдать за бомжами и алкоголиками. Наслушалась от них и про половцев, и про сарматов. И какие проблемы у психологов, которые вроде как помогают решать проблемы. Никогда не знаешь, сколько высших образований скрывается за лицами людей, измученных нарзаном.

Между фешенебельными особняками Фонтана недавно открыли прием вторсырья. Пойду сегодня послушаю народную мудрость.

Психопат или нарцисс

В маршрутку входит парень. Его телефон на громкой связи – идет какой-то бизнес-тренинг. Определение отношений соперничества и сотрудничества слушает вся маршрутка.

– Элеонора, – говорит тренер, – что такое конкуренция?

Элеонора молчит. Заснула? Спасает мир? Сейчас все возможно.

– Очень прискорбно, что вы меня игнорируете, – обижается тренер.

Но даже если так, я понимаю Элеонору. Тренер объясняет так запутанно, будто она политик или юрист. Минут пятнадцать я пыталась вникнуть и забыла о конкуренции и сотрудничестве все, что знала до этого.

На помощь приходит наш пассажир:

– А если начальник психопат или нарцисс?

Спина водителя нервно вздрагивает. Фраза звучит угрожающе громко.

Да, вопрос не имеет отношения к конкуренции, зато тренер оживает и бодро рассказывает уже понятным языком, куда и как именно посылать психопатов и нарциссов. Парень имеет все шансы закончить свою бизнес-школу с отличием.

В этот момент я сочувствую начальникам. Возможно, босс этого парня из маршрутки, психопат и нарцисс, просто пытался ему объяснить, что такое наушники. Кто знает, какие еще разговоры тот включает в общественных местах на громкую связь?

Особенности понимания машин и человеков

Сьюзи учит машины говорить с людьми. А людей – понимать друг друга.

Большая шишка в солидной американской компании, Сьюзи придумала программу, чат-бота, которая, как справочное бюро, отвечает на вопросы сотрудников. Можно спросить чат-бота о своей зарплате, страховке, об отпуске, можно поиграть с ним в игру или доверить щекотливый вопрос, который не задашь ни боссу, ни коллеге. Да-да, это уже не фантастика, а обыденная реальность западного мира.

Сьюзи обожает свою программу и работает над ней по четырнадцать часов в сутки, чтобы исправить все, что в чат-боте пока несовершенно. Она отмечает его день рождения, будто чат-бот живой сотрудник: ходит на ланч, отпрашивается с работы, чтобы забрать детей из школы, и периодически опаздывает на собрания. Но ее любимчик не так-то прост, вернее, сногсшибательно сложен, поэтому Сьюзи проводит обучение.

Команда у нас интернациональная – индусы, американцы, канадцы, украинцы.

В общем-то, кодекс компании запрещает разделение по национальному признаку и все такое. Но нам с Сьюзи повезло, она руководствуется не кодексом, а здравым смыслом: мы все разные, и нечего притворяться, что индус видит мир так же, как украинец или американец. И если ты не понимаешь, кто ты, как сможешь научить программу понимать других людей и отвечать на их вопросы, часто нелепые и неожиданные?

Между прочим, умело сконструированные боты способны на многое – и пошутить, и поговорить об Эйнштейне, и продемонстрировать фото своих носков или что-нибудь спеть. Задумайтесь – машины могут шутить! Не знаю, какие преимущества еще остались у людей.

Разве что непредсказуемость. У Сьюзи, например, она в избытке, поэтому наши уроки совсем не похожи на уроки. Однажды Сьюзи показала свой дом – особняк Великого Гэтсби, не иначе. Дом был построен в двадцатые годы прошлого века – с огромными залами и окнами от пола до потолка, тайниками в стенах,

с бассейном в отдельном холле. А сколько там комнат, по-моему, даже Сьюзи точно не знает.

– Дом моей мечты, – с гордостью говорит она.

Дом действительно прекрасен. Очарованные его необъятными просторами, молчим. Мечтаем, каково это жить там.

– Сьюзи, – вдруг подают голос всегда тихие индусы, – а сколько человек живет в этом доме?

– Я, – говорит она после паузы.

– Ты одна? – индусы забыли о том, что по определению самой же Сьюзи, они – вежливая нация, и продолжают настаивать на неудобных вопросах.

– Ну, на выходных я устраиваю вечеринки для друзей. И совсем недавно здесь жили украинские семьи с детьми.

Мы вспоминаем собаку из рода каких-то хаундов и здоровенного кота мейн-куна, которые периодически мелькают в камере вместе со Сьюзи, и нам становится спокойнее за нее. С такой компанией точно не заскучаешь. Отшучиваемся, мол, диктуй адрес, скоро приедем, прилетим, приплывем. «Добро пожаловать!» – совершенно серьезно отвечает Сьюзи.

Казалось бы, что может остаться в голове после такого сумбура? Но остается удивительно много. Сьюзи учит относиться к работе, как к игре-эстафете, где у каждого есть что-то, что он должен как можно понятнее рассказать другому. А когда получается, надо обязательно радоваться. И Сьюзи показывает, как именно.

– Я создала чат-бот! Я создала чат-бот! Йуху-у-у! – громко напевает Сьюзи, мейн-кун на заднем плане вострит уши.

– Сьюзи, ты сошла с ума? – снова не выдерживают вроде бы тихие индусы.

– Нет, я не сошла с ума, – в голосе Сьюзи появляется сталь. – Мы забываем себя хвалить. Чаще ругаем. Впрочем, в жизни вы можете делать что хотите. Но на работе должны радоваться своим успехам. Это приказ.

Радоваться мы не привыкли. Более того, нам кажется это глупым. Поставил мысленно галочку, что работа сделана, и пошел дальше. А песни петь зачем? Барьер преодолеть очень сложно. Но Сьюзи непреклонна, и наши неуверенные «Йуху?» звучат все чаще. Собака из каких-то хаундов с интересом заглядывает в камеру.

Забыла сказать – чтобы провести для нас занятия, Сьюзи встает в пять утра: в Штатах почти ночь, зато Украине и Индии удобно. Но даже в эту рань она не забывает спросить:

– Ребята, как дела в Украине? Я беспокоюсь.

В эти моменты мы стараемся улыбаться, говорить, что привыкли и справляемся, а потом сразу прикручивать микрофон, чтобы приглушить звуки сирены и не пугать коллег. Мы знаем – Сьюзи не только беспокоится. Она заботится. Заботится о своих украинских сотрудниках и делает все возможное, чтобы у нас была работа. Заботится о детях-сиротах, оставшихся на ее попечении в Киеве. И о многих других, о которых еще не успела нам рассказать…

Чат-боты и как их конструировать – интересная тема, но гораздо интереснее сама Сьюзи. Масштаб ее личности, как и ее дом, трудно охватить беглым взглядом. Недавно мы узнали секрет утренних вставаний – Сьюзи цепляла на ногу электрошокер. Ошарашенные, переспрашиваем, нам кажется, неверно расслышали слово, и ей приходится повторить еще несколько раз: «э-лек-тро-шо-кер».

Защиту выпускного проекта Сьюзи доверяет смешливому и неусидчивому Камалу. Будет присутствовать представитель заказчика – дело серьезное.

– Камал проведет защиту на отлично, – говорит Сьюзи. – И вы сделаете для этого все возможное. Вам не все равно, это ведь и ваша работа.

Как здесь не вспомнить принцип альпинизма – какой бы сильной ни была группа, она всегда идет со скоростью самого неопытного, медленного. И его всегда пускают вперед.

На выпускной церемонии Сьюзи вручает нам сертификаты. В каждом студенте она находит уникальное качество, о котором с теплом рассказывает группе.

– Вы не должны были этого делать, – говорит Сьюзи нашей украинской команде, – но вы здесь. И я ценю это!

Это действительно так: создавать чат-боты не наша обязанность. Мы пишем инструкции к программе, и всего-то и хотели – лучше понять чат-бота и людей, которые его обучают.

Но ведь и ты, Сьюзи, не должна была много чего делать, но сделала. Ты вставала под электрошокер в пять утра, ты терпела наше молчание, когда мы еще не знали, что не бывает неправильных ответов, ты рассказывала все, что знала сама, и шутила, чтобы мы захотели это запомнить. Ты нашла для каждого ключик, и мы перестали быть американцами, украинцами, индусами и канадцами. Мы стали людьми, которые знают, как научить машины понимать других людей. Которые знают, как понимать других.

Принципы и формулы – вот что обычно получают после тренинга. Но Сьюзи дала нам гораздо больше.

Прошло несколько недель, но я все еще вижу огромный дом Сьюзи и ее саму, засевшую в крохотном уголке особняка Гэтсби, кот улегся на книжной полке за спиной, собака на коленях, Сьюзи смеется, и я чувствую уверенность: у меня все получится – и с чат-ботом, и в жизни.

Так почему бы этому не порадоваться? Йуху-у-у!!!

Это не мы

«Грязная» бомба? Нет, это не мы. Это они на коленках, сообразив на троих, где-то быстренько собрали. Что там собирать, на тик-токе уже инструкцию выложили. Кто выложил? Нет, не мы.

Они (те, которые могут сбить дрон в домашних условиях и сообразить на троих и вообще на всю страну, если надо): «Нет, это не мы. Это они».

Мы, которые мы, конечно же, понимаем, почему «это не мы», но из-за сходности формулировок часто не готовы ко всем последствиям.

И что делать тем, кто чувствует, что раздвоение личности не за горами?

Оглянуться вокруг и найти примеры доверия. Недавно подсмотрела такое – и, стыдно признаться писателю-фантасту, ни слова не придумала.

Мужчина выскакивает из банка, в руке карточка, он кричит другу, который успел уйти в конец квартала:

– Миша, какой пин-код?

– Три, семь, один, – диктует Миша через всю улицу.

– Спасибо, – благодарит мужчина, сложив руки в рупор.

Улица улюлюкает и аплодирует.

Как говорят в банках, никогда и никому не раскрывайте свой пин-код!

А что? Какой пин-код? Это не мы!

Лицом к лицу

Она входит в быт, в мысли, в каждую мелочь. Ты слышал, как летят ракеты. Видел их оторванные хвосты. Знаешь, чем «Шахиды» отличаются от «Калибров», а удар ПВО от наземного взрыва. Встречаясь с друзьями, обсуждаешь маневры и тактику ведения боя. Соседские дети рисуют военные корабли в большом количестве. Голодные птицы выхватывают из рук твои завтраки. Пустынные пляжи заросли травой, и только полиция имеет право ее топтать.

Ты отчаянно хочешь выбраться из ее крепких объятий – арматура, битое стекло и плохие новости. Но планета Земля слишком мала, чтобы сбежать.

Спускаешься привычной дорогой в подвал, твой ботинок зависает над цветком колокольчика – стебель пробил себе дорогу сквозь растрескавшийся цемент ступенек. Солнце подсвечивает лиловый бутон, и ты думаешь: красота и нежность – непозволительная роскошь, сейчас ее трудно заметить и легко уничтожить. Ты разумен и дальновиден. Поэтому кутаешься в практичное и надежное, окружая себя полезными предметами.

Уже сидя в подвале, вспоминаешь рассеченные взрывом дома, штукатурку и клочья обоев, квартиры с ампутированными гостиными и прихожими – в бесстыдном разрезе видно все то полезное, что так тщательно собираешь. Мешки сухарей, тревожные чемоданы, костюмы на случай радиации, пачки денег на случай эмиграции – все досталось ей, не хозяевам. Она примерила и выбросила как ненужное. Любит ходить голой и никогда ничего не покупает. Люди все сами ей отдают.

А что остается тебе? Убегать из домов, где видно небо, в подвалы, где у тебя нет даже тени. Не мочь плакать, потому что для этого слишком много поводов. Отказываться бояться, потому что в этом слишком мало смысла.

Пора признать – она здесь, рядом, и не собирается уходить. Ведь ты столько думаешь и говоришь о ней. А она обожает внимание, как и любая женщина.

Оглядываешься в поисках – что тебя спасет. И она, от которой мечтаешь спастись, оглядывается вместе с тобой и услужливо подсказывает. Надеяться не на что. Бомбоубежище далеко, защитный костюм ты забыл дома, а парни из ВСУ заняты другими делами.

Но это даже к лучшему. Ты устал бегать и прятаться. Вспоминаешь, как тонкий стебель цветка пробивал камень. И внутри тебя прорастает уверенность и бесстрашие. Ты не знаешь, сколько еще выстоишь вот так лицом к лицу с Войной. Минуту, пару лет, намного или немного больше? Но все это время – твое. И все это время – ты абсолютно свободен.

Витя Бревис

Актуальные рассказы

Богадельня

Улица называется Блюменштрассе. Дом престарелых частный, и архитектура у него интересная, отличается от других домов на улице. В войну наш городок подчистую разбомбили американцы и потом, в пятидесятые, он застраивался недорого, квадратиш, практиш, гуд – надо было где-то селить людей, ютившихся где попало.

В доме престарелых я теперь работаю инструктором по лечебной физкультуре.

Мой первый пациент сегодня – господин Штиль, благообразный дедушка. Со Штилем мне нужно делать специальные упражнения на равновесие, потому что после болезни он плоховато держится на ногах. Упражнения ему делать неохота, я не настаиваю. Чего мучить старика? Мы просто разговариваем. Штиль знает три слова по-русски: Hleb, Wodka, Dewochka. Еще он помнит: do Swidaniya Hozyaika nema Kuri nema Yayka. Он был в русском плену, лет пять. Помнит хорошее, и девочки у него там были, и хлеб, и водка. Другие старики про русский плен вспоминать не хотят, темнеют лицом, молчат. Война и эти пять лет, похоже, были самые интересные годы в жизни Штиля, больше он ни о чем не рассказывает. Вскоре Штиль умирает.

Фрау Фабер уверяет, что является на четверть еврейкой. Ее отец, наполовину еврей, проработал всю войну в Берлине врачом в собственной практике. Он вылечил какого-то нацистского начальника и его с семьей так и не тронули. Я не верю фрау

Фабер. Заткни пасть, ругается она, я что, по-твоему, вру? Мы ходим с ней по лестнице, полчаса, вверх и вниз, она очень старается и верит, что у нее получается все лучше и лучше. Потом фрау Фабер умирает.

Фрау Функе всю жизнь проработала школьной учительницей. Она старая дева, очень старая. В ее комнате на полках много книг, я нахожу ее путевые дневники, которые она вела в поездках по Франции шестьдесят лет назад. Фрау Функе почти ничего не соображает, я показываю ей дневники с приклеенными к страницам картинками: «сегодня в Авиньоне дождь, но я все равно вышла прогуляться, там совершенно дивный недостроенный мост, по которому я дошла до середины реки Роны».

Рона! Да! Фрау Функе берет у меня свою старую тетрадку, приближает к глазам, улыбается и не может ничего вспомнить. Она понимает, что не понимает, и смотрит на меня совсем беспомощно. Я хожу к ней много лет, она все живет и живет, непонятно зачем; девяносто, девяносто пять, у нее дорогая страховка, меня оплачивают, не проверяя, я беру с ее полки Шиллера, Гейне и Гете, читаю ей вслух, некоторые стихи она вдруг вспоминает и подхватывает, взгляд ее в эти моменты оживает.

В конце жизненного пути фрау Функе лежит совсем без движения, через желудочный зонд льется жидкая еда, так она тянет еще пару лет, я сижу у ее кровати и читаю положенное время свой фейсбук и держу фрау Функе за руку, на случай, если войдет сестра, – тогда можно будет сделать вид, что я выполняю с фрау Функе упражнения в положении лежа.

Господин Штерн рассказывает мне, как в сорок третьем году трахался в Карпатах с украинкой, зимой, в снегу. У них там была любовь. Он тоже умирает.

У господина Хайнке болезнь Паркинсона, она быстро прогрессирует, лекарства плохо помогают, он ходит все хуже и хуже. Хайнке – гей, у него есть муж, с которым они вместе уже лет сорок. Муж приходит почти каждый день и мы вместе с ним шевелим старому Хайнке руки и ноги, застывающие с каждой неделей все сильнее. Мужу тоже дохрена лет. Хайнке всю жизнь профессионально занимался танцами; в начале болезни он еще ходил, учил меня отличать пасодобль от ча-ча-ча и в хорошие дни нехило вер-

тел скрюченными ногами. Хайнке очень долго и нудно умирает, сначала перестает ходить, потом глотать, потом дышать.

Фрау Химмель нет и восьмидесяти, она по здешним меркам еще огого, и действительно, вполне могла бы жить одна, но кружится голова, боится упасть, переехала сюда из собственного дома добровольно, что редкость. Интересуется мной, эмигрантами, спрашивает о семье. У фрау Химмель оказываются целые залежи одежды, ей порциями притаскивает из дома одежду женщина, которая убирала у нее раньше; гору платьев и блузок некуда девать, я предлагаю Фрау Химмель пожертвовать свои тряпки моей теще в Архангельской области, она с готовностью соглашается. Она планирует продать дом, но очень долго не может избавиться от накопленного там хлама, выбрасывать жалко, ее возит туда эта женщина на машине, и они там вместе думают, что продавать, что дарить, а что все-таки выкинуть. Мы с женой отправляем коробки с химмельским тряпьем в Архангельскую область, теща плачет потом по телефону, что это совсем не ее стиль, и вообще, она не наденет на себя такое говно, и даже отдать его некому, у них приличная деревня, и зачем мы только, все такое цветастое и слишком нарядное. Комната фрау Химмель в богадельне ломится от дорогой мебели, а в доме ее все еще остается много барахла, фрау Химмель внезапно и совсем не больно умирает, видимо, от сердца. Близких у нее нет.

Фрау фон Носке с метастазами рассказывает мне о Лени Риффеншталь и Саре Леандер. Фон Носке – графиня, важная дама, у нее старческая неряшливость и совершено черные ногти. Она уверяет меня, что немцы не устроили бы войны, если б не Гитлер, а он же австриец, так что немцы не виноваты. Я не спорю. Фон Носке живет у нас месяца два, умирает.

Пожилую чету Раде я вначале посещаю на дому. С тучной фрау Раде я делаю упражнения для спины, а с хером Раде – для ног. Он университетский профессор, биолог, говорит со мной на великолепном немецком, несколько свысока, с причастными оборотами и герундивом. У них частная страховка. Иногда они дают мне чаевые. Большой трехэтажный дом, стиральная машина стоит в подвале, фрау Раде ползком спускается туда по узкой деревянной лесенке с корзиной белья и потом назад, каждый раз

рискуя упасть и переломать себе все, что у нее еще функционирует. Я советую переставить машину наверх, в кухню, но фрау не хочет менять привычную обстановку. Вскоре она и по кухне передвигается с помощью ходунка, и страшно медленно, но все равно корячится с бельем в подвал. Кроме стиральной машины там они хранят минеральную воду, которую фрау Раде тоже таскает оттуда ползком по бутылочке. Ящики с минеральной водой должны стоять в подвале, потому что там им место! Я не спорю. Через полгода супруги Раде тоже приземляются в доме престарелых. Сначала умирает старик, упав в ванной комнате. Медсестры вызвали скорую помощь, девяностолетнего хера Раде честно пытались оживить, но без успеха. Еще через год окончательно сдает фрау, она похудела до прозрачности, лежит в кровати и не узнает родственников. Потом она умирает.

Я тоже, конечно же, умру.

Звали его Дитер

Он написал нескольким берлинским друзьям, что собирает деньги на помощь Украине. Без всякого фонда, просто сам взял и написал. Скинули кто пять евро, кто и пятьсот. Расшарили дальше. Сделали рекламу по универу, где этот Дитер (имя, разумеется, изменено) учится. Плюс телеграм-каналы благотворительные там есть. Набралось тысяч десять. Дитер прилетел в Румынию, взял там машину напрокат, накупил в Metro консервов. Запостил фотки, в ответ ему накидали еще десятку. Дитер вызвал из Берлина приятеля, тоже студента, давай помогай, лети, пока каникулы не закончились, – там у студентов весь март еще каникулы. Взяли напрокат микроавтобус, доехали до переправы на Дунае, у границы сгрузили консервы добровольцу, нашему уже, тот привез консервы мне.

Мы с другом (назовем его, допустим, Игнат) перегрузили все в лифт (грузил, разумеется, больше Игнат, чем я с моими радикулитами), из лифта – в квартиру, сложили в прихожей стопками по сортам. За пару дней раздали нуждающимся, даже очередь стояла. Дитер контролировал процесс по телефону из Румынии.

Мы с Игнатом чувствовали себя почти героями, безымянными деятелями сопротивления, акторами истории.

Скоро сказка сказывается, суть да дело – накидали Дитеру еще тыщ двадцать еврозелени. Прилетел третий студент, помогать. На следующую поездку набралось уже семь с половиной тонн груза. Целая папка румынских чеков для отчетности, а то ж налоговая спросит: что за доходы такие у вас нетрудовые и где, блин, налоги?

На этот раз Дитер приехал в Одессу сам – горячие точки манят, как огоньки в ночи. Колонна микроавтобусов в количестве двух миновала блокпосты, прибыла в Одессу, облегчилась там в четырех пунктах сбора гумпомощи. Консервы, одеяла, много чего.

Усталый, но довольный Дитер позвонил мне. Я, конечно, горячо поздравлял, сильно и совершенно искренне благодарил, спросил, кстати, где он ночевать собирается.

– Эээ, – сказал Дитер.

– Ах, так пусть тебя ко мне везут! Сейчас адрес отправлю.

– Данке, через полчаса буду! – ответил усталый, но довольный Дитер.

– Только у нас выпить нечего, – загрустил я с закидоном, – у нас в Украине. Ты не привез?

– Шайсе. Я не знал. Надо было в Румынии купить. Ну ладно, так посидим, хули. (Ну не прямо хули – наверное, он сказал майн готт, уже не помню точно.)

Друг Игнатий, который у меня сейчас живет, мне не бойфренд, а именно что просто друг. Это, вообще, очень удобно, знаете ли: вроде живешь не один, но никто не заябывает, очень рекомендую. У меня свои мальчики, приходящие, у него свои – на кухне, там диванчик есть (квартира, уж извините, однокомнатная). Мой мальчик, слава богам, в этот день взял выходной, закрылся, фигурно выражаясь, на проветривание. А Игнатов мальчик, назовем его Женя, смазливенький такой (хотя мой вот нисколько не хуже будет), сидел в этот час в обнимку с Игнатом у нас на кухне, и жрали они консервы из первого дитеровского гумконвоя. Работы ведь сейчас ни у кого нет, включая меня.

– Девочки, щас немец приедет, так что вы это, поскромнее себя ведите, гут?

– Что? Настоящий немец? А он по-английски говорит?

– Да уж получше вас, наверное.

Дитер бодро выскочил из микроавтобуса, не переставая улыбаться ни на секунду. Еще в лифте он демонстративно выдохнул, сказал, что очень рад, что ему можно наконец расслабиться: полезные знакомства он сделал, город посмотрел, груз сгрузил. Ну и на родном языке теперь можно поговорить без всякого напряжения.

Мальчики на кухне встретили нас лучезарными улыбками. Они уступили Дитеру место на диванчике. Он просто и буднично, без этой нашей обычной в таких случаях рисовки, вытащил из рюкзака литровую бутылку виски.

– Ого! Где взял?

– На улице. Такой бульвар, знаешь, красивый, там все продается: книги, душгели…

– Ааа! Книжка? Там еще деньги меняют, да? В центре?

– Да. И я попросил виски. Дали.

Улыбки наши стали еще лучезарнее, из глаз полился божественный свет, елей закапал из уголков губ.

– Тут у меня гости, Дитер, ты извини, мы потом в спальню все уйдем, так что кухня будет ночью твоя, спи спокойно, дорогой товарищ.

– Spassibo! Кайн проблем!

Игнат сварил макароны. В макароны он бережно вмазал по баночке говяжьей и свиной тушенки, мы уже неплохо читали румынские этикетки.

После первой рюмки мой друг сразу же потребовал перевести Дитеру вопрос: а как ты относишься к геям. Оказалось, что по-английски Игнат тоже не говорит, совсем, в школе был двоечником, а вот мальчик Женя английский немного все-таки знал. Это упрощало мои переводческие задачи.

– К геям я отношусь отлично. Знаю я вас прекрасно, мой брат тоже гей.

– Заебись! – прокричал Игнат и разлил всем по второй. – Переведи ему.

– Это прекрасно, Дитер! – подумав, перевел я.

– А ты пробовал с парнем? – спросил Женя по-английски с некоторой надеждой.

– Конечно. (В этом «конечно» чувствовалось, что спрашивали часто.)

– И?

– Ну, выяснилось, что не люблю я члены. По девочкам я, с этим ничего не сделать.

Мы помолчали.

– Народ, у меня сейчас урок будет, на часок, так что вы тут пейте, кушайте, я в комнате посижу, онляйн. Всего один ученик остался, ученица, остальные в бегах, не до немецкого им. Так что неразумно будет отменять.

– Натюрлих натюрлих, все ок.

Урок после двух рюмок виски прошел бойчее, чем обычно. На последние двадцать минут я позвал из кухни Дитера, хочешь с девушкой поговорить? Только ты медленно. Ок! Дитер был к тому времени уже сильно воодушевлен, он пел девушке песни на саксонском диалекте, рассказывал про сорта пива, про свою девушку, урок продлился дольше положенного.

После урока Дитер сказал мне следующее:

– Я ни в коем случае не хочу никого дискриминировать, ты, пожалуйста, ни о чем таком не думай, но не мог бы попросить своего друга, эээ…

– Что, Дитер? Говори.

– Чтобы он не трогал меня за жопу. Я абсолютно толерантен, все ок, но сейчас я устал очень, и завтра мне обратно ехать, мне сейчас просто не до этого – даже если б девчонка меня за жопу схватила, мне было бы неприятно. Только ты ему мягко скажи, я не хочу, чтобы он обижался.

Я хотел было что-то возразить насчет девчонки, но дверь открылась, к нам в комнату вошел совершенно голый Игнат с бутылкой из-под виски. Там что-то плескалось, но уже совсем на донышке, такие бутылки бомжи находят иногда в удачных помойках и радостно допивают.

– ****ь алкаш. Какого хера ты трогал Дитера за жопу? Человек гумпомощь собирал для твоей несчастной страны, а ты, диверсант гребаный, вот так себя ведешь.

Игнат широко осклабился, раскинул руки и попер на Дитера извиняться.

– Да оставь же его в покое, придурок.

Я вытолкал вязкого податливого Игната на кухню.

– Иди к своему Жене, извинись, господи, мне стыдно за тебя, как русской интеллигенции за Путина. Да, гарнир какой-нибудь придумай. (Игнат отвечает у нас за питание.)

– Аллес ок! Кайн проблем! – Дитер понимающе улыбался.

Ужинали мы уже без алкоголя, и консервы на этот раз были рыбные. С гречкой. Нельзя же есть постоянно одно и то же. Дитер попросил кетчуп. Кетчуп отсутствовал. Он что-то записал себе в телефон.

Нагой Игнат и легко одетый Женя мацали друг друга уже совершенно в открытую, плохо попадая по целям. Дитмара пора было уводить.

– Девочки. ****ь. У вас есть полчаса. Ему спать пора, устал же.

В комнате я оправдывался перед Дитером, мол, комендантский час уже, куда я их выгоню, и некуда им идти: у Жени предки дома, а у Игната дом вообще в другом городе, если не разбомбили, а ****ься-то хочется, молодые ведь оба. Дитер в ответ заговорил о продуктах, что он привезет еще партию, но не в Одессу, он хочет в Николаев, поближе к линии фронта, там нуждающихся больше. Я посоветовал Мариуполь, на что Дитер ответил, что это уж слишком горячо, чересчур. Мы горько улыбнулись друг другу.

– А как ты вообще пришел к этой мысли, вот так взять и поехать?

– Да вот взял и поехал. Просто.

– Тебе скучно в Берлине, наверное? Движа мало? Слишком все организованно, благополучно?

– Доля правды есть. Но не скучно. Я рейвы люблю, клубы, курнуть могу, нюхнуть, подиджеить или тупо проколбаситься всю ночь. Девчонок люблю. В Берлине с досугом очень даже ок. Но когда это все у вас началось, я подумал, что как-то ведь надо с этим бороться. Воевать я не пойду, это не моя родина, но свою лепту внесу. Примерно так.

Я вышел на кухню с инспекцией. На дитерском диванчике нудно шевелились тела. Женькино орудие приятно удивило размерами. И чего у пассивов вечно такие здоровые? У меня с подобными габаритами жизнь бы по-другому сложилась.

– Кончайте скорее, проститутки.

Дитер уехал в шесть утра. Ему нашли машину с беженцами: папа, мама, дочка и собачка, они направлялись в Кишинев. Дитера посадили впереди, рядом с водителем. Папа ехал только до границы, дальше они планировали передать руль Дитеру, мама водила, но неуверенно. Я вышел с ним в тапках и халате. Было зябко.

– Дитер, они спрашивают, есть ли у тебя права. Поведешь?

– Натюрлих. Кайн проблем. Данке, у тебя было очень уютно. Ауф видерзеен.

Мы обнялись. Я почувствовал, что краснею.

Ігор Паночишен

Почуття

Якось повз темний парк із інституту додому йшла дівчина. У неї закінчився черговий учбовий день, а незабаром завершиться навчання. На душі було сумно – чи то від того, що має статися, чи то від безлюдних вулиць і погоди, чи то від набридлої самотності, чи то від усього разом.

– Ми завжди з нетерпінням чекаємо, – чомусь сказала вона вголос.

– А навіщо чекати? Пробуй! Твій перший крок – це твій новий день. Якір знаходиться в тобі. Виривайся за межі минулих днів. Ти загралася в чекання. Пусті очікування не минають, і твоє коштовне життя засмічується чужими подіями світу. В них є все – і тиша, і буря, і загострений біль, і жадібність, і війни, і тирани. В це складно повірити, але темряви більше. Це так. Подивись на небо. Але твоє щастя повинно бути, і бути таким, яким створила його природа. То є істинний шлях. Не потрібно відмовлятися від нього. Оманливі ігри приводять до ланцюгів, до культу машин і не здатні вирішити будь-яких особистих проблем. Не втрачай себе у натовпі. Можливо, в ньому не страшно, але в ньому немає тебе. Ілюзія гурту закінчується, коли кожний залишається наодинці з безодньою. Тоді охоплює жах, але назад дороги немає. Можна спробувати покликати на допомогу, але навіщо від когось її чекати, якщо вона завжди була всередині кожного? Багато хто про це не дізнається. Не забувай, що твій вибір розпочався з першого кроку твого осмисленого життя.

А тепер подивись навкруги. Як бачиш: не всі полягали спати в першу ніч студеного півріччя: хтось не хоче, хтось не може,

хтось дивиться телевізор, хтось готує їжу на кухні, хтось прислухається до часу, а хтось прислухається до себе. Гавкання собак на вулиці порушує тишу і насторожує всіх. Люди, коли їх багато, теж так вміють. Ти можеш запитати: а бути серед маси людей складно? Ні. Так само, як не складно бути кораблем посеред великого океану. Для кожного є відповідь, і вона записана зірками на небі. Чітко та ясно. Не вмієш подрібнювати думкою – працюй руками. Роби свій вибір, якщо мусиш жити. Світло є, але темряви багато. І люди ховаються в її темних хвилях, отримавши відрізняльний від інших значок. І блиск розмінної нагороди назавжди ховає вогонь непрочитаної небесної відповіді.

Собаки знову підняли гавкіт, можливо, відлякуючи нічних ходунів. Тварини завжди женуть біду. Зосередженість і пильність до всього. А яка, подивись, красота навколо! Ти бачиш прямо над нами вертикальний ківш Великої Ведмедиці. Добрий лагідний знак. Якось в готельному номері за кордоном я побачив її прямо у вікні над моїм ліжком. Вона чітко вписалася у скляний прямокутник неба. Гармонія цивілізації. Нічого – буде й у нас. Ми наздоженемо. Тільки не всім потрібно їхати далі. Особливо тим, хто давним-давно виріс, але розумом залишився у дитячому віці. Невже в тих людях язик росте скоріше, ніж мозок, а шапка «як всі» покращує особисте життя? Може, ті собаки підганяють чиїсь давно відсталі ноги? Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Саме в такий спосіб розпочинають читати зіркові відповіді, розуміючи, що з чотирьох літер не можна скласти слово «любов». Навчайся. Почуй і відчуй себе.

Ти подивись, як зоряно сьогодні. І тепло – п’ять градусів. І хтось знову потурбував зграю. Гавкотіння побудило далекобійників. Ті потурбували своїх залізних коней. Двигуни побудили шаурмістів. Ті включили радіо. Пісні розбудили людей у висотному домі. Люди подивилися на годинники. Ранувато. Шум покотився у зворотному напрямку. Крайніми зробили собак, і хтось швагнув по кущах палку. І знову тиша. І на небі зірки. І ти не знаєш, що ти хочеш, але я знаю, що тобі потрібно.

Вона здригнулася і, подивившись у холодну темряву, сказала:

– Я почула тебе. Хто ти, незнайомець?

– Я той, хто поруч, навіть коли поруч нікого немає.

– Я в захваті. Ти навіть не уявляєш, як ти вчасно. Звідки ти? Ти стежив за мною?

– Художник завжди обирає натуру. Але розмовляє тільки з тими, хто йому подобається.

– Ти художник?

– Це важливо для тебе?

– Дуже.

– Мушу розчарувати: ні. Я чарівник.

– Ти шуткуєш? Це ж тільки в кіно.

– Не завжди. Котра година?

– Ти вже йдеш? Зачекай. Ще рано. Просто темно.

– Мені вже час, пробач.

– А як же я?

– Ти – окремий світ, що вже подобається іншому.

Вона несподівано зробила крок назустріч і припала до нього. Він не заважав її пружному тілу відчувати биття його гарячого серця.

– Не йди! – прошепотіла вона.

– Інколи потрібно зробити крок назад, щоб опинитися на крок попереду. А світло завжди допомагає бачити краще.

– Повір, я ніколи не зустрічала таку людину, як ти. Мені з тобою дуже добре. І я не хочу загубити тебе в цьому бурхливому світі.

– На жаль.

– Ні! Зроби що-небудь – ти ж чарівник.

– Не хвилюйся. Я відчув твоє тепло і обов'язково повернусь. А для того, щоб ти була впевнена, проведемо маленький експеримент. Відвертаємося, пишемо одне слово, що відповідає стану душі на цю мить, передаємо один одному записки і, дорахувавши до дев'ятнадцяти, обертаємося один до одного. Якщо слова співпадуть, то ми назавжди будемо разом. Ти згодна?

– Згодна.

Дівчина тремтіла від хвилювання і бажала тільки одного – не помилитися. Настала найдовша хвилина в її житті. Нарешті час вийшов. Вона обернулася і… і нікого не побачила. Великий темний парк з напівоголеними деревами похмуро стояв перед нею. Звідти пахло глибокою осінню та тягнуло холодом. У відчаї вона прошепотіла:

– Ні! Як же так? Цього не може бути! Невже він так міг? Він же обіцяв…

Від розпачу красиві дівочі очі наповнилися сльозами. Тьмяне світло ліхтаря висвітлювало на мокрому асфальті жовті серденьки опалого листя. В чорному небі над нею горіли яскраві білі зірки Великої Ведмедиці. Холодна самотність заповнила душу, і у розпачі дівчина, охопивши обличчя руками, тихо заплакала. Адже вона повірила словам, відкрила своє серце, а замість здійснення мрій потрапила в пастку гіркого розчарування. І в ту хвилину, коли вона, перебуваючи на грані нервового зриву, готова була зробити будь-що, він ніжно притулив її до себе.

– Де? Де ти був? – обіймаючи його у відповідь, запитала вона крізь сльози.

– Я був поруч. Тільки ходив за квітами для тебе. (Аромат оксамитових троянд кружив голову.) Ти прочитала записку?

Дівчина забула про неї, відкрила, і радісна посмішка осяяла її обличчя. Адже й вона написала слово «кохання».

Вони обійнялися, і жаркий, такий бажаний поцілунок розчинив їх своєю солодкою насолодою, а на небі, немов благословляючи їхнє щастя, замерехтіли міріади блискучих зірок.

Алена Жукова

Уроки музыки

Софийка

Сказка-быль

Жила-была девочка Софийка в Украине. Ходила в старшую группу детского сада, пела песенки и хотела играть на пианино. Папа и мама купили ей пианино и отвели в музыкальную школу. Хоть ей было всего пять лет, в школу ее взяли, услышав, как чистенько она поет. Школу вскоре разбомбили, и квартиру с пианино тоже. Софийка вместе с мамой бежала в Канаду. Пришла на урок только что. Глаза большущие, синие, но смотрит в пол. Петь не хочет. Стали сочинять музыкальную сказку, как это делаю с малышами:

– Вот тут в басах Мишка живет, наверху – Птички, в среднем регистре Мама… А где же Софийка?

Она ударяет ладошкой по басам со всей силы: «Тут!».

– Софийка, почему?

– Так выбух був. Чуешь? Софийка побігла з дому, медведик та птахи тоже побігли. А пианино залишилось. Загинуло, – и слезы… У меня тоже.

Прошла неделя, и Софийка опять пришла на урок. Глаза уже не в пол, но и до песен еще далеко. Произошло самое чудесное – Софийке подарили пианино. Представьте себе! Мы просто чуть-чуть помогли: дали клич, что очень нужно пианино, и – о счастье! – им привезли добрые люди. Старенькое, но хорошо звучит, а хорошо звучащие инструменты старенькими не бывают. Софийка готова рассказывать о своем друге Пине (пиани-

но) часами. Начала сочинять свои сказки на нем. Исполнила мне сказку про то, что скоро закончится война (в высоких регистрах прыгают нотки), и они с мамой и Пином вернутся домой (глиссандо), а там их встретит папа (в басах незамысловатая мелодия из нескольких нот), а потом Софийка пойдет в школу (ее пальчики переступают по клавишам – получается гамма).

Тут вмешиваюсь я, чтобы не упустить момент и превратить игру в урок. Я перехожу на пение восходящей гаммы, Софийка повторяет за мной. У нее удивительный тембр – совсем не детский. Надеюсь, что на следующем уроке Софийка мне споет.

Продолжение этой сказки совсем не веселое, но я верю в хэппи-энд. Софийка петь отказывается – думаю, это протест, а может, потому, что у мамы Наташи глаза на мокром месте. Ее муж и Софийкин папа сейчас на херсонском направлении. Пообещал звонить, когда сможет, но уже неделю молчит. Мы молимся. Наташа нашла работу в цветочном магазине. Вчера принесла мне косичку из васильков и колосков. Они вместе с Софийкой ее плели, и Наташа слышала, что дочка тихонечко запела их любимую – «Я піду в далекі гори…». Софийка ходит в школу и говорит, что ей нравится, только там непонятно говорят и ее не понимают, но не все – есть мальчик и девочка с Украины. Мы продолжаем сочинять музыкальные сказки. У каждого зверя своя мелодия. Софийка быстро запоминает и пытается повторить, но тема «выбуха» в басах не отпускает. Она все время пытается ударить там со всей силы, но теперь смеется…

Ей уже не страшно. Страшно мне…

Не так давно мы решили с Софийкой подготовить папе сюрприз – записать песенку в ее исполнении и послать ему на передовую. Ради этого Софийка была готова запеть, да хоть сплясать… Я предложила выучить что-нибудь к приближающемуся Кристмасу. Мы сели с ней рядышком, я открыла сборник рождественских песенок и начала играть и петь все подряд. Ничего из веселого вроде Jingle Bells или Snowman не понравилось Софийке. Она выбрала I'll be Home for Christmas, когда узнала, о чем эта песня. Размечталась, что папа вернется к Рождеству. Мы начали разучивать английские слова, а мелодию Софийка запомнила мгновенно…

Наступил декабрь, а Софийка исчезла, на занятия не приходила. Их домашний телефон не отвечал. Вчера мне позвонила незнакомая женщина – подруга Софийкиной мамы. Они тут в Канаде сдружились. Выяснилось, что Софийка сейчас у нее живет. Наташа, мама Софийки, уехала неделю назад в Украину – муж в госпитале с тяжелым ранением, а позавчера Наташа позвонила и сказала, что Алексей скончался. Она похоронит его и вернется. Просила пока Софийке не говорить. Софийка знает, что папа заболел, – и все… На занятия уже Наташа будет водить… Я попросила Софийку к телефону. Ее голосок был тихим и слабым. Она все чувствовала, хоть и не знала наверняка. На вопрос, разучивает ли она песню к Рождеству, ответила, что будет петь только тогда, когда папа приедет.

Я положила трубку и долго плакала. Вспомнила, что песня I'll be Home for Christmas была написана Bing Crosby в 1943 году. Она о мечте солдата вернуться домой, даже если только во снах:

I'll be home for Christmas
If only in my dreams.

Софийка не будет петь эту песню. А будет ли вообще петь, когда узнает правду, – неизвестно. С наступающим Рождеством, обезумевший мир!

Кавалерийская песня

Разучивала сегодня с учеником опус Дмитрия Кабалевского «Кавалерийская песня». Ученик был англоязычный мальчишка десяти лет от роду. Совсем никаких знаний по поводу какой-то красной конницы в какой-то Октябрьской революции он, конечно, не имел. Объяснила, как могла, что в давние времена (а уж для него точно – прошлый век сродни веку динозавров) в армии были конные отряды: отсюда в музыке стаккато цокота копыт, а поверх – бодрая песня лихих наездников. Неожиданно для себя почувствовала, что музыка эта раздражает. Ясно перед глазами встала картинка: залитое кровью зеленое поле, а по нему

несется кровавая конница… Я вдруг вспомнила, с каким удовольствием пела в детском хоре «Полюшко, поле», как выразительно тянула: «Едут Красной армии герои…» – и читала стихи, выкрикивая, как учили, про смерть врагам… В каком же устойчивом идеологическом мифе мы жили! И ведь не задумывались, что все эти «красные дьяволята» и «неуловимые мстители» – бандиты и преступники, убивавшие направо и налево людей только за то, что те не разделяли их взгляды. Все происходящее сегодня – оттуда. Мой канадский ученик, прощаясь, сказал, что очень любит лошадей, и ему очень нравится эта пьеса, но он не понимает, почему люди заставляли лошадей воевать: разве им было их не жалко? Я промолчала… Он еще не знает, как людям не жалко убивать людей…

Щедрик

Моя ученица, темнокожая пятнадцатилетняя красавица Нэнси, попросила разучить с ней «Щедрик» – хочет сыграть на Рождество. Восемь лет назад привел ее ко мне проповедник адвентистской церкви, который брал у меня уроки теории музыки. Любопытная история тогда случилась. Его звали Дэйв, он поселился по соседству и однажды, проходя мимо нашего дома, услышал, как я терзаю шопеновский этюд. Постучался, попросился в ученики. Я не сразу поняла, что передо мной уже далеко не молодой человек: веселые глаза-угольки, черный ежик волос, белозубая улыбка… Дэйв недурно играл и хорошо читал с листа. Поселился он у своего кузена на нашей улице. Кузен был известным спортивным журналистом, а родом они все были с Бермуд. Меня несколько удивило, как они умудрились поместиться в небольшом доме – мама, папа, восемь детей, да еще и родственника притащили… Дэйв мне казался не шибко преуспевшим по жизни человеком, даже не хотелось брать деньги за уроки.

К тому времени мой класс благодаря Дэйву уже изрядно пополнился новыми учениками – многочисленной бермудской родней. Однажды я была приглашена вместе с мамой на службу

в их храме. Отказывать не хотелось – был какой-то праздник. Из разговоров с Дэйвом узнала, что адвентисты седьмого дня празднуют субботу, а половина детей журналиста – приемные из неблагополучных семей. Таких многодетных семей много – традиция. В тот день мы с мамой были единственные белые в церкви, я бы даже сказала – бледнолицые, которые совершенно неправильно одеты: платочки вместо изысканных шляпок, болтающиеся ниже колена юбки вместо элегантных костюмов… На нас оглядывались, но приветливо улыбались. Церковь была ультрасовременной – с арочным стеклянным потолком, через который лился солнечный свет. Служба началась. На сцену вышел мой Дэйв, зал загудел. О том, что он такая значимая фигура в их церкви, даже не подозревала. Он попросил всех встать и поприветствовать его учительницу музыки. Зал встал, взоры обратились на нас, нам аплодировали.

А потом было самое классное – много музыки и песен, даже танцев: «Бог наверху, Бог внизу, Бог перед тобой и за тобой…». Моя старенькая мама была в восторге. Она – вечная коммунистка, не представляла, что так весело можно молиться, пританцовывая, и это ее примиряло с Богом, а вот наше «раб Божий, покайся» все никак в нее не лезло.

Там же, в церкви, я поняла, что Дэйв не только проповедник, но и храм этот построен им. Богатейший человек – застройщик береговой линии Бермуд. Он предлагал нам переехать на Бермуды. Принес как-то портфолио с домами, которые строит, и сказал: «Выбирай любой, будешь в нашей церкви играть и детей учить…». Я не решилась, да и мой муж был не в восторге от такого предложения. А перед отъездом на родину Дэйв принес мне книгу песнопений, в которой была мелодия из всем знакомого гимна – той части, где «славься, отечество…». Я обалдела… Как же это? Украли? Кто у кого? История замалчивает. А «Щедрик» давно стал традиционной рождественской песней в Америке, Carol of the Bells, и даже забылись ее корни, но сегодня все вспомнили – это украинская колядка. И вот думаю: а вдруг моя Нэнси, сыграв «Щедрик» в их церкви, подтолкнет к созданию нового псалма во славу мира и перемоги? Пусть бы так. И да услышит их Бог!

Ящик елочных игрушек

Прошло столько лет, а Шура – теперь Александра Николаевна, баба Шура, помнила, как девочкой забиралась на антресоли и в пыльной темноте среди перевязанных пачек макулатуры и пакетов со стратегическими запасами хозяйственного мыла разыскивала ящик елочных игрушек. Шура была худенькой и вертлявой, как обезьянка, бывало, и в форточку залезала, когда теряла ключи, вот и на антресолях запросто помещалась. Она подтягивала ящик с игрушками к самому краю, а оттуда его осторожно снимал папа и ставил на стол перед елкой. С перемещения ящика в комнату начинался обратный отсчет для уходящего года.

Шуре разрешалось распаковывать завернутые в вату игрушки, проверять, на всех ли есть петельки, бережно подкладывать новые взамен разбитых. Но всякий раз ее огорчало, что игрушки были одинаковые, за редким исключением. А хотелось, чтобы ни одна из них не повторяла другую, чтобы не было двух кукуруз разного цвета, спутников и ракет, отличавшихся только размером, похожих друг на друга птичек, мишек, рыбок… В ящике лежала одна особенная игрушка, которую бабушка собственноручно заворачивала сначала в вату, потом в газету, а потом укладывала в жестяную коробочку от печенья. Зачем она это делает, Шурка не понимала – игрушка была уродливой куколкой величиной с большой палец с нарисованными крылышками на грязно-белом ватном тельце. Бабушка всегда требовала, чтобы эту куклу вешали наверху – на самом видном месте, под пятиконечной звездой. Шурка считала, что этот уродец портит всю елку, и просила маму и папу перевесить в другое место. Мама ласково целовала Шурку в лоб и шептала:

– Это самая дорогая елочная игрушка. Когда наша бабуля была маленькой, ей пришлось расстаться с родителями навсегда. В канун 1937 года они положили ей в кармашек эту куколку. Вырастешь – поймешь, о чем я говорю…

– А это мальчик или девочка? И зачем крылья? Это же не самолет! – удивлялась Шурка.

– Это ангел.

– Кто такой ангел?

– Это теперь наша бабушка. Хоть ее уже нет с нами, она смотрит на нас сверху и хочет видеть свою игрушку на старом месте.

Однажды Шурка тайком от родителей стала на табурет, дотянулась до ангела и сняла его с веточки. Повесила ближе к полу, чтобы не бросался в глаза. Никто этого не заметил, кроме кошки Кати.

Новый год встречали весело и шумно. Пришли гости с хлопушками и бенгальскими огнями. Над головой летали конфетти, змеился кольцами серпантин, а тихонько под елочкой сидела довольная кошка. Она стянула ангела с ветки и откусила ему голову.

С этого все и началось. Шура теперь точно знает, что именно тогда. Родителям ничего не сказала. Они решили, что ангел случайно упал, а кошка тут как тут… Его уже трудно было спасти. Катя постаралась – от него остались рожки да ножки.

На следующий Новый год елки у них не было. Маме было не до праздника: папа не вернулся из рейса в Антарктику, где они били китов. Его смыло волной. Спасти не удалось. Через несколько лет мама под Новый год объявила, что опять выходит замуж. А встречать они будут Новый год вместе с дядей Мишей. Новый папа Шурке не понравился: он был лысый и пузатый. Рассказывал анекдоты и сам же над ними громко смеялся. Шурку не обижал, но и не замечал. Он предложил их квартиру в старом доме с высокими потолками и его комнату в коммуналке поменять на новую жилплощадь в многоэтажке. Теперь для ящика елочных игрушек не было места на антресолях. Самих антресолей не было, а в Новый год на тумбочке у телевизора устанавливалось мохнатое искусственное недоразумение с микроскопическими игрушками. Шурка, сначала горевавшая по папе и по елке, привыкла. Боль улеглась, забылась. Нового года она по-прежнему ждала, но не как сказку. И о какой сказке можно мечтать в шестнадцать лет? Разве что о сказке про прекрасного принца.

Встреча с принцем произошла, конечно же, на новогодней вечеринке. Протанцевав с Шурой полночи, он полез к ней в трусы, и ей это не понравилось. Она оттолкнула «принца». Обозвав ее сучкой, он пошел искать свое счастье дальше, зажимая по углам Шуркиных подружек. С горя Шура приложилась к вину, потом шарахнула водки и побежала домой. Путь был неблизкий и лежал через пустырь и гаражи. Она пару раз навернулась, больно ударив коленку, а потом на нее кто-то навалился – показалось, что медведь. А дальше – темно-

та и полная потеря памяти. Очнулась, закоченевшая от холода, внутри пустого гаража. Колготок и трусов на ней не было. По ногам текла кровь, болел живот. Шура еле доползла до дому. Хорошо, что родители еще не вернулись от друзей, иначе поднялся бы крик, милиция, разбирательство… Она набрала полную ванну с мыльной пеной, похожей на сугробы снега, и погрузилась в них с головой. «С Новым годом, крошка!» – гудел в голове хриплый басок… Никаких других воспоминаний не было. Она тяжело вздохнула и по-настоящему свободно выдохнула только тогда, когда пошли месячные…

Дальше по жизни происходило так, что именно в новогоднюю ночь случались самые большие неприятности – например, собственный развод. То есть формально он произошел позже, но именно тогда, когда готовились к встрече гостей, а в манеже прыгала годовалая дочка, раздался звонок коллеги. Мужа в комнате не было. Можно было посудачить с коллегой по поводу вчерашней вечеринки. Накануне праздновали в редакции газеты, и новый главред пригласил Шуру на танец.

– Слушай, у него какие-то бабские ладошки – маленькие и цеплючие, – прошептала в трубку Шура. – Ты же видела, как он прижал меня и не отпускал, пока не выложил все планы по реорганизации отдела. Но, конечно, мужик умный и видный, что говорить… И не женат. Смерть нашим бабам. Я сама поплыла слегка, хотя так и сяк пыталась выскользнуть… Меня же Саша ждал с Асечкой, мы собрались погулять в парке перед сном.

– Ну так я тебе самое интересное расскажу, – перебила подруга. – Маринка-то наша, секретарша, заревновав, побежала на выход. Там твоего Сашку с Асечкой встретила. И знаешь, что сказала эта зараза? Чтобы он напрасно не ждал жену, что, мол, она не выйдет, пока с начальством не дотанцует, а может, и вообще не выйдет… Уборщица наша слышала, как та орала.

– Боже! – охнула Шура. – А я и не поняла, с чего Сашка взбесился и побежал от меня…

Шура услышала щелчок в трубке, и в комнате появился муж, а потом, как тогда у гаражей, – темнота, и она ничего не помнит… Удар по лицу был такой силы, что она потеряла сознание.

Ей предлагали заявить на него в милицию, но она решила просто развестись. Однажды изнасилованную пугало любое насилие.

А после развода пришлось самой устраивать праздники дочке – так и вернулась в дом большая елка вместе с ящиком елочных игрушек. Шура тогда собиралась воплотить свою мечту: ни одна игрушка не должна повторяться. Времена, правда, стояли нищие, но свободные. Шура открыла в себе талант художника и мастерила диковинные елочные игрушки. В дело шли обрывки кружева и шелка, перьев и толченого стекла. Вспомнив ангела, которого угробила, решила сделать похожего. Теперь всей стране стало известно, куда в тридцать седьмом увозили прабабушек и прадедушек. Сделать точно такого не получилось. Получился другой – гораздо наряднее. Он, наверное, и принес к следующему Рождеству нового мужа.

Григорий тоже недавно развелся с первой женой, детей у них не было, поэтому очень скоро они решились родить Асечке братика или сестричку. Карьера Шуры тогда пошла в гору: самые острые темы и репортажи доверяли именно ей. Она в первых рядах журналистов освещала аварию на Чернобыльской АС. Все было покрыто густой пеленой лжи. Шура неофициально поехала в Припять, чтобы взять интервью у ликвидаторов. После поездки почувствовала себя плохо. Вскоре выяснилось, что она на восьмой неделе беременности. 25 декабря у них родился мальчик с тяжелыми генетическими нарушениями. Новый год они встречали в больнице. Через три месяца сын умер. Больше у них с Григорием детей не было.

Ящик елочных игрушек теперь опять пылился без дела. Его отдали бабушке, да и Асечку тоже. У Шуры после перенесенного начались тяжелые депрессии, непонятно откуда взявшиеся галлюцинации и голоса. Она не могла растить ребенка, начала пить, перестала работать и следить за собой. С Григорием они развелись. Он не выдержал такой жизни, а Шура в сорок лет превратилась в старушку.

Ася жила у бабушки до окончания школы, а закончив ее, увлеклась модной профессией дизайнера. Ей нравилось конструировать красоту. Обнаружив старый ящик самодельных елочных игрушек, удивилась, узнав, что это маминых рук дело. Дождавшись очередного просветления и выхода Шуры из запоя, Ася села перед мамой, разложив елочные игрушки. Она попросила рассказать о каждой из них – что означают эти странные фигурки из тряпочек и ниток.

Шура сидела молча, поднося ближе к глазам одну за другой, как вдруг, вытащив куколку размером не больше пальца с блестящими крылышками, заплакала.

С этого дня жизнь Шуры изменилась. Она вместе с дочкой делала дизайнерские елочные игрушки на заказ. Они открыли кооператив. Особенно хорошо продавались ангелы. Шура больше не пила, галлюцинации и голоса уже не преследовали ее.

На Новый год и Рождество Шура наряжала красивую елку. Под ней появлялось все больше подарков – для совсем старенькой мамы, для дочки Аси, потом для Асечкиного мужа, потом для внучки Ириши, а теперь и для годовалого Петеньки.

Ящик елочных игрушек все пополнялся, но силы иссякали. Болела спина, кружилась голова. Шура было поверила, что теперь нечего бояться новогодних праздников, что ничего плохого не случится, и смело пошла к врачу. Результаты анализов пришли аккурат к Новому году. Оказалось, что это онкология, и довольно запущенная.

Умирать не хотелось, но и праздновать тоже. Шура заставила себя всеми силами уцепиться за радость, хоть малую, хоть игрушечную. Вспомнила, как в детстве в летнюю жару забиралась на антресоли, чтобы устроить себе Новый год. Она старалась отогнать от себя тоску по детям, которые уехали в другую страну, где нет снега, но нет и войны. Зовут к себе. Она обещала приехать, но теперь вряд ли… А елку надо украсить.

Несколько дней подряд Шура мастерила ангелов. Их получилось больше сотни. С десяточек повесила на елку, а остальных решила раздать людям. Ангелы были похожи на белых голубей. Она протягивала их прохожим и поздравляла с наступающим, желая мира и добра. Бабу Шуру очень быстро арестовали за антивоенную акцию. Потом, правда, отпустили, содрав штраф. Новый год опять не задался…

Канада

Леонид Лейдерман

Письмо в соседнее столетье, или Коханая вийде

Доброго Вам дня, шалом, реб Шолом-Алейхем, доброго Вам дня! Я пишу Вам из третьего тысячелетия и имею на это моральное право, потому что я, как и Вы, родом из второго. Там я с Вами и познакомился. Не лично с Вами, нет. Лично я – да, но не лично с Вами. Я даже не могу сказать, что я познакомился с Вашими произведениями, тоже нет. У меня в стенке, правда, стоят все шесть томов собрания Ваших сочинений, но я честно признаюсь: я начал читать эти сочинения, и мне не понравился их русский перевод. Не в обиду будь сказано переводчику. Я уверен, что он достаточно хорошо грамотен и в еврейском-идиш, и в русском языках; я не сомневаюсь также, что его выбрали как лучшего из других переводчиков. Но мои бабушка и дедушка говорили со мной на идиш, и я их понимал тоже русскими словами, но как-то не такими, как у Вашего переводчика. Может быть, потому что мои бабушка и дедушка родом из Винницкой области, а Вы – нет, и у Вас говорят немножко не так, как говорили у них. Немножко другой диалект? Может быть. Но это совсем не мешает Вам быть очень уважаемым человеком, и не только в среде евреев. У нас в Одессе одно время (долгое время) Мясоедовскую улицу называли Вашим именем – из уважения. (Это я нечаянно пытался показать Вам, как я бы переводил моих бабушку и дедушку.)

Названия улиц, нужно сказать, – не очень вечная память. Мне кажется, что они что-то вроде устойчивой разменной монеты. Названия улицам дает городская власть, а всякая городская власть живет с оглядкой на власть в государстве. А как может быть ина-

че? Иначе – это значит, что вместо этой городской власти должна прийти иная. А кому же это интересно? Никому не интересно. И теперь у нас улица Мясоедовская опять Мясоедовская. По-моему, в честь человека, дом которого был на этой улице первым. А тем, кто на этой улице жил или сейчас живет, это и не очень важно. Конечно, всегда найдется человек, который будет гордиться песней со словами «Мясоедовская, улица моя». Как были, наверное, люди, которые с гордостью подчеркивали, что они с улицы не лишь бы какой, а именно с Шолом-Алейхема. Ну и что?

Вообще-то, я должен сразу сказать, что пишу Вам как бы случайно. Ну не то чтобы совсем случайно, все у нас как будто закономерно, но все же мог бы и не писать. Если бы не конкурс. Вернее, если бы не Вика, а еще вернее – если бы не Эля.

Дело в том, что Эля, моя двоюродная внучка, или, скажем иначе, моя внучатая племянница, вышла замуж. Не сразу вышла замуж, а сначала они были вместе. Раньше сказали бы, что они состоят в гражданском браке, а сейчас это называется «быть вместе». Но потом они пошли в загс и расписались, то есть их брак, который до этой торжественной минуты признавался только гражданским сообществом, теперь был признан и государством тоже. И тогда устроили негромкую свадьбу, а на свадьбу пригласили и меня. Там я и познакомился с Викой, мамой Элиного жениха.

Раньше говорили – браки заключаются на небесах, мол, тайна сие есть. Тайна – это то, что всегда хочется разгадать. Было время (а может, оно где-то и не кончилось), когда только родители знали эту тайну: кто будет дочери жених, а кто сыну станет женой. Но молодые сами хотели эту тайну творить, а родители, мол, пусть эту тайну разгадывают. И вот пришло время. Не сначала под венец или хупу, а потом – вместе, а наоборот, сначала вместе – присмотреться, притереться, а потом уже решать: идти в этот самый загс или, может, не идти?

Хотя недавно познакомили цивилизованное общество с древним племенем, где до сих пор – то есть по сей день! – сначала девушка решает стать матерью, потом она сочиняет для будущего ребенка его (только его!) песню, потом выбирает, кто может стать отцом будущего ребенка, и научает этого будущего отца петь песню их ребенка. Вот только тогда и рождается семья. И получается,

что не такие уж и новаторы эти наши сегодняшние молодые, если не ждут родительского выбора и тайну брака сами и творят.

Только и так бывает, что за тайной встречи следует еще одна – тайна расставания. Правда, есть такая еврейская пословица: женщина, мол, ставит дом, женщина его и рушит. Но всегда ли так? Случилось такое и с моей внучатой племянницей Элей. Были они вместе в дружбе и согласии семь лет – не маленький срок! – и расстались. И расстались тоже в дружбе и согласии. И что? Женщина за это в ответе? Может, и женщина. Бывает так, что и сами двое не могут друг другу объяснить, что же, собственно, произошло. Бабушка моя, глядя на размолвку молодых (да и не молодых тоже!), успокаивала – мол, ночь помирит. Ночь – да, она волшебница, да еще и в библейские часы. Но не всегда, не всегда. Двое – это один на двоих интим, но всегда два собственных прошлых. И в этих двух прошлых есть свои собственные тайны, уже прошедшие, ушедшие навсегда – казалось бы, навсегда… Невинные и «винные», как болезни – врожденные и приобретенные… Но если они не высказаны, эти тайны… Они как будто одним своим существованием разрешают появиться новым тайнам. Я думаю, у наших двоих согласие в отношениях было, а дружбы – дружбы недоставало. Хотя причины могут быть и там, где их и не ждут.

А с Викой, мамой вчерашнего жениха Эли, я встретился еще раз, в Интернете, и мы иногда обменивались интересными для обоих сообщениями.

Тут нужно заметить, что возраст у меня был, конечно же, глубоко пенсионный, и время мое, свободное от прежней работы, я стал отдавать литературным опытам. И здесь, многоуважаемый реб Шолом-Алейхем, я должен попросить Вас не посчитать меня нескромным за то только, что я позволил назвать свои опыты литературными. Может, это и не литература, если строго посмотреть. Но если посмотреть не очень строго? Да, литература – это сочинительство. Но вот говорят, будто Лев Николаевич Толстой как-то высказал такую уверенность, что жизнь сама будет истории сочинять, а сочинителям останется только их записать. Да, в детстве я мечтал стать писателем. Но об этой мечте я вспомнил, только когда оставил работу, которая меня кормила. Вот тогда и обнаружилось, что что̀ бы я ни сочинял – оказывалось, что

это действительно было. Если не со мной, то с другими людьми. Конечно, строго говоря, никакое это не сочинительство. То есть не сочинительство, но все-таки литература. Такая вот несочинительская литература. И тогда можно считать, что опыты мои все же литературные. Так я сам себя убеждал. И вышла и одна книжка, и вторая, и третья. А третья вышла, как раз когда моя двоюродная внучка Эля познакомила меня с Викой, мамой своего избранника. И при этом не преминула сообщить, где можно ознакомиться с моими творениями. Вика ознакомилась и сразу стала моей читательницей. И вот пришло мне от нее сообщение – объявлен конкурс на премию имени Вас, реб Шолом-Алейхем, и что она считает, что мои замечательные рассказы вполне заслуживают этой премии. Я поблагодарил уважаемую Викторию за то, что она так считает, и задумался.

Дело в том, что я хоть только в детстве мечтал стать писателем, на самом деле всю жизнь что-нибудь сочинял – в основном стихи и заметки в стенгазету. И когда одесский крекинг-завод, на котором я имел честь работать, готовился отмечать свое двадцатипятилетие, и когда в честь юбилея был объявлен конкурс на лучшую песню, посвященную родному заводу, – я решил, что я должен попробовать. А почему нет?

Но тут нужно сказать, что когда Вы были в Одессе, реб Шолом-Алейхем, никаких нефтяных установок в ней не было и быть не могло. Завод запустили в работу в тридцать седьмом году, через двадцать лет после революции. После революции, которая начиналась еще при Вашей жизни, в пятом году, но оформилась во власть только в семнадцатом, а Вы покинули этот неспокойный мир в шестнадцатом. И в шестнадцатом, и в семнадцатом многие говорили, что революция – это большое несчастье. И эти многие были правы. Да, революции всегда приносили несчастье. Одним. А другим, наоборот, приносили счастье или надежду на счастье. Потому они и происходили время от времени, эти революции. И тогда наступали очередные новые времена.

На двадцатую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (так назвали события октября семнадцатого года), то есть в тридцать седьмом, Россию было не узнать. Правда, было и не найти многих и многих из тех, кто эту революцию

готовил, делал и защищал. (Революции пожирают своих детей – это не я сказал.) А в Одессе к этому времени было завершено строительство завода по переработке нефти. Нужно заметить, что это был особенный завод. Обыкновенный завод – что о нем можно сказать? Что там работают сто человек. Или тысяча. Или пять тысяч рабочих. А на этом заводе много чего и на земле, и под землей, а людей – не видно почти людей, очень мало людей. Уже потом на спецовках нашивочки такие были со словами «Труд людей – на плечи машин». Замахнулись тогда хорошо.

А потом была война… Вы многого не знаете, реб Шолом-Алейхем. Одесский завод эвакуировали на Восток, в город Омск, там его запустили для победы над врагом. А когда врага погнали на запад, в Одессу вернулись одесские нефтяники, кто выжил в эту страшную войну (которую, как и революцию, назвали Великой). А вместе с одесситами приехали и новые одесситы – помогать восстанавливать завод. Среди них был и опытный уже в нефтяном деле Арон Николаевич. Отца его, наверное, звали Колмэн, но, как повелось на Руси и как пелось даже в одной вполне интернациональной песне (по-армянски Ованес, а по-русски – Ваня; по-грузински он Вано, а по-русски – тоже Ваня), отчество от Колмэна («а по-русски – Коля») было Николаевич. Колманòвич – есть такая фамилия, но чтобы отчество – Кòлманович? А фамилия у Арона Николаевича была Степурский. Может, по жене. Но это отдельная история – фамилии у современных евреев. У Вас, кстати сказать, тоже фамилия не совсем своя.

У Арона Николаевича имя-отчество длинное, а сам он – коротышка, можно сказать. Как шутят у нас, метр с кепкой. Да и телом щупленький. Но это не беда: дело свое он знал. На смене семь человек, он – старший. Старший оператор, так называется должность. С ним на вахте стоять было спокойно. Быстро-быстро обойдет территорию, вернется в операторную, просеменит с остановками вдоль щита с контрольными приборами – и уже стоит рядом с кем-нибудь: «Слыхал новый анекдот?».

Старшие операторы, конечно, все разные. Вот Владимир Эдуардович, коренной одессит, свидетель красочной разгрузки в порту баржи с арбузами – вдоль Потемкинской лестницы, по цепочке, из рук в руки – наверх, прямо на бульвар. Когда

на установке что-то случается, Владимир Эдуардович – по-одесски мягко – восклицает: «Не может бить!» – хватает рабочий крючок для задвижек и резво выскакивает наружу. А есть и такой старший, кого и не найдешь, когда что-то случится. Появится, когда загорание там какое уже затушили, управились и без пожарников, а он: «Что тут было?». Говорили, во время войны определили его в особый военный отдел – Смерш, «Смерть шпионам». Война. Попался шпион – к стенке! А сам оплошал – так и самого к стенке могут. Вот у него, видать, страх оплошать так и не прошел.

Но бывают на заводе работы, когда и старший, и младший – все равны. Это в капитальный ремонт, раз в году. Тут нужно сразу много рук, и неважно, чьи они.

Сердце установки – громадная печь, в которой множество труб образуют гигантский змеевик – через него прокачивают сырую нефть. И чтобы этот змеевик почистить, нужно сначала открыть трубы. Мы с Ароном Николаевичем попадаем в одну пару. Он нахлобучивает на большой болт-пробку такой же большой стальной ключ с длинной ручкой, а я кувалдой сильно бью по ручке, чтобы пробку сначала сорвать с места, а потом с каждым новым ударом потихоньку отворачивать, отворачивать… Арон Николаевич, голова накрыта обычной кепочкой, после каждого поворота переставляет ключ под новый удар, и я снова взметаю свое орудие трудового успеха. И когда я в очередной раз обрушиваю кувалду на ручку ключа, деревянная рукоятка моей кувалды вдруг обламывается, сама кувалда летит – куда? – вверх, в сторону, рикошетит… Арон Николаевич спрашивает:

– Ты чего разошелся, лихач?

А мои глаза ищут кувалду – куда залетела? Так мы с ним оказались соучастниками счастливого случая…

И вот – конкурс на лучшую песню в честь двадцатипятилетия завода. Нужно попробовать! Конечно, музыку я ни написать, ни даже сочинить не мог, но понимал, что песню не декламируют. То есть хотя бы для себя – слова я должен петь… И уже есть что петь, и я уже пою (себе), и в каждом куплете последняя строка – «Факел Одесского крекинг-завода». Для меня, да и не только для меня, газовый факел над Шкодовой горой – это значит, что завод работает и что на нем все в порядке.

Подошел срок, прием заявок закончился, и тут я узнаю, что претендентов всего двое и что Арон Николаевич – мастер не только анекдоты рассказывать, но и песни сочинять. И мы опять вместе, только уже не как напарники, а как соперники.

Победил Арон Николаевич. Проигрывать еще никому не было приятно. С текстом моего старшего соперника я знаком не был и увидел его только в праздничной заводской стенгазете. Должен признаться, что не согласился с решением жюри. Моя песня мне нравилась больше. Наверное, подумал я, решили не обижать матерого нефтяника и из этих благородных мотивов покривили душой. Жалко было только, что о моей боевой песне никто не узнает.

Но я был вознагражден! К юбилею завода было заказано еще подготовить и напечатать специальный сборник, его сделали и вручили каждому работнику завода. Сборник назвали «Хозяева Шкодовой горы». И включили в него песню не Арона Николаевича, а мою. Но…

Но прошли годы, и я, давно покинув родной завод, увидел, что людям (и даже государствам!) свойственно не только прятать свои недостатки, но даже пытаться выдавать их за достоинства. Так произошло и со мной. Газовый факел, который в моей песне был символом трудовой славы, на самом деле и в Одессе, и на других заводах горел потому, что газ не умели использовать весь без остатка, и бесхозяйственный этот остаток щедро сжигали. Было ли это известно Арону Николаевичу, я не знаю, но то, что этого мальчишеского бахвальства в его песне не было, так это точно.

Вы многого не знаете, ребе. У завода своя жизнь. Сейчас он, что называется, в коме, и никто не знает, куда он из этой комы выйдет – в реконструкцию или, не дай Бог, как сказали бы верующие, в металлолом. А что до конкурса, то он для меня был первым.

А был и второй.

Конечно, на Вашей памяти, уважаемый реб Шолом-Алейхем, большое событие в культурной жизни России, а значит, и в Украине – празднование столетия со дня рождения Пушкина.

(Вот я поймал себя на том, что написал «Пушкина» без упоминания имени-отчества. Как будто неуважительно, как будто запанибратство нескромное. Да нет, просто лишнее это. Просто – кто ж не знает? Заметьте: это я не просто так написал.)

На Вашей памяти столетие, а на моей – уже двухсотлетие со дня его рождения. Двухсотлетие! Это ведь немало, правда? Уже не монархическая Российская империя пала, уже совершенно иначе устроенный Союз социалистически настроенных республик распался – оболочка из праведных лозунгов на знаменах не выдержала неправедных протоколов с грифом «Совершенно секретно». То есть много воды утекло. А Пушкин – Пушкин как был почитаем, так читаем и почитаем остался. И Одесса – в тяжелых родах новой государственности – все же не забыла: 1999 год. Пушкину – двести лет. Дата – круглей не бывает.

Город готовится к торжествам, и – зачем отказываться от традиции? – объявляется конкурс на лучшее посвящение. Естественно, в стихах.

Что Вам сказать, мой дорогой Шолом-Алейхем? Если человек собирается писать посвящение в стихах, это значит, что человек считает себя поэтом. Одно уже это, согласитесь, не совсем скромно. Если человек собирается писать посвящение в стихах – кому? – Пушкину, это… Хотя, с другой стороны, если все будут скромничать, то Пушкин может остаться с посвящениями только в прозе. Это не смертельно, хотя (это уже с другой другой стороны) пусть Александр Сергеевич и прозаик тоже, но в первую очередь все-таки поэт, зачем же лишать его удовольствия послушать братьев по перу? Интересно же, как пишут спустя столько лет…

И опять у меня были сомнения, но я опять решился. И я Вам скажу почему.

Вот посмотрите. В первом четверостишии моего посвящения было: *В России я рожден, в Твери. / Взращен, благословясь, в Одессе. / Одесса, право, стоит мессы: / Здесь Пушкин, что ни говори.* То есть я как бы обязан что-то приятное в его адрес предпринять. Как в знак благодарности, что ли. Но одного этого, наверное, мало – мало ли таких, как я? Была еще одна причина.

Во втором четверостишии у меня получилось: *Я толком Вас еще не знал, / Когда на Молдаванке бранной / Меня наш двор за эпиграмму / По-царски Пушкиным прозвал.* Ну и, конечно, сразу же нужно было за такую смелость, или даже наглость, – извиниться, объясниться как-то нужно было. И я, конечно, попробовал и объясниться, и даже подольститься попробовал: *Одесса чтит поэта*

сан, / («Сан» – это ли не комплимент?! Только – истина дороже, от правды уходить не стал.) *Но декламатор из психушки, / Но с Мясоедовской цыган / Курчавый – носят имя Пушкин.*

Должен сказать: я тогда искренне считал, да и сейчас считаю, что Пушкин не должен бы обидеться на все это. Не знаю, как поминали Пушкина в городе в те годы, когда жили в Одессе Вы, но в наши годы можно было услышать такой милый разговор. «Ты уже сделал домашнее задание по арифметике?» – «Нет еще». – «А кто за тебя сделает, Пушкин?» Вот такой разговор. Ну хоть бы задание по письму. Так нет же, и по арифметике тоже… Поэтому и дальше – как бы в пояснение возникших уже отношений: *Одесса – штучка! Поутру / Всё – гладь, а к ночи, глядь, споткнулись… / А Вам Одесса приглянулась. / И Вы пришлись ей ко двору. / Еще бы! С властью не в ладу!* Вот ведь в чем родство! Я думаю, Одесса и в Ваше время к власти относилась так… так себе. Ну раз без нее нельзя, так пусть уже будет. У нее, у власти, мол, своя жизнь, а у нас – своя. Да, зарабатываем. Немножко больше, чем в другом месте. Где нет моря. Немножко больше –значит, надо делиться. Надо! Но чтоб ее любить?

Давайте поменяем тему…

Здесь байки до сих пор в ходу, / Как Пушкин, сам себе козак, / Терпеть обиды не дурак, / Остёр – недолго до беды – / Все ж сух выходит из воды.

Кстати, о воде. Мальчиками мы слышали не один анекдот о Пушкине – то есть Александр Сергеевич был в Одессе популярен. Причем анекдоты были привязаны к конкретным местам Одессы. То речь шла о канцелярии губернатора, то о гостинице, в которой Пушкин жил. Рассказывали, как на каком-то балу Пушкин отлучился на улицу, а вернулся с забрызганными штиблетами. Одна барышня язвительно осведомилась: «А что, Пушкин, на улице дождь?» – «Нет, ветер», – деловито удовлетворил ее любопытство Пушкин.

То есть пестрое многолюдье Одессы знало прекрасно, что он известный поэт, но интересен и любим он был прежде всего как человек, необычный, невзрачный вроде и яркий тем не менее. И у меня как-то сама собой пошла его веточка сугубо личная, интимная, которая никого в Одессе никогда не оставляла равно-

душным. *Как Вы, с Пересыпи к таможне / Подошвой города пройду, / На взгорок, встарь пустопорожний, / Стопами Вашими взойду. / Вперед. Тропа. Уступ. Внизу волны шептанье. / Настоянный на травах зной. / В груди томленье упованья / На встречу с милою судьбой…* Вы помните, конечно, его «как ждет любовник молодой минуту верного свиданья». Я как бы просто вернул акцент, который Пушкин тогда как бы уступил вольности святой и дорогим его (и не только его) сердцу друзьям-декабристам.

И всё. Дальше пошел заключительный аккорд, близкий, как я убежден, всем, кто знал и любил Пушкина-поэта, Пушкина-человека. *На Черной речке черный снег / И боль, что Вас так рано нет.*

Я закончил стихотворение и пересчитал строки – перебор! Условия конкурса разрешали только двадцать восемь строк, а у меня на четыре больше! И я ведь понимаю, что правила – это тот стержень, на котором держится любое правосудие. Да, мол, наверное, у вас все правильно, но не на той бумаге, на какой предписано. Предписано! Нарушили! Увольте! И извольте оформить по правилам. Приходите завтра! (А в моем случае – через сто лет.)

Но бывает – осеняет! Меня осенило: нужно первые четыре строки записать как эпиграф. Он, во-первых, как бы сам по себе, а во-вторых – Александр Пушкин для Одессы не Пушкин вообще, а Пушкин одесский. Нет, и вообще тоже, конечно, толковые пушкиноведы и у нас есть, но его тринадцать месяцев в Одессе – это же тринадцать месяцев с одесситами. Кто же, если не мы, мол. Одесса Пушкиным славна. Не только им, но им особо. Я думаю, уважаемый реб Шолом-Алейхем, Вы бы со мной тоже согласились.

Ну а если строгое жюри все же запротестует, то можно ведь без большой потери – потерять эпиграф, и – вот вам ваши двадцать восемь!

Я отправил свое стихотворение, и мне его не вернули. Не вернули – и не вернули, им виднее. А я почувствовал большое облегчение и занимался своими обычными делами, уже не отвлекаясь ни на какие конкурсы. Я свою работу сделал – теперь пусть свою работу сделает жюри.

И оно ее сделало, эту работу, и я, как когда-то на заводском конкурсе, призером не стал. Были опубликованы стихи, которые выиграли конкурс. Хорошие, добротные стихи, мне понравились.

Они бы мне еще больше понравились, если бы были посвящены не Пушкину, а какому-нибудь другому поэту. Когда об умершем поэте говорят, что «Солнце русской поэзии закатилось», какие стихи что могут добавить к этой короткой фразе? Конечно, и Пушкина можно критиковать. Я, например, не очень доволен, как у него «ноябрь уж на дворе», какой-то брюшной ноябрь получился. А то вот сейчас обращают наше внимание, что был он в своих эпиграммах и жёсток, и жесток иной раз, и несправедлив… Так ведь и на солнце пятна бывают… А солнце закатилось… Я, конечно, свое мнение держал при себе, да и сам себе молча задавал вопрос – а что, мол, победу мне надо было присудить, скромнику?

Только, как и на крекинг-заводе, так и здесь, кому-то и мои стихи показались. Зазвонил в нашей квартире телефон – меня спрашивают. Женщина – себя не называет, у нее только Пушкин в голове – приглашает выступить в Зеленом зале Дома ученых (это в бывшем доме Толстых на Сабанеевом мосту, Вы, реб Шолом-Алейхем, должны знать). Приглашает прочитать мои «озорные», как она выразилась, стихи. (Где она там мое озорство усмотрела, я не знаю.) Неожиданно это было, конечно. Конечно, и приятно тоже – вот, мол, не прошли мимо… Но читать в Доме ученых… Это не заводской клуб, где ты всех знаешь… Да и юбилей чей… Не завода, чай…

Я заробел и – отказался. А потом пожалел. Ведь писал, чтоб кто-то прочел. А так – кто-то послушал бы. Но – заробел, и некому было шепнуть «Не робей». Так завершился мой второй конкурс.

И вот вам, пожалуйста, – конкурс на литературную премию имени Вас, многоуважаемый реб Шолом-Алейхем, новое искушение. Виктория считает, что мои замечательные рассказы… Кто она такая, эта Виктория, что считает, что если она так считает, то жюри уважаемого конкурса тоже так посчитает? Она читала мой рассказ своей маме, и мама плакала. И этого достаточно, чтобы назвать рассказ замечательным? А если бы мама смеялась? О Ваших сочинениях, реб Шолом-Алейхем, говорили, что Вы смеетесь сквозь слезы…

Я хочу быть скромным. Я не хочу претендовать на премию. И все-таки я хочу принять предложение Виктории. Не только потому, что не хочу обидеть ее искреннее желание увидеть меня

известным литератором, известным не только ей и ее маме, нет. Я хочу посостязаться. Мне известны правила спортивных конкурсов – одна восьмая финала, одна четвертая, одна вторая… Мне интересно посмотреть, как далеко я уйду от старта. Может быть, совсем недалеко. С дистанции сходят и на первом круге тоже…

Но сначала нужно познакомиться с условиями конкурса. И первый мой вопрос – произведения на каком языке будут приниматься на конкурс?

И тут, реб Шолом-Алейхем, я тоже должен объясниться. Вы знаете, что это такое – отношение государства к языкам народов, живущих в этом государстве. Мой дед по матери был сельским кузнецом. Его дети получили образование в хедере на еврейском языке. Но дальше хедера на еврейском языке не учили. А если дальше учили, то на государственном языке Российской империи. А если еще дальше, то учили по пятипроцентной квоте. Да что я Вам рассказываю! Ваше поколение это пережило на собственных судьбах. Но это я к тому, что и украинская нация, которой предписали быть территорией оседлости для евреев, украинская нация, которая как будто у себя дома, тоже, однако, не могла учить своих детей на своем языке. Вы это тоже знаете лучше меня. Вообще-то, это очень интересная тема, и она может увести нас далеко-далеко, так что скажем только, что это не от большого ума: величайшую находку человечества для общения – языки – пытаться запретить, заменить, отменить. Это все равно что сказать: «Чтоб у тебя язык отсох!» – это, скажите, может быть от большого ума? Но, конечно, эта тема не такая простая.

Так вот, война, которую вела Россия при вас (не знаю, как она называлась при вас), при нас называлась Первой мировой. То есть в мире она, конечно, не первая, но как мировая, то – первая. Кто-то, кто первый ее так назвал, видимо, ужаснулся количеству погибших и покалеченных на той войне. И ужаснувшись, произнес это слово – «первая». То ли первая такая ужасная, мол, раньше таких не было, то ли первая, потому что будет вторая, похлеще, – как предчувствие. И если как предчувствие, то предчувствие его не обмануло. Вы ушли в мир иной в шестнадцатом, а через двадцать три года началась Вторая мировая. Как выяснилось здесь много лет спустя, началась эта война не без участия России,

которая тогда была уже не империя, а, как отмечалось выше, дружеский союз братских народов. И на этот раз война, как и при вас, была с Германией, говорящей, понятное дело, на немецком языке. Вторая мировая была поужасней, чем Первая. И это понятно – человечество время не теряло и научилось не только хорошо нефть перерабатывать, но и хорошо убивать людей. «Хорошо убивать» – как это звучит? На любом языке.

Война закончилась под Берлином капитуляцией фашистской Германии (такого слова – «фашизм» – в Ваше время еще не было, правда?). Как я понимаю, акт о капитуляции был составлен не только на русском, английском и французском языках, но и на немецком – для однозначного понимания.

В комнате моей соседки по квартире Марьи Дмитриевны (спустя много лет после этой капитуляции) висел на стене портрет ее сына Сережи, с виду уже не мальчика, но еще и не мужа. Он погиб в эту Великую, как ее назвали у нас в Советском Союзе, войну. Еще ее назвали Отечественной. Вы не можете знать, реб Шолом-Алейхем, декрета восемнадцатого года «Социалистическое Отечество в опасности», подписанного Лениным, это было уже после вас. И тоже было связано с Германией. Наверное, оттуда, а может, от войны еще 1812 года, с французами, пошло это ответственное слово – Отечественная. Ответили сполна граждане социалистического отечества. Марья Дмитриевна ответила своим сыном.

Их семья жила в Харькове, когда в сорок первом немцы (так тогда говорили) напали на СССР. Когда германские войска подходили к Харькову, Марья Дмитриевна, жена офицера воюющей Красной армии, в страхе за себя и двух своих детей бежала из Харькова в село к дальним родственникам. Там, под оккупацией, дожидались – и дождались! – освобождения. Как близких родственников, встретили солдат-освободителей. В их хате на постой поселились бойцы-разведчики и быстро пришлись по душе и хозяйке хаты, и Марье Дмитриевне, и уж, конечно, детям, особенно семнадцатилетнему Сереже, который от них не отходил. Наши успешно наступали, воинская часть в селе передохнула, пора было уже выступать, тогда и решилась Марья Дмитриевна попросить командира разведчиков взять к себе Сережу – ему все равно вот-вот призываться на фронт, а тут хоть будет она знать,

что попал к хорошим людям. А командир не против, а закон позволяет, а Сережа – что там говорить… Люди действительно были хорошие. И хорошо делали свое трудное и опасное дело. И как близкие близкой написали Марье Дмитриевне душевное письмо, как погиб их товарищ, а ее сын, Сергей Попов. С тех пор если по телевизору вдруг зазвучит немецкая речь, Марья Дмитриевна его выключала или переходила на другой канал. Да, Гёте, да, Гейне…

А ведь у нас война, реб Шолом-Алейхем. И не с немецкоязычным германцем, а с русскоязычной Россией. Которая теперь не империя и не союз, а – федерация. А в ваше время было такое слово – «федерация»? А слово «макулатура»? Макулатура – это ненужная бумага. Устаревшие учебники, например, вместо которых в школах раздают новые. Хотя… В ваше время бумага была не очень в ходу – страна-то была полуграмотная в основном, а местами и неграмотная вовсе. Старьевщики были, это да. А ненужная бумага… Сколько ее могло быть… А у нас… А у нас бумага давно в большом ходу. Читающая страна. Бесплатное и всеобщее образование. Чтобы книга была выгодна в продаже, ее печатали тиражом не меньше трехсот тысяч экземпляров. Вы представляете себе такие тиражи? Хотели сделать лучшую страну в мире. Не получилось. Но кое-что успели. Построили в Одессе крекинг-завод – раньше не было. Обязали читать книжки – раньше не обязывали.

И вот говорят, что хорошо бы собрать книжки на русском языке и сдать их на переплавку, а вырученные деньги передать на алтарь Отечества. Потому что у нас война с русскоязычной Россией. Да, Гёте, да, Гейне… И что? И Пушкин? И Шекспир в русском переводе? И, простите, шеститомник реб Шолом-Алейхема на русском языке тоже? Наверное, нет. Наверное, кто-то будет смотреть. Потому что макулатурщики – они книги не читают, они их взвешивают.

Но Марья Дмитриевна выключала телевизор, когда слышала немецкую речь. Что делать другой, украиномовной Марии, осиротевшей или овдовевшей от руки российского солдата, говорящего на русском языке? Что делать третьей Марии, осиротевшей или овдовевшей и притом отродясь говорящей на хорошем русском языке? Ведь язык – не личная принадлежность германского

или российского солдата. Или германского, или российского фюрера. Что делать?

И я, уважаемый реб Шолом-Алейхем, пишу письмо в комитет по премии Вашего имени с вопросом, могу ли я представить на конкурс книгу, которую напечатали на русском языке. Я написал письмо на украинском языке, который в Российской империи пытались даже вовсе запретить, а в сегодняшней Украине он, как и положено, – официальный язык государства. И получил ответ тоже на украинском языке. Что в условиях проведения конкурса не указаны ограничения на язык произведений, принимаемых к рассмотрению. (То есть между строк как бы упрек – мол, с чего вы это взяли?) И тогда я собрал какие нужно бумаги и приложил к ним три экземпляра книги, которую моя дорогая Виктория еще не видела, но если бы увидела, то наверняка сказала бы, что и эта книга тоже замечательная. Приложил и пошел на почту.

Ближайшее ко мне почтовое отделение находится на Канатной улице угол Троицкой, недалеко от дома, в котором, будучи в Одессе, Вы жили, уважаемый реб Шолом-Алейхем. Вообще-то, Канатная улица изначально связана была с почтовым ведомством. Вы наверняка знаете, что ямская еще почтовая станция находилась в пределах Александровского парка, ныне носящего имя хорошо известного Вам Тараса Григорьевича Шевченко. От станции этой, обязательно пересекая Канатную, выезжали резвые почтовые лошадки на Почтовую же улицу (сейчас она – улица тоже хорошо известного Вам литератора Жуковского), и – прямо, прямо, до Тирàспольской дороги – к заставе, к выезду из города. Не знаю, какой дорогой увозили мою книжку на конкурс, – главное, что увезли, и можно больше о конкурсе не хлопотать: я свое дело сделал.

Обо всем можно забыть, только не о войне. У нас война, реб Шолом-Алейхем. Между кем и кем? Между вчерашними союзниками в самой истребительной войне двадцатого века. Союзниками – это даже не то слово. Сейчас на слуху слово «побратимы» – о, оно точно отражает суть человеческих отношений. В той войне, как бы она ни называлась, Великая Отечественная или, вся целиком, Вторая мировая, – те, кто воевал рядом,

становились родными. Откуда бы они на эту войну ни пришли. Конечно, речь о тех, кто воевал, а не прятался. Речь и о тех, кто на оружейных заводах падал у станка в голодном обмороке – всё для фронта, всё для победы! Откуда бы они к этому станку ни приехали. Побратимы. Их породнила необходимость защищать своих детей, своих родителей – свой дом. А сегодня… Что мы имеем сегодня? Сегодня дети и внуки тех побратимов – противники, враги? Понять это противится разум, понять это противится сердце. У нас война.

Сегодня воскресный день, но разве у войны бывают выходные? Привычно воют сирены, на экране телевизора (это как на экране синематографа, только дома) внизу красная полоса с предупреждением – «Повітряна тривога». По сигналу воздушной тревоги положено уходить в убежище, но я собираюсь в парк. Специально по парку стрелять не должны, но если и будут… От судьбы не уйдешь.

В парке я отнюдь не один. Тòлпы не толпы, но народу много. Кого обгоняю, за кем плетусь не спеша. Останавливаюсь у памятника Неизвестному матросу. Чтоб Вы знали, реб Шолом-Алейхем, этот памятник поставили после той большой войны, до которой Вы, к счастью, не дожили. Здесь похоронен матрос, имя которого не удалось установить. Потому у памятника и название такое. Не знаю, это придумка одесситов или романтическое заимствование, да это и неважно. Это место почитаемо. Потому что нет войны, где не было бы без вести пропавших. И нет войны, где каждого погибшего можно было бы на щите принести к родному месту для прощальных похорон. И сюда приносят цветы. Цветы от живых – известным и неизвестным погибшим за святое дело, за право на свободную жизнь.

Над морем туман. Он и здесь, над обрывом, уходящим вниз и вдаль, к Ланжерону. Где-то рядом звучит мелодия, и я не сразу могу понять, откуда она. Пока не вижу сидящего на парапете музыканта. От проходящей мимо цепочки людей отделяется парень и наклоняется положить какую-то денежку уличному (или парковому?) музыканту. Это дело парня – оставлять знак внимания. А дело музыканта – не оставлять своего занятия. Флейта занята – она плачет. И это неестественное сочетание…

Привычно воет сирена воздушной тревоги. Неторопливо, как будто не слыша монотонного воя, идут и идут пары, группки, резвятся на аллее дети, бесстрашные дети – ведь с ними родители! Устремлен ввысь монумент памятника – ввысь, в небеса, где просторно бессмертным душам, прежним и новым. А здесь, внизу, плачет флейта.

Я уходил из парка. Время как будто сместилось, казалось, что вот-вот опустятся ноябрьские сумерки, и нужно спешить домой. Встречный ветерок наполнял ноздри острым туманом, смешанным с легким тленом опавших листьев. Позавчера освободили Херсон.

В Барятинском переулке на узком тротуаре, чтобы пройти, нужно обойти мусорный бак. А завтра, дорогой реб Шолом-Алейхем, приедет сюда специальная городская машина и опрокинет этот бак в свое гостеприимное чрево. Это вместо знакомых Вам (и доживших до наших дней тоже) огромных каменных смитников в одесских дворах, которые опустошались совсем не так, совсем не так… За сто лет многое здесь изменилось. Многое.

А ночью мне приснился сон.

Сначала я как будто проснулся от боли в сердце. И представил себе, что кардиолог спрашивает меня, где именно болит. И я не знаю, что ему ответить. Я действительно не знаю. Я не знаю устройства своего сердца. Болит где-то в середине. Может, и у всех болит в середине, а вправо или влево только отдает болью? И с этой пустой мыслью я снова засыпаю. И снится мне, будто мы с женой сидим в гостях у тети Бети с дядей Исаком, они перед нами на каком-то возвышении рядом с громадным голубым вроде холодильником с орденами-магнитиками на дверце-груди. И откуда-то сверху, из-за холодильника, под клейзмерский оркестр звучит, заполняя все пространство, незнакомая песня на еврейском языке с припевом

Рэйзл-Рэйзл, Рэйзл-Рэйзл,
Тра̀м-там, та̀м-пам, тра̀м-пам, та̀м-пам,
Рэйзл-Рэйзл, Рэйзл-Рэйзл,
Тра̀м-там, та̀м-пам, па̀м!

Дядя Исак благодушно улыбается, а тетя Бетя не может удержаться и сидя пританцовывает. Песня заканчивается, и звучат слова «от гымахт а фэрц!». И тогда тетя Бетя – она трясется от хохота и даже что-то проливает на пол, она не знает, что мы давно не слышали еврейской речи, и извиняется за неприличное слово в конце. И я вспоминаю это неприличное слово – оно означает «пук», и мне тоже становится смешно – этим пуком завершился завзятый танец Рэйзл – Розочки.

И я снова проснулся. Прислушался к сердцу – оно не болело. «Спасибо тете Бете, – подумал я. – Не болит!»

А утром, после завтрака, убрав со стола, я включил телевизор и – замер. Музыка, другая музыка, знакомая мелодия, известная песня, но – без слов, только мелодия. На экране – человек в военной форме (сейчас не поймешь, офицер или рядовой). Играет на скрипке. Сосредоточенно, даже как-то отрешенно. Играет известную песню, вряд ли известную Вам тоже, реб Шолом-Алейхем, – «Ніч така місячна…». И первая моя ассоциация – «поющая эскадрилья» из много раз смотренной кинокартины о той войне, из культового фильма (это, реб Шолом-Алейхем, из языка нашего времени). В том кино тоже военная форма, и завтра снова в бой, но – все забыто, потому что поется «Ніч така місячна…». А сейчас передо мной экран телевизора, и слов нет, только мелодия. Льется. Завораживает. Скрипка не нуждается в словах, у нее свой язык. Слова̀ у меня в голове, а там, в студии телеканала… Скрипка – что она хочет? «Вийди, коханая…» Скрипка не просит, она – молит, смиренно молит. Очень молит. Очень сильно молит. О счастье. О любви. О жизни…

Это, видимо, конец интервью. Кончается эфирное время. Ведущая сожалеет. И я сожалею вместе с ней. О чем? И я чувствую, как у меня поползла по щеке слеза – слеза чего? Тоже тихой мольбы? Я прислушался к своему сердцу – оно не болело…

Почему не болело сердце после песенки о Рэйзл, я знаю. Мирная жизнь. Люди веселятся. Они немножко грубоваты, да, но не злобивы, нет, они добры, они просто в хорошем настроении и не прочь пошутить и подшутить, только и всего… Но почему сердце не болело и после скрипача? Ведь завтра в бой, и кто-то из поющей эскадрильи из боя не вернется…

Я понял. «Вийди, коханая…» Это сильнее, чем война. Скрипка не просто молит, она – хоть и без слов – и не сомневается, что все пройдет, все пройдет, и – коханая вийде…

Я пошел к своему компьютеру – продолжить письмо Вам, реб Шолом-Алейхем, о том, что у нас война между Россией, которая напала, и Украиной, которая обороняется. И что несмотря на войну Киев снова объявил конкурс на литературную премию Вашего имени.

Хорошего дня Вам, уважаемый Шолом-Алейхем, хорошего дня Вам и нам. Будем скромными и не станем загадывать на вечность – хорошего дня!

Михаил Пойзнер

Баротравма уха

Случай из одесской жизни

...Сегодня в Одессе практически не готовят водолазов для производства. А тут почти за углом и море, и порты, и корабли... Для обслуживания всего этого нужны квалифицированные специалисты, которые могут «идти под воду» и, что немаловажно, потом вынырнуть живыми и здоровыми.

А раньше – и специальные водолазные школы, и курсы при ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), и разные учебные комбинаты. И соответствующий строгий контроль... Настоящее водолазное дело – это тебе не модный теперь «дайвинг»...

К чему это я?

Какое-то время я был председателем ведомственной комиссии при Госфлотинспекции по аттестации водолазов на допуск к обследованиям гидротехнических сооружений в морских портах.

За много лет знал практически всех «рабочих» водолазов – достаточно упомянуть только «Отряд аварийно-спасательных и подводно-технических работ» (АСПТР) объединения «Черномортехфлот» и «Черазморпуть». Понятно, водолазы знали и меня.

По установленным правилам к аттестации допускались водолазы, в обязательном порядке прослушавшие лекции по морской гидротехнике в Институте повышения квалификации Минморфлота (ИПК ММФ) с последующей сдачей зачетов. Тогда в Одессе это заведение находилось на ул. Канатной, 42 (в здании бывшего экипажа средней мореходки).

И вот как-то вечером просматриваю список экзаменующихся. Тут в глаза сразу бросилась знакомая фамилия

давнего школьного приятеля, который непонятно зачем вдруг решил заняться «водолазкой». Набираю его: «Это ты? И оно тебе надо?!».

В ответ: «Оно мне вообще не надо. Тут получилось, поспорили… Надо блеснуть перед одной подругой… И чтоб по-настоящему зауважала. Потому документ надо самый козырный от самых козырных. Чтоб не просто бумажка от какого-то дяди… Тут, может, решается моя жизнь. Выручай».

Ну точно как в той песне: «Наш Костя, кажется, влюбился…». А здесь как раз не кажется. Короче, пан или пропал.

Тогда я: «Ну хорошо… А что спросить, чтоб не мордой в грязь?».

Пауза… Он неуверенно: «Ну спроси хотя бы за баротравму уха. Так, кажется…».

На том и порешили.

Аттестация на следующий день.

Первыми, помню, пошли николаевские водолазы. Спрашиваю: «А какое у вас базовое образование?». Они что-то «не догоняют». Нервничаю: «Ну чему вы учились, какое основное образование?». Николаевцы как-то дергано: «Вообще-то, мы электрики…».

Я тут-же: «Электрики?! Так какого черта лезете под воду? Что, на земле мало столбов, мало проводов?!». Молчание…

Продолжаю: «Ладно. Ну, вот-вот уже надо идти под воду. С чего начинать?». Они как-то испуганно скороговоркой и все не по делу.

Решительно отправляю доучиваться.

Теперь остальные экзаменующиеся насторожились.

Тут ко мне тихо подходит директор ИПК и доверительно: «Сейчас будет отвечать, так сказать, наш деловой партнер. Вообще, он так занят, что не смог даже быть на лекциях по гидротехнике. Может, к нему как-то снисходительно?». И называет фамилию как раз моего школьного знакомого. А вокруг никто даже не догадывается, что это мой близкий приятель!

Я строго: «Ах, так! Товарищ такой-то, ну-ка подойдите! При таком отношении к предмету отвечать по билету для вас большая роскошь! Будете отвечать только на дополнительные вопросы». И сразу билет – в сторону, уже «спас» его от билета.

Комиссия молчит.

Спрашиваю: «Под воду ходим? Испытывали ли какие-то неприятные ощущения?». Дальше: «Бывает, например, баротравма руки или ноги?». Короче, подвожу к уху!

Он спохватывается: «Бывает баротравма уха!».

Хорошо, рассказывайте.

Что-то как-то с горем пополам «прошумел». Одобрительно киваю головой…

И тут один из членов комиссии внезапно наезжает с тяжелым вопросом: «А как выводить людей с затонувшего судна?». Задал вопрос и, вижу, загордился. Мол, какой продвинутый.

Я решительно и жестко: «Вопрос этот снимаю. Можете на него не отвечать». И тут же вдогонку: «А вы, задавший такой сомнительный вопрос! Вы сами когда-нибудь выводили?». Он как-то замялся: «Почти нет…». Я с облегчением: «Не дай Бог, чтобы и ему когда-нибудь пришлось…».

Аттестация этого, «с ухом», окончена.

Прошло несколько лет.

Мой школьный приятель пропал из вида. Хотя я знал, что, если он когда-то и подходил к морю, то только для того, чтобы окунуться по пояс.

И вот как-то стою на проспекте Шевченко на троллейбусной остановке. Притормаживает дорогая машина. Громкая музыка, рядом с водителем эффектная девушка. Продолжительные сигналы: «Что, не узнал?! А это моя жена! Понял?!». И, наверное, для большей наглядности берется за ухо: «Баротравма уха! Уха!».

…Чего не сделаешь ради любви?!

Как раз в судьбе моего приятеля путь от уха к ее сердцу оказался коротким.

Смутно подумалось: «Может, и я какой-то *подводной* бумажкой помог кому-то устроить настоящее *земное* счастье.

И без «баротравмы жизни»…

Александр Хинт

Две миниатюры

Как прикажешь тебя понимать?

О существовании слова «оргазм» Харитонов узнал от Степана Петровича. А именно – он услышал его в качестве ответа на вопрос: «Как новая водка, Степа? Пробовал?».

Получив ответ, Харитонов немного помолчал. В жизни он уже сталкивался с неочевидным, а то и вовсе невероятным, так как успел поработать дворником. Однако, когда он посъыпал тополиный пух солью, приговаривая «ты все равно у меня растаешь, тварь», ЖЭК решил расстаться с ценным сотрудником. Законы природы неумолимы, а делирий есть делирий, с ним шутки плохи.

Итак, Харитонов немного помолчал, переваривая услышанное. А не переварив, решил уточнить.

– Я про водку, Степа. А ты что сказал?

– Оргазм, говорю. Оглох, что ли, Харитонов?

Нет, не послышалось. Харитонов еще немного помолчал, пожевал губами ускользающие смыслы.

– Я тебя по-человечески спрашиваю, Степан Петрович. А ты мне: горгаз, горгаз… И кто из нас оглох?

– Да, извини, – сосед едва удерживал смех. – Ты не глухой, Харитонов. Ты тупой.

– Я тупой?! Сам-то хоть понимаешь, чего говоришь?

– Ну да, в целом. Понимаю.

– И чего? Растолкуй по сути.

– Ну оргазм… Слово такое.

– Ясен пень, слово! Но как прикажешь тебя понимать?

– Понимай как есть, Харитонов. Оргазм – это… типа, удовольствие.

– Тьфу ты, блин! (Харитонов сплюнул.) Что за странный народ эти люди? Обычное удовольствие, а столько крика. А гонору-то, гонору сколько!

– И сразу сказать, Степа, ты, конечно, не мог. Мол, водка как водка, получил удовольствие. Обязательно выеживаться? Просто удовольствие. И при чем тут твой керогаз?

– В том-то и дело, – Степан смотрел строго, – не просто удовольствие. А удовольствие большое, очень сильное удовольствие. Типа, наслаждение. Понял теперь?

Услышав «наслаждение», Харитонов и вовсе приуныл.

– Не томи меня, Степа. Какое еще, к хренам, наслаждение?

– Большое наслаждение. Как если восторг по всему телу происходит. У тебя был когда-либо восторг по всему телу, Харитонов?

Дворник автоматически ощупал больное колено, вспомнил некоторые другие свои органы. Кашлянул.

– Лады, пусть по-твоему будет. Только скажи мне, на что это похоже?

– Оргазм?

– Ну да. Вот когда премию вдруг случайно дали? Похоже?

– Та не, сравнил… Тоже мне, премия.

– А когда с бодуна, а она уже под рукой, родимая, тут как тут? Можно сравнить?

– Вряд ли. Говорю тебе, ни с чем не сравнимое, – Степан Петрович мечтательно смотрел на облака. – Так говорят.

И вот этот мечтательный взгляд только подлил масло в огонь. В редкие часы просветления мозг Харитонова обладал незаурядной цепкостью, и это выделяло его из общей массы среднестатистических алкоголиков.

– Говорят, говоришь? Получается, сам тоже не знаешь, вякаешь чего-то, а не понимаешь чего. Где ты вообще такое слово взял?

– Оргазм? Если честно, в трамвае услышал.

– Хех! – Харитонов мелко засмеялся. – В трамвае, ты понял! Да мало чего там болтают бабы с кошелками.

– Не, не бабы, молодые девки были. Оргазм чисто улет, говорят, и тоже ржут. Но не так дебильно, как ты. Супер, кайф, просто оргазм, говорят, и все такое.

– Ну ты даешь, – Харитонов жалостливо смотрел на соседа. – И вроде не дурак ты, Степан Петрович, на первый взгляд. А молодежь – это что такое? Она в жизни ничего не понимает, потому что молодая.

– А ты, Харитонов, когда молодой был, понимал?

– Ни фига я не понимал, Степа, – Харитонов помолчал. – А сейчас понимаю еще меньше. Я не понимаю, ты не понимаешь. Может, есть кто поумнее, а? Который знает?

И тут раздался голос свыше. То Маргарита Иосифовна, соседка Степана по коммунальной квартире, вышла на балкон развесить белье. Маргарита была безмужняя и напевала нечто игривое из «Волшебной флейты».

– А вот надо бы поинтересоваться… – вполголоса начал Харитонов.

– Не вздумай, – Степан Петрович шипел.

– Да ладно, Степа. Она же этот, культурный работник. Ну и должна культуру в массы. А мы вежливо, с целью багажа знаний, так сказать.

– Харитонов, твою мать…

– Ша, тихо. Счас все пимпочки по тютелькам расставим, ты только мне моральное плечо подставь.

Маргарита закончила «Флейту» и принялась что-то мурлыкать из «Лючии ди Ламмермур». Харитонов откашлялся.

– Добрый день, Маргарита Иосифовна!

– И вам не хворать, – Маргарита с трудом переносила эту парочку, но приличия соблюдала.

– Прекрасный денек сегодня, – Харитонов резво взялся наводить мосты.

– Да, погода чудная, – журчала Маргарита. – Но денег не дам, даже не мечтайте.

– Та вы шо, какие деньги? – Харитонов был рад, что завязывается беседа. – Вы же умная и интеллигентная женщина.

– Не подлизывайся.

– Я вам точно говорю! Тут у нас спор вышел, и надо мнение очень умного человека.

– Знаю ваши споры. Чем лучше похмеляться с утра.

– Та бог с вами, Маргарита Иосифовна! Я так вообще в завязке. Да, Степан?

Степан Петрович все время сидел хмуро, периодически порывался уйти, но Харитонов его удерживал, подмигивал – мол, нормально! Счас все узнаем.

– Так вот, надо нам спор наш разрешить. И кто же лучше вас это сделает, Маргарита Иосифовна?

Маргарита поставила «Лючию ди Ламмермур» на паузу и глянула с балкона вниз.

– Ой, говори уже. Что за спор у вас?

– Вопрос интересный один. Короче, поспорили мы с соседом вашим, Степаном… Поспорили с ним…

– Не тяни, ирод. О чем спорили?

– Спорили… Знаете ли вы, Маргарита Иосифовна, что такое этот… Ор-газм.

Тишину, что воцарилась, вполне можно было назвать гробовой. Как писал поэт, не слышно птиц, бессмертник не цветет, и только в соседнем флигеле у инвалида третьей группы Горенштейна потрескивают суставы. Тишина была кромешная, особая тишина. Тишина была такая, что даже коты понимали: мир никогда уже не будет прежним.

И вдруг, подобно выстрелу, раздался сочный звук. С высоты третьего этажа великолепный плевок, описав параболу, по математически точной траектории вонзился в землю ровно между Харитоновым и Степаном Петровичем. После чего грохнула балконная дверь.

– Степа, э-э… Мне кажется, она знает это слово.

– Ну ты и поц, Харитонов, – ласково заметил Степан. – Она же меня теперь в квартиру не пустит.

После чего Харитонов быстро засобирался на улицу, даже кепку надел. «Ты не грусти, Степа, все утрамбуется. А я за новой водочкой, надо же и мне испытать это… Высшее наслаждение».

И Степан Петрович остался один. В кронах уже неконтролируемо зеленело раннее лето. Окно на третьем этаже было широко распахнуто, оттуда доносились переливы Шуберта.

Руки помнят

Степан Петрович сидел во дворе и с отвращением курил. Неподалеку Харитонов чистил картошку. Харитонов был алкоголик в третьем поколении и бывший дворник, из ЖЭКа его уволили в связи с утратой доверия. «А ведь он ее жарить будет, – подумал Степан Петрович. – Не, ты только глянь, как наяривает, поганец! Интересно, откуда у него масло?»

– Неправильно чистишь, – Степан выпустил длинную токсичную струйку и сплюнул под ноги.

– Ага, неправильно, – среагировал Харитонов. – Тоже спец великий, картофельный папа.

– Неправильно, да. Ты верь мне, Харитонов, я знаю.

– Знает он, мать его. Че ты знаешь?

– Знаю. Картошку надо чистить бережно, обхаживать надо. Как женщину раздеваешь, тоненько-тоненько. Ты когда-нибудь раздевал женщину, Харитонов?

Лицо экс-дворника застыло от столь чудовищного предположения. Нож плюхнулся в миску с водой.

– Ты чего прикопался? Сидит и вякает, настроение портит. Моя картошка, чищу как хочу.

– Просто обидно, когда неправильно чистят. Ее тоненько надо, а ты строгаешь, как папа Карло, от себя. Это же картошка, Харитонов. Картошка, а не деревянный мальчик с перчиком.

– Ага. А ты большой хавец в этом, да? Шаришь так, что нехрен делать?

– Представь себе, – в голове Степана давно уже созрел план. – Я любую картофелину сделаю, не отрывая ножа. Чисто, в одну стружку.

– Ты? – сосед заквакал от смеха.

– Смейся. Здесь, при тебе почищу, на спор.

– Не отрывая нож?

– Так точно. В одну стружку.

Харитонов секунд десять тяжело смотрел на оппонента.

– Не сделаешь.

– Сделаю. На что мажем?

– На пузырь, ясно дело. Но не сделаешь ты.

– Значит так, – Степан выдержал паузу. – Если сделаю, ты ее всю пожаришь. Половину жареной – мне. Ну и бутылка, конечно, за твой счет.

– Ага, – Харитонов осклабился. – А если нет – пузырь за твой счет. И ты приносишь его сразу, Степа, а не через год. А сам идешь нахрен. Годится так?

– Забили.

В душе Степана Петровича играл кубинский оркестр. Он степенно подошел к Харитонову, осмотрел инвентарь. Нож он обозвал каменным веком и пару минут правил его о железную ножку стола. Потянулся за картофелиной.

– Не, фраерок, так не идет, – Харитонов нехорошо улыбался.

– Че не идет?

– Ты говорил, «любую картофелину», так?

– Допустим, – Степан оценил коварство соседа.

– На вот, держи любую.

Это был чудовищный корнеплод, о трех головах, исчадие полей и огородов. С рытвинами, ухабами и загогулинами по всему телу. Степан, однако, спокойно осмотрел уродца со всех сторон. И кивнул головой. Торжественно поднес нож: «Учись, дядя».

Харитонов, не мигая, смотрел на кожицу, что медленно выползала из-под ножа неприятеля. Он не верил глазам: рытвины, ухабы и тем паче загогулины не производили на соседа никакого впечатления.

– Где это так насобачился? – проблеял он.

– Десантура рулит! – ликовал Степан, который в армии все два года провел на кухне. – Руки-то помнят, а? Помнят руки!

Харитонов выхаживал по дворику, как раненый енот в клетке. Он чуял, пахнет жареным. Серпантин уже свисал с уродливой картофелины сантиметров на сорок, до катастрофы оставалось совсем чуть-чуть.

– Не ссы, Харитонов, – куражился Степан, – не ссы в компот. Масло-то хоть есть у тебя?

И тут случилось то, что в традиции античного театра принято называть «deus ex machina». Резко грохнула дверь парадного и во дворик влетел тайфун по имени «Маргарита Иосифовна».

Явление сопровождалось шорохом одежд, хозяйственных сумок, духами шестидесятых годов и роем дворовых кошек. «Кись-кись-кись, лапы вы мои», – подбадривала животных Маргарита. «О, расселись уже, упыри», – эту фразу она адресовала людям и без остановки проследовала к подъезду.

Зная Маргариту отнюдь не понаслышке, Степан инстинктивно вжал голову и на миг потерял концентрацию. И свершилось: длиннющая кожура, качнувшись, оборвалась, как пуповина, и рухнула в миску. На картофелине все еще оставался, желтел лоскуток… Небольшой, сантиметра три.

– Ага! – завопил Харитонов, выдавая невиданные инопланетные па. – Вот он, приговор суда небесного! В действии.

– Слушай, дед, ну так нечестно… Ты сам все видел, она же уже почти того…

– Ничего я не видел! Уговор у нас был, уговор?

– Ах ты, мерзкая старая сука, – бормотал обреченно Степан.

– Чего-чего?

– Ничего, это я про Маргариту. Вот всегда так, зараза, сама толком не живет и другим…

– Ближе к теме, Степа, уговор есть уговор. Али отказываешься?

– Да не отказываюсь я! Вот лажа-то какая, а… блин… Вот это жопа так жопа…

И он уже медленно двигался на выход, по направлению к магазину. А Харитонов искрился от облегчения и переливался всеми оттенками ликования. И приговаривал:

– Не боись, Степан Петрович, и тебе нальем. Звери мы, что ли? И картошечки сыпанем, не половину, конечно, но так, закусить будет… Чистишь ты ее знатно, просто талант у тебя…

А у дворового подъезда смиренно сидели коты. Они ждали Маргариту.

Виктор Шендерович

Как я теперь живу

Текст, написанный на вторую неделю после эмиграции

В целом, я считаю, живу я неплохо.

Просыпаюсь поздно, потому что спешить некуда: Россию уже продал, и деньги еще есть. Еще полудрема колеблет границы новой реальности, а в мозгу сама собой, по привычке, начинает ворочаться какая-нибудь русофобская дрянь. Не принизить ли, например, думаю, подвиг советского народа в Великой Отечественной? Или, додремав, начать сразу с ревизии нашей прекрасной истории в целом?

Но к первой чашечке кофе – с малиновым, как правило, круассаном (если просыпаюсь в Париже) или сальмоновым бейглом с сыром «Филадельфия» (если доведется размежить веки где-нибудь в Ванкувере) – приоритеты проясняются, и я, не теряя времени, сразу приступаю к оскорблению ветеранов.

Дело это, надо вам знать, требует недюжинного мастерства и звериной ненависти к России, но всего этого у меня навалом, и к полудню ветераны бывают оскорблены поименно и по самое не могу – особенно те из них, которые пачкали пеленки, когда я по возрасту выходил из комсомола.

Ближе к обеду я, как правило, оправдываю нацизм. Нацизм, как теперь хорошо известно, особенно близок моей душе, и я счастлив, что могу наконец не скрывать этого. Я включаю для настроения Вагнера – и начинаю исходить на свастики. Особенно люблю я заниматься этим делом в Израиле – здесь моей нацистской душонке не так одиноко. Когда нас, любителей Гитлера, собирается вместе десять человек, это называется миньян.

Мой обед вкусен, а послеобеденный сон сладок: мы гуляем в нем рука об руку с моей любимой Мадлен (Олбрайт) и расчленяем, расчленяем, расчленяем Россию… Я просыпаюсь в слезах от счастья.

В этом размягченном состоянии особенно хорошо дается мне распространение заведомо ложных сведений с непременным осквернением памяти павших. Как никто умею я сопрягать словоблудие с аморализмом – и странно было бы не воспользоваться этим в обстановке полной безнаказанности.

Перед закатом, когда прощальный свет умиротворяюще льется на ступени Капитолия, я люблю пройтись по берегам Потомака, чтобы в районе Лэнгли получить инструкции на ночь. Как правило, выбор моих заокеанских хозяев колеблется между дискредитацией миролюбивой политики Путина и циничным разламыванием скреп, и я не могу отказать им в этой малости. В конце концов, мы делаем одно большое грязное дело!

…Вечерний чай с заслуженными печеньками остывает на столике у кровати – вдохновение, накатывающее на меня в этот час, не терпит отлагательств. О, этот сладкий миг, о любимейшее занятие… Не трогайте меня, не отвлекайте на сексизм и педофилию, все потом! – я занят, я клевещу.

Я называю ворами и убийцами лучших, честнейших людей моего отечества, я нахожу какие-то особенные слова для каждого, блять, из них… Я не усну, пока не опорочу и отечество в целом, не засуну скрюченные пальцы во все язвы его, не расковыряю до крови его святую старину. Только тогда придет недолгий покой к продажной моей душонке, только тогда старина Морфей ударит меня наконец по маленькой злобной голове и отрубит до утра.

…Я проснусь поздно, когда все люди доброй воли уже давно ебошат на благо мира и прогресса – проснусь и буду лежать в слабой полудреме, мучительно пытаясь вспомнить, где нахожусь. В какой именно части света и как далеко от родных Сокольников прячусь от народного гнева и справедливого российского суда…

Поэзия

198 Татьяна Мартынова
Переводы с украинского

205 Юлия Пикалова
Антивоенные стихи

213 Анастасия Яковлева-Помогаева
Emergency

216 Віталія Бабущак
Під співи ракет

222 Ирина Евса
Сверток

227 Анна Маліцька
Будь вільним чи загинь в бою

232 Майя Димерли
В бутылке джина вы не найдете джинна

234 Владислав Китик
Рождество

Татьяна Мартынова

Переводы с украинского

Леся Українка

Мріє, не зрадь!

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,
стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.
А тепер я в тебе остатню надію вложила.
О, не згасни ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари
в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,
вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари,
не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.
Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.
Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,
і тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!
Слово, коли ти живе, статися тілом пора.
Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,
той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –
дай мені крила свої, хочу їх мати сама,
хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,
а як прийдеться згинуть за теє – дарма.

Леся Украинка

Мечта, не предавай!

Не предавай! Сколько я по тебе тосковала.
Сколько безрадостных дней, сколько бессонных ночей.
Ныне последнее слово… Его я еще не давала.
Не погаси мое солнце, ты – солнце бессонных очей!

Не предавай. Волшебством наливалось так долго
мое ждущее сердце, и сердце полно через край!
Через край. И ничто оторвать от тебя не сумеет, ей-богу,
ни виденья, ни страхи, ни боль, ни обещанный рай.

Для тебя отказалась уже я от прежних мечтаний.
А теперь отрекусь и от жизни, от жизни самой!
Час пробил. Я душой восстаю на себя, на страданья.
Нет дороги назад, я не вижу дороги иной!

Только жизнь – за убитую жизнь… Но ведь ты не предатель,
не убьешь, ты живая мечта, ты сильней. Стань моей!
Стань же телом моим, мое слово! Изрек ведь Создатель:
не погибнет, кто сжег за собой океан кораблей.

Нет, получит он новую, чудную жизнь, даже больше.
Станет – всем в этом свете… Что значит: над светом парить!
Как орел, надо мною крылами когда-то, о, Боже!
Дай мне крылья, и я в небеса полечу, чтобы жить!..

Чтоб на крыльях – в огне лихолетий – весь мир повидавшей,
воспарить твоей песней живою мечтаю сейчас,
стать пылающим светом весны и мечты, не предавшей
словом Бога, который когда-то от смерти нас спас!

На роковини

Вірш присвячено Т.Г. Шевченку

Не він один її любив,
віддавна Україну
поети славили в піснях,
немов «красу-дівчину».

Від неї переймали сміх,
і жарти, і таночки,
її байки, немов квітки,
сплітали у віночки.

Той в ній давнину покохав,
той мрію молоденьку.
Він перший полюбив її,
як син кохає неньку.

Хоч би була вона стара,
сумна, змарніла, бідна,
для сина вірного вона
єдина, люба, рідна;

хоч би була вона сліпа,
каліка-недоріка, –
мов рана ятриться в ньому,
любов його велика.

Вкраїна бачила не раз,
як тії закоханці
надвечір забували все,
про що співали вранці,

і, взявши дар від неї, йшли
до іншої в гостину;

вони не знали, що то є
любити до загину.

Він перший за свою любов
тяжкі дістав кайдани,
але до скону їй служив
без зради, без омани.

Усе знесла й перемогла
його любові сила.
Того великого вогню
і смерть не погасила.

Леся Украинка

На годовщину Кобзаря

Т.Г. Шевченко

Не он один ее любил.
С тем чувством в сердце каждый жил
в чудесной Украине.
Поэтом стал? Так славь и пой!

Тверди: она – краса, любовь!
Задорная дивчина!
Перенимай ее слова,
лад речи, песни…

В них жива
от века радость шутки,
в любой легенде – старина
и сны, и прибаутки!

И кто как не ее поэт
стремится в Украине
вплести свой самый лучший цвет
в ее венок невинный!

А что Кобзарь?
Он был ей – сын.
Она – в беде, печальна.

Бедна, стара,
глядит за тын.
Ждет всех детей,
их жаль ей!..

Сын – далеко, но верен ей.
Ей, матери единой.
И пусть – больна, слепа,– родна
ему лишь Украина!

Как рана, бередит она.
Его любовь – безмерна.
Есть дети. Почему одна?
Помогут ей, наверно.

Другие? Песнь свою пропев,
влюбленные в цветенье,
страну покинули, как дев,
исчезли даже тени.

С ее дарами – где? Бог весть...
Есть много мест на свете.
Так и не поняли, что есть
любовь – до самой смерти.

Все вынесла, перемогла –
лишь Кобзарева сила.
Великого огня любви
и смерть не погасила.

Василь Стус

* * *

Вимріяна і жива донині,
незнайома, але й знана теж,
заховавшись в довгій самотині,
вже мене не кличеш, не зовеш.
Сто доріг, як змії, розплатались
в тисячі незвіданих розлук.
Все життя жилось, немов прощалось,
як прощається з стрілою лук.
Я тебе не відлюбив, не випив,
навіть ти сказала – недопив.
Сумовитий вечір десь захлипав
і фіранки чорні попустив.
Ти єдина в самоті розрада,
просвіток смеркальної пори.
Не кажи – тебе чекала зрада
і любов ждала – не говори.
Як тепер до тебе я вернуся?
Сном? Явою? Мертвим чи живцем?
І до кого словом оброню́ся
зболеним? Перед чиїм лицем
довго повідатиму про долю –
ту, що ніби зашпори зайшла
в душу. Але долю – славословлю.
Ти страждала? – Отже, ти жила.

Василий Стус

* * *

Ты мечта, но ты жива доныне.
Незнакомка, мне – знакома все ж.
В долгом одиночестве ты стынешь,
но уже не кличешь, не зовешь.
Сто дорог, как змеи, разветвились

в тысячи немыслимых разлук.
Жизнь ушла, в которой мы простились
так, как со стрелой простился лук!
Я тебя недолюбил, не выпил…
Ты еще сказала: не допил.
Ветер сумрачный как будто где-то всхлипнул,
черные фиранки опустил…
В одиночке – ты моя отрада,
ты просвет меж тучами в закат.
Об измене говорить не надо.
И словам любви не буду рад.
Как мне вырваться, к тебе вернуться?
Явью? Сном? Живым иль мертвецом?
Словом горьким к боли прикоснуться?
Нет тебя, так перед чьим лицом
я тогда поведаю ту долю,
Что вонзилась шпорой и зашла
прямо в душу. Боль я славословлю.
Ты страдала тоже? Ты – жила.

Юлия Пикалова

Антивоенные стихи

Залить глаза поэзией

Залить глаза поэзией. залечь
лицом к стене. зажмурить крепче веки
слезами внутрь. замереть. заснуть
и видеть сны. проклятая страна.
больная родина. какие метастазы!
оставь надежду всяк сюда входящий.
оставь надежду всяк идущий мимо.
оставь надежду всяк лежащий тихо
слезами внутрь. оставь надежду всяк.

Залей глаза поэзией. зажми
лицо живое в гипсовую маску.
ведь гипс не плачет. ведь слезам не верит
столица нашей родины Москва.
объятья наши, как броня, крепки
и танки поворотливы и быстры.
хотим послать воздушный поцелуй –
отправится воздушная тревога.
и потому зальем глаза. заляжем
зубами к стенке. стиснем их. и будем
лежать, покуда метастазный Китеж
не скроется под мертвою водой.

Поля

Как мы враз постарели
На родном рубеже.
Это сточное время
Нам по горло уже.

В урожае убиться
Чи на голій землі?..
Мы сжигаем пшеницу,
Чтоб саперы прошли.

Русский

Без страны, без надежды, без веры –
Только тело осталось (с) тобой –
Ты глядишь, как фанатики веры
Твоих братьев ведут на убой.

Но кому ты заплачешь об этом,
Пораженец, удравший на йух,
С красным паспортом – волчьим билетом,
С языком, на котором не вслух?..

Опера

«Принесли его домой – оказался он живой».

Детская считалочка

Глаз устал
    от столичного лоска.
Он неласков.
    Он нагл.
        Но зато

Крупным шрифтом
обещана
Тоска,
И сейчас
это самое то.

Я люблю
эти страшные страхи,
где известен финал наперед:
Мертвый тенор
в кровавой рубахе
под овации зала
встает –
И смеется,
убийцу целуя,
и братается
с кровным врагом,
И такая кругом
аллилуйя,
и такие
восторги кругом,
И по самую крышу
веселье,
и приятно
на бис вызывать,
И такие бессмертные все мы,
что позволим
себя
убивать.

Процесс

«Так часто я выступаю с последним словом! Вот и сейчас наше [заседание] закончится, а потом – следующий суд, и там тоже последнее слово».

Кафка, a.k.a. А. Навальный

умчался дальше разоритель-ветер,
и твой ущерб еще не возмещен.
опять глаза опустишь, не ответишь,
зачем ты жив. и жив ли ты еще,
когда тебе и воздух не по силам,
когда – рубеж, когда на рубеже –
провал,
когда к воспоминаньям милым
нет доступа. нет доступа уже.

когда не ты один устал навеки,
когда приставлен номер к именам,
когда мы стали так тяжеловеки,
что свет уже не проникает к нам,
когда в экранах восседают орки
и злой февраль подушки потрошит,
когда безглазый карлик мудрозоркий
на всех знаменах золотом расшит,
когда ущерб – забыт на всем готовом,
что нам в мозги вливают напролет,
когда очередным последним словом
нас мученик последний не проймет.

Varisco Serafino

«…не из нашего столетья».

Ахматова

Тот городок был новым для меня.
Я в нем нашла местечко потайное
У самой кромки озера. К нему
Спускаются заросшие ступеньки,
И дальше только озеро и я
Да чайки, накричавшиеся за день
И странно смирные.

Сюда живые звезды наблюдать
Без неживого городского света
Ходила три бессонницы подряд,
Едва во тьме ступеньки различая.
Потом три дня шел колыбельный ливень,
А может быть, три месяца – не помню,
Всегда с трудом я понимала время.
Нет, не всегда:
В одной из прошлых жизней
Был календарь расписан по часам,
И время подчинялось этой сетке,
И было исключительно квадратным.
Как хорошо, что это позади,
И время может течь совсем свободно
Или не течь вообще.

И вот спустя три дня или три года
Пришла я снова к узеньким ступеням –
И ничего не узнаю: туда ли
Попала я? Откуда этот свет
Торжественный? Неужто и сюда
Проникли фонари, и не осталось
На свете первозданных уголков?
Поблёскивали празднично ступеньки,

И, оступиться не боясь, я вниз
Почти бежала. Да, к воде, к воде! –
И – врезалась в серебряную стену,
И потеряла зрение на миг:

Луна!
Так вот какие полнолунья
Таит забытый богом городок!
Но что я говорю: «забытый богом»?
Не это ли – присутствие его?

И вот стою, лицом к лицу, как есть,
Благоговейно руки опустив,
Вся на свету, теряясь в этом свете,
На этом свете иль уже на том,
И строки не из нашего столетья
Текут через меня. Двадцатый век
Пришел не сразу по календарю:
Ждал девятьсот четырнадцатый год.
А эти строки явно довоенны,
Но знают всё о Первой, о Второй.
И в самом малом здешнем городке
Вы обелиск найдете с именами
Всех жителей погибших и пропавших,
И умерших впоследствии от ран.

Однажды возле маленькой часовни
В горах на одинокую табличку
Наткнулась я. Всего пять слов:
Soldato
Varisco Serafino
Пропал в России.
И ни лица, ни даты, ни намека,
Кто и когда его увековечил,
И почему на этой высоте.
Возможно, это был отец семейства,
И правнуки его живут на свете

И даже как-то съездили в Москву:
Вот фоточки на фоне Фьораванти,
Восторг в глазах, ушанки на морозе –
Как экзотична русская зима!
Возможно, это юноша безусый,
Единственный у матери, и та
Пережила его на сорок лет: подолгу
Живут здесь люди. Сорок лет ждала,
И даже больше, сорок и четыре,
Пока железный занавес не рухнул,
Но и за ним его не оказалось.
Как экзотична русская зима.

И вот стою, и все эпохи сразу
Текут через меня. Наверно, здесь
Портал для всех, кто памяти взыскует,
И в этой полнолунной тишине
Я чувствую присутствие в природе
Всех, кто до срока растворился в ней.
Об этом ли я думала, когда
Отправилась предсонно прогуляться?
Но с обелиском маленькая пьяцца
И черная зеркальная вода,
И белая огромная луна
Меня вберут, со мною растворятся –
И не начнется новая война.

Поэт

Не спать, поскольку ты поэт.
Не плакать, ибо на виду ты.

И световых лишаться лет
Для ослепительной минуты.

И воскрешать, и воскресать,
Побыв на атомы разъятым.

И в Двадцать первом так писать,
Как будто ты убит Двадцатым.

И различать у братьев знак –
Невидимые пулевые.

И всё встречать и видеть так,
Как будто на Земле впервые.

Италия

Анастасия Яковлева-Помогаева

Emergency

1.

У людей рядом есть только люди –
Нет больше другой опоры
В мире, где шатко-валко,
В мире, где в коридорах
Возможностей спят горгульи.
В мире, где много судей
(Там, говорят, заступников нет –
Никогда не будет),

Ты оперся на соседнее
Худое плечо неуклюже –
Вы без конца обсуждаете:
«Кому-то, возможно, хуже»
Чем вам. Это противоядие
Струится виной по венам,
Сжигая так основательно,
Что вам не до откровений.

Мы становились жестче,
Будто тугие корни,
Что пробивают силой
Путь свой в тревоге черной
Сквозь полотно асфальта –
(Нет нам числа и счета),
Крепкая память держит,
Силы дает для всхода.

2.

Час ночной приходит мягкой поступью,
Черным волком прячется за твоей постелью.
Слушай, слушай ночью каждый звук,
Волк зубами железными
Клацнет вдруг
За твоей дверью.

Затем прилетит дракон, нарушит сон.
Перед самым рассветом дунет в дом огнем
(и еще раз днем),
Кто на завтрак зверю?

Не спи… Не спи...
Жди каждую ночь
Волка и дракона...
Некому тебе помочь.

3.

Жгучие звезды падали – каинова печать.
За грех чужой невинные выбраны отвечать.
Те, кто еще не умерли, те, кто еще не жил, –
Все искупить обязаны алчности кутежи.

Средству любить предписано: «Здравствуйте, господин,
Из лабиринтов истины выход всегда один.
Я попрошу прощения (что мне войны печаль),
Лишь бы над нашим городом бес мог права качать.

Знайте, я буду паинькой (не защищай свое),
Мне «показалось» – взрывами спуталось воронье».
Не в первый раз привычкою сломленная толпа
«Врете!» – кричит истерзанной правдушке у столба.

Как поведется, пленница выдержит этот ад,
Но обожженных звездами ты не вернешь назад.

4.

Животные нас учат отпускать людей,
Не чувствуя вины, спокойно пережить потерю.
Без лишних слез, в молчанье веря,
Принятие готовя новостей.

Придумывать не нужно им
Привычный бред про исцеленья чудо,
И чувствуя себя Иудой,
Кривить душой, как с кем-нибудь родным.

Мы помолчим, в шерсть руку опустив,
Отмерим путь тревогой расставаний –
Нам Космоса откроется зиянье
Одно на всех: на мертвых и живых.

Віталія Бабущак

Під співи ракет

Рефрен

Світанок йде, приходить ніч,
Сльозами віск стікає з свіч.
І б'є об бронзу било навсібіч.
Цей монотонний дзвонів дзвін
Біжить за нами навздогін.
Біжить крізь ніч, крізь трупи міст-руїн.
І храм стоїть самотній знов,
Знов проливають нашу кров.
Ікони плачуть знову з стін церков.
Не тиха знов вкраїнська ніч,
Летять ракети навсібіч
І ми зі смертю знову віч-на-віч.
Заснула доня на руках,
Від вибухів трясеться дах,
Але в її очах відсутній страх.
В ім'я і Сина, і Отця,
Ми віддамо наші серця,
Але стоятимем тут до кінця.
До переможного свого кінця!

Діалог

– Як ти? Про що твої думки?
– Спокійні, мамо, наче тихі води.
– Як думаєш, затягнеться все на роки?
– Ні мамо, скоро клич свободи.

– Як думаєш, вартує це життів?
– Не думаю я, мамо, точно знаю.
Мені в бою товариш шепотів:
«Хто не втрачає – не перемагає».

– Що сниться в ночі вам під спів ракет?
Чи спиться, сину, у вогкій траншеї?
– Я бачу мирне поле, рву букет
Й несу тобі додому, як трофеї.

Хто скаже

Час тече, замиваючи навіть в скелях рани,
Хто скаже, коли тебе обійму, відвідаю рідні храми?
Місто мовчить, прикрившись від смерті сірим небом,
Так, як життя тому, ти прикривав мене на ніч пледом.

Не страшно смерті, бо це для всіх лиш питання часу,
Страшно не побачити знову твого профілю і анфасу.
Мама казала: «Слухай, ми вдома завжди в безпеці!»
Нас ніхто не навчив, що робити в разі втрати фортеці.

Як жити, коли за спиною немає дому, куди вертати?
Запитати би рідненьку, але вже немає в кого питати.
В часи, де багато плачу та критично мало сміху,
Дай нам, Господи, віру, терпіння й надію на втіху!

Прощання

Останній раз – і я піду, останній раз.
Останній раз твої вуста, мої вуста.
Я не казав, як я боюся, жоден раз.
Я не казав, що ти моя – «саме та».
Останній раз – і я піду. Я піду…
Тепло обійм кладу в рюкзак, як краду.
Ти не проси поклястись, що вернусь,
Безмовно дай своє плече – пригорнусь.
Піти здавалось гаразд, all right, о'кей,
Щеміло серце в той раз, рвалось з грудей.
Піти здавалось неправильним мені,
І вовком вила душа десь в глибині.
Я так хотів зберегти твій запах, погляд і смак.
Я не сказав, як сильно люблю, прости, прости.
Я так боявся, що ти теж скажеш «так»…
Зібрав, як злодій, свій рюкзак, утік у ніч.
Я не зумів зберегти найкращу річ…
Тепер прости. Прости мене, прости…
Хто скаже, я устиг, а чи згорять мости?
Хто скаже, чи вернуть життя мені?
Чи щезну, як і сотні на війні, в ці дні?
Хто скаже, будем ми врятовані?
Чи ні? Чи ні?..

Бабуся

Послухай, я нікуди не хочу втікати…
Тут моя садиба, кури, стара корова.
Ну і що, що ночами не можу спокійно спати?
Хто, як не я, нагодує худобу, поколе на зиму дрова?
Ну і що, що стріляють? У Бога є свої плани.
Скільки того життя? Як вмирати, то у себе вдома.

Та я ж не звикла сидіти денно, дивитись в сині екрани,
Та й хто обробить город? Я ж люблю, як солодка робоча втома
Розтікається ввечері тілом, покриває свідомість снами.
Подивись, час ломити курудзи, копати пора бараболю…
Ой, як рясно вродила, здорова, як банка сметани.
Скільки ж це поле бачило, скільки ввібрало болю?
Воювали тут Другу, а було ще й до неї. Бачиш каштани?
Там йшла лінія фронту, тепер то город Оксани…
Розумієш, чому ця земля є наша віками?
Як її я залишу? Тут предки мої вмирали!
Від залишків гільз, каміння перебрала її руками.
Просиш, щоб я пішла? Щоб чужі на ній танцювали?
Я не буду втікати. Така вже наша натура.
Позриваю груші, складу тут в кутку зимувати.
Кажеш, холодно буде? Глянь, онде бараняча шкура,
То твій вуйко з Карпат привіз. Буду її одягати.
А як ляжуть морози, затоплю пічку дровами,
Ти за мене не бійся, собі я раду дам.
Сам дивись, не простинь поміж тими ровами.
А я? Я їм й крихти свого не віддам!

Скляне серце

Лиш дим цигарки упився в шкіру, наче звір.
Давай відверто, любов затерлась, аж до дір.
Дорослі люди не грають в ігри, а живуть.
Дорослі люди лишають шрами і ревуть.
Ніхто не скаже: життя ламає нас, як хмиз.
Ніхто не скаже, як гірко падати униз.
Дорослі люди живуть не в казці, а в кіно.
Дорослі люди летять не вверх, а падають на дно.
На шкірі попіл цигарки більше не пече,
Дарма тікати: від себе, друже, не втечеш.
Я пам’ятаю цукрові мрії по тій весні,

Кожніське слово, котре сказав тоді мені.
Коли все добре кудись зникає, наче дим,
На моїм серці видніються рубці від слів.
Дорослі люди не грають в ігри, а живуть,
Дорослі люди лишають шрами і ревуть.
Ніхто не скаже, що вмисно робимось сліпі.
Ніхто не скаже, як часто брешемо собі.
Ніхто не скаже, що забагато в світі зла,
Ніхто не скаже, що серце зроблене зі скла.

Ламаючи сантимент

Водиш по білім папері, дереш його олівцем,
Й слова-татуювання впиваються в тіло свинцем.
Тими ж губами, що лиш недавно цілували руки й лице,
Тими ж губами кладеш між нами фінальний акцент.
Синдром мізантропа зліпив з тебе ресентимент,
Поневолі сумнівам піддаю кожен твій аргумент.
Будую нову систему цінностей, ламаючи твій сантимент.
І щораз здається – сьогодні серце точно розіб'ється вщент.
Як слід за слимаком, тягнеться довгий день. Так само ніч.
Ти не лежатимеш поруч. Знову буду з собою я віч-на-віч.
Переоцінка фактів нікому ще не знімала тягар із пліч,
А ти чув, що найгірша тортура – людина, закрита в кімнаті без свіч…
Без людей – людина з'їсть себе, як уроборос свій власний хвіст.
Коли нас розділяє ріка – останнє, чого жадаємо, то будувати міст.
Скажеш, навіщо? Ми надто різні, чужі – поводься як реаліст.
Нас понад вісім мільярдів. Тримати іншого – де в тому зміст?
Але якщо це так, то чому так пекельно в мене болить?
Якщо не варто своє берегти, рятувати і боронить?
Чому про такого «іншого», «чужого» я думаю кожну мить?
Іронія в тім, що любов прозора, її не побачити, не зловить.
Вона як Бог – в неї треба вірити. Все. Вона не протягне руку,
Не поставить тобі на плече.
Ніколи не видасть звуку.

Любов лиш у грудях пече – це її реакція на розлуку.
Любов – божевілля, сплеск гормонів, ось і все!
Маячня. Знаю, сама не вірю в цю дивну штуку…
«Набір хімічних реакцій» – якщо спитаєш науку.
Епідемія, що косить ще гірше чуми,
Нестримно множиться поміж грудьми…
А що, як оця недуга і є справжні ми?
Що, як любов робить нас людьми?

Переродження

Коли один і снаги уже нема,
Коли здається, що все пропало,
Коли навколо непрохідна тьма –
Будь, як насіння, що в щілину впало.

Коли тебе топтатимуть ногами,
Коли давитимуть, вбиватимуть надію,
Коли трощитимуть недобрими словами,
Будь, як олива, – перероджуйся в олію.

Коли ти в темряві, і тисне звідусюди,
Довірся силі, що живе в тобі,
Бо, як й вино, олія й справжні люди
Народжуються тільки в боротьбі.

Ирина Евса

Сверток

Снег

– Словно шорох помех,
помнишь, в старой спидоле,
это, кажется, снег?
– Не снаружи, а в доме
звук. Не спорь, помолчи.
Это бабушка Галя
ищет капли в ночи,
света не зажигая.
Или дед (слышишь треск
дров?), хлебнувший из фляги,
сел у печки, нетрезв,
и сжигает бумаги.
Или отчим, размах
чуя распри возможной,
собирает впотьмах
чемоданчик тревожный.
– Но их нет. – Они есть.
– Где? В убежищах тайных?
Что им прятаться здесь,
если приняли *там* их?
Сна – как не было. Чай
заварить? Снег – на прутьях,
проводах… – Не включай
свет, не вздумай спугнуть их.

– Это снег, посмотри,
снег шуршит. – Говорю же,
помолчи. Звук – внутри.
Звук – внутри, не снаружи.

* * *

Ты разбуди меня, но не здесь, не здесь.
Не заслоняй мне свет, как дурная весть,
словом «война», его нарративом черным.
Я доверяю только цветам и пчелам.

Я не в ответе за мировую гниль.
«Где мои дети?» – снова кричит Рахиль.
В левом крыле, за лифтом, ее палата.
Кто эти люди в белом – врачи, враги ль?
Вот мои дети: донник, ромашка, мята.

Кровь со щеки успела еще стереть
правой рукой. Сказали: осталась треть.
В хитром сплетенье длинных шнуров и трубок –
не подходи, не смей на меня смотреть! –
жалкий скулит обрубок.

Там разбуди, где воздух с утра стеклит
узкие окна меж розоватых плит.
Вот я сижу на ветке ольхи, болтая
тем, чего нет, и тем, чего нет, машу
тем, кого нет. Шмели расшивают шум,
то расходясь, то сталкиваясь бортами.

* * *

Евгении Моргулян

По ржавому пальнув пустому баку:
отстой, мол, и фигня,
он, выбив дверь, убил мою собаку.
Потом убил меня.

И не было ни ужаса, ни боли –
негромких два хлопка.
Мы встали и пошли, минуя поле,
направо, где река.

Но лапу приволакивала псина
и боком по стерне
теперь не впереди она трусила,
а тычась в ногу мне,

в любой момент готовая включиться
и даже огрести
за дурочку, с пробоиной в ключице
и слабостью в кости.

Река, вписавшись в местную природу,
слегка смиряла прыть.
Я знала, что собака эту воду
не сможет переплыть.

А та в оцепенении глубоком,
поджав худой живот,
косила на меня печальным оком:
«А вдруг не доплывет?»

Две беженки, чей срок на «или – или»
бессмысленно истек,
мы с ней переглянулись и поплыли,
по грудь войдя в поток.

И словно безразличная, чужая
речь вне добра и зла,
река впустила нас, не отражая
в себе, и понесла.

* * *

– Ладно, Ты отобрал море, клочок земли
в пять с половиной соток,
лунные ковыли, сад в дождевой пыли,
лета горячий сверток,
дружный галдеж гостей с ворохом новостей,
беглого муравья.
Но зачем Ты убил детей?
Слышу в ответ: «Не Я».

– Ладно, взамен тюрьмы Ты мне вручил суму,
выбранив троекратно.
Разум моих друзей Ты погрузил во тьму
и не вернул обратно.
Кореш меня учил: Бог – справедливый чел,
а не галлон вранья.
Но детей Ты убил зачем?
Слышу в ответ: «Не Я».

– Ладно, меня Ты спас. Чтоб не рванула вспять,
окна обрушил в доме.
Дал сухарей в запас. И, бормоча «не спать»,
выплюнул на кордоне –
мол, на luisenplatz в теплом чужом пальто
выживешь, корм клюя.
Но детей ты убил за что?
Слышу в ответ: «Не Я».

Вот я плыву пятном в пестрых Твоих рядах
в ночь, где всего дороже
крыша над головой: по-украински – дах,
и по немецки – тоже.
Кирхи зеленый шпиль над городской стеной.
Огненный сухоцвет.
– Господи, это впрямь Ты говоришь со мной?
И ничего в ответ.

* * *

У каждого есть бесценная чепуха,
которую он хранит:
обрывок бечевки, фантик, фрагмент стиха,
таинственный эбонит,
счастливый билетик, связка ключей от той
квартиры – окном на юг –
куда ты – без лифта – с первого на шестой,
и дверь открывалась вдруг.

В бедламе отъезда этот священный хлам
(а стоит ли он возни?),
сбивая предметы, ищешь по всем углам:
да где ж она, черт возьми,
монетка вон та – вершина его даров –
цидулка из никогда?
Тебе подмигнул бы пристальный Гончаров:
залоги любви, ну да.

И там, где толпа клубится у врат, боясь,
что не заберут в теплынь
краев, где в озерах спит красноперый язь,
скользит золотистый линь,
тревожишься об одном, подходя к черте:
позволят ли пронести
тот синий стеклянный шарик, что в суете
успел ты зажать в горсти.

Харьков

Анна Маліцька

Будь вільним чи загинь в бою

Причорномор'я

Споконвіку був степ.
Понад ним колосились зірки.
Й розгортались дороги
За сріблом і сіллю.
Коли день поросте
Полиновим суцвіттям гірким
І осяде тривога
Туманом на зілля,

Я вози споряджу
І покину заквітчаний дім.
Неозорою ніччю
Поїду за світлом.
Очі втратять межу
Поміж степом та небом, і дим
Стане Шляхом довічним
Над крихітним світом.

В небо висиплю сіль
З безокраїх приморських степів.
Достигатимуть зорі
Та срібно-солона свобода.
Мандруватиме син.
Він зведе подорожні стовпи

І безверхі собори.
Нащадками роду,

Яких степ сколисав
І сп'янила морська гіркота,
Йтимуть віз мій старий
Та поклик шляхів неозорих.
Я пішов за ним сам,
А коли повернувся в літах,
Він зорив і зорив,
Поки вистачало зору.

Пороги неба

Відпусти у небо мій паперовий літак,
Не тримай мене на землі, де так мало вітру.
Знаю, завтра мене забудуть, як тиху прикрість,
Що не зносить у серці відданих їй світань.
Відпусти. Зійде світлий день, і зійде не раз
На твоє чоло. Й жаліти про це не треба.
Мій літак – тільки перше торкання неба
Несміливим розчерком пінних білявих фраз.
Я не вернусь на землю, поки є крила й шлях.
Відпусти у небо. Я звідти змахну рукою.
Розіб'ється червневе сонце на квіт левкоїв,
І тоді я розсиплюсь з ним на земні поля.
Якщо будуть хмари, то соняхи моїх крил
Назавжди кресатимуть їх і гаряче жито.
Я хотів, ти знаєш, хотів лиш одного – жити
О незвіданій, о незлітаній цій порі.
За пороги неба! – я випив мої літа,
Розтрощив келих-сонце, вимовчав прикрість світу.
Відпускай. На землі збирається східний вітер.
Відпускай у небо мій паперовий літак.

Канат

Там, де небо мине
Парашутами,
Хмарним подивом,
В тисячі снів сповите,
Ти обнімеш мене?
Прошу тебе.
На півподиху,
На половину миті.
Я – бенгальский вогонь
У твоєму дотику.
І я мрію лиш
Віддати себе всього
За твої півподиху,
Сплескіт віями,
Сміх у райдужках синіх.
Поки нас ще трима
Цей канат високо
Над залюдненим
Світом, де жодному
Серцю тепла нема,
Лиш уяви собі,
Що ми любимо
Справді одне одного.
На півподиху.
На половину миті.

* * *

Не стане блискавок червня твоєму небу.
Ми все забрали. Будь вільним – чи згинь в бою.
Знай: коли я горів – горів лиш заради тебе,
Коли я став попелом – він впав у землю твою.

Годуй її хлібом дітей, що спізнали волю,
Годуй старців, що тужать й тепер за ярмом.
Знай: коли я вмирав – за сліпучим болем
Мені найбільше болів твого серця сорóм.

Ти скоро забудеш мене, як росу опівдні.
І викинуть стяги, вимочені в крові.
Знай: я любив тебе. І тому лиш гідно
Дивився на смерть, коли ти спала вгорі.

Борись і живи. Будь лагідна своїм дітям,
Безжальна і люта снись своїм ворогам.
Знай: коли день прийде, їх усіх будити
До останнього бою стане моя жага.

І знову злетить твій стяг серед квітів крові,
Здригнуться міста – і кайдани чужі впадуть.
Знай: усе це було в ім'я однієї любові.
Любове, одній тобі – ця майбутня путь.

Дім

Потроху збирався дім, як збирався світ.
Речі наповнив зміст, як світання – хмари.
В кожного – такий самий сервіз. Тільки цей от – свій.
І був тут іще з дитинства (здавалось, марно).

У всіх є ці книги, але не малюнок полиць
І сенси, які тримаються за сторінками
Поміж сухих орхідей – та наших минулих лиць,
Застиглих у фоторамках. Ми не звикали

Називати це домом. Для нас він тут був завжди.
Квартира дитинства. Світло із коридору,

Що проводжало до ліфту наші ще сонні сліди.
Балкон, за яким щороку щербився окраєць моря.

Нас вчили цінити щемливу пам’ять усіх речей,
Дбати про півстолітні сукні, прикраси, квіти.
Ми мали й місця для нових, адже час тече,
Кожний хотів додати своє щось до цього світу.

Тут будуть радісні спогади й теплі сни,
Навіть тоді, коли я поїду до дому нового.
Мій дім збирався, як рідний маленький світ.
Чи маю прощати, що нині боюсь за нього?

Майя Димерли

В бутылке джина вы не найдете джинна

* * *

Запомни это время: мы седые,
А все планеты в небе молодые,
И все кометы мчатся на свиданье,
И звезды теплые на ветках мирозданья
Мерцают. На дворе уже темно
А мы с тобой играем в домино
На столике при свете переноски,
Пока сверчки поют романс из «Тоски»
«E lucevan le stelle» в си минор…
Я помню это время до сих пор…

* * *

из лета в лето и из Леты в Лету
мы путешествуем по белу свету
с холщовою котомкой за душой
из мира маленького нашего в большой
ты мне кричишь во след
но я уже не слышу
ведь солнце изначальное все выше
и я вот-вот споткнусь о горизонт
и вмиг проснусь хоть это был не сон
мне золотые липы дышат сладко
и боги в сумерках со мной играют в прятки
но выпадает только мне водить

все женщины хотят меня родить
а все мужчины научить расчету
но в этом есть болезненное что-то
и в этом есть божественный расчет
все остальное вроде бы не в счет
родиться и считать вот главная задача
вот главная задача вот главная задача
вот главная задача

* * *

утроба в утробе аки гроб во гробе
для человека едино хоть разница велика
в бутылке джина вы не найдете джинна
а если найдете, то немощного старика
Хоттабыча у которого не выпросишь чуда
и в ус он не дует выделывается Иуда
он дует на индийское молоко
и говорит заплетающимся эзоповым языком
раздвоенным аки ноги временно перемещенной
датской Русалки
(которую только в сказке жалко,
а в нашей жизни уже не жалко)
спотыкаясь на каждом встречном, поперечном
и честном слове
вдруг по гиблой дорожке изо рта его покатились стихи
нашкрябанными по сусекам Колобками
но в самом конце строки
там, где приличные люди стелют половики
с надписью welcome
в окопе сидит лиса с раззявленными руками
и с распростертой пастью
словно над пропастью словно с христовой страстью
она помирает с тоски. эти времена ни на что не похожи
но были они всегда люди меняют тела, как змеи меняют кожу
да – это нет! нет – это нет! кровь – ключевая вода

Владислав Китик

Рождество

Мороз и звезды. Снег и волшебство.
Кряхтит в печи еловое полено.
Не тривиальна, а проникновенна
Медовая свеча на Рождество.
Окно и луч. В посконной простоте
Иконный лик. И ты завороженный.
Один, наполовину озаренный,
Наполовину скрытый в темноте.
Невыносимо проникаться тем
Трагическим величьем одиночки!
Стоит кутья, узвар варѝт зима,
И мысль о жертве, словно заморочку,
Ночь виновато гонит от ума

Искусство – жизнь – искусство

236 **Евгений Деменок**
«Поэту в этот город сложно не вернуться…»

257 **Валерий Романов**
Династия Мюльбергов: как силач певец из Эстонии Одессу покорил

266 **Евгений Голубовский**
Одесские музы поэтов

271 **Феликс Кохрихт**
Рисуют Рябченки

274 **Юлия Жаркова**
Опасные цветы

«Поэту в этот город сложно не вернуться…»

Интервью с Ильей Каминским
Записал Евгений Деменок

Тому, кто хоть как-то интересуется современной поэзией, имя Ильи Каминского скажет о многом. Вышедшие в США сборники «Танцы в Одессе» (2004) и «Республика глухих» (2019) принесли ему множество наград, от Премии Уайтинга и Dorset Prize за первый сборник до Книжной премии LA Times, Книжной премии Анисфилд-Вольф в области поэзии, Национальной еврейской книжной премии за «Республику глухих». Илья был финалистом Национальной книжной премии, Национальной книжной премии кружка книжных критиков, премии PEN/Jean Stein, премии Кингсли Тафтса, премии Forward (Великобритания), премии Т.С. Элиота (Великобритания).

«Республика глухих» названа лучшей книгой года по версиям Washington Post, New York Times Book Review, Times Literary Supplement, Publishers Weekly, Financial Times, The Guardian, Irish Times, Library Journal, The Telegraph, Vanity Fair, Huffington Post и множества других изданий и организаций. В год выхода сборника, в 2019-м, BBC назвала Илью Каминского одним из двенадцати творческих людей, изменивших мир.

Стихи и эссе Ильи переведены более чем на двадцать языков и изданы во множестве стран. Илья также является переводчиком, редактором поэтических антологий и страстным популяризатором поэзии. Он основал и издал серию книг «Поэты в мире» – в ней публикуются стихи авторов из разных стран Восточной Европы, Южной Америки, Китая и даже Ирака. Долгое время он был редактором поэзии в Words Without Borders и Poetry International. Илья преподавал поэзию в Университете Сан-Диего, а сейчас заведует кафедрой поэзии Борна в Технологическом институте Джорджии в Атланте.

Если кратко, то можно сказать так: Илья – один из самых известных одесситов, живущих в наше время. Несмотря на то, что он с родителями уехал из Одессы в США в 1993 году, он постоянно пишет об Одессе, а после начала ужасной войны стал ангелом-хранителем одесских литераторов и изданий. С его помощью в США были собраны немалые средства для поддержания «Вечерней Одессы», нашего альманаха и просто тех, кто даже в эти дни не перестает выражать свои чувства и мысли в поэзии и прозе.

Илья Каминский выступает на открытии «Одесской недели» в Париже. Ноябрь 2022 г.

Одесское детство Ильи Каминского было непростым – в четыре года из-за неправильного диагноза он практически полностью утратил слух. Тема глухоты стала одной из ключевых в его творчестве – недаром второй его сборник получил такое название. В 2018-м Илья опубликовал в журнале The New York Times Magazine вызвавшее большой резонанс эссе «В поисках потерянной Одессы – и глухого детства. Поэт возвращается в свой родной город».

Наш разговор мы и начали с одесского детства.

– Если позволите, начнем с самого начала. Самые первые свои стихотворения, написанные еще на русском, вы собрали в небольшую книжку «Благословенный город». Могли бы вы рассказать о ней подробнее?

– Это было давно, я был подростком, посещал студию «Круг» замечательного Юрия Михайлика. Хотя, впрочем, о чем он говорил, я не слышал, так как у меня не было слуховых аппаратов… Молодые поэты должны сжигать свои стихи. Но это неинтересно. Интереснее то, как в детстве поэзия оживает в теле человека, как она начинается.

– Можете рассказать об этом больше?

– Однажды в Одессе: 1981 год, десять лет до распада СССР. Мой отец приводит меня на балет, оставляет меня, четырехлетку, на краю сиденья.

Он ходит за продуктами, пока я – глухой мальчик – смотрю, как музыка Чайковского заставляет людей на сцене кружиться, прыгать. Каждую минуту маленький Щелкунчик в пальто фасона восемнадцатого века разрезает воздух ножницами летающих ног: он царапает воздух на лету.

После балета Одесса для меня уже другая: я смотрю в окно и простым глазным яблоком наклоняю всю аллею набок.

– А что случилось потом?

– Однажды в Одессе: я – пятнадцатилетний мальчик, и крупный мужчина смеется надо мной в общественном транспорте, когда я говорю, что пишу стихи.

Невозможно! Как глухой вообще может знать, что такое поэзия?

Дома спрашиваю отца:

– Что такое поэзия?

Отец делает то же, что и всегда: он начинает рассказ.

– Однажды глухой попросил жену сесть за рояль и сыграть как можно громче весь репертуар Шопена. И пока она стучала по клавишам, он упал на руки и колени и впился в деревяшку рояля. И это…

Отец сделал паузу. Ему не нужно было продолжать. Я понял. Но он продолжал:

– Это поэзия.

– А дальше?

– Однажды в Одессе: в какое-то давно потерянное воскресенье мои родители и их друзья за кухонным столом кричат до глухой ночи: кто лучше, Ахматова или Цветаева? Что будет с реформами Горбачева? Есть ли Бог?

Днем мать и отец стоят в очередях за молоком и осторожно обходят всяких там начальников, управдомов и профсоюзников. Но по ночам всегда кто-то кричит: «Я не религиозный человек! Но я верю, что в нас есть божественное!».

Великие дебаты моего детства всегда связаны с рюмками перцовки и сливовой водки, которые отец носит своим друзьям на маленьком подносе.

Если и есть религиозная мания, за которой я готов бежать, позвякивая портфельчиком и клацая зубами, так это Церковь Кухонного Стола на улице Советской милиции в доме 33, квартире № 1 в Одессе. Где вечерами они и сейчас толпятся вокруг стола и кричат друг другу: «Есть ли Бог?».

– А как вы начали писать?

– Однажды в Одессе: 1980-е, когда поэты еще работают в газетах. Многие газеты перестают работать. Журналисты едут челноками в Турцию. Это было немножко голодное время. Это было очень захватывающее время. К нам в класс пришел издатель.

– Кто хотел бы писать для газеты?

Комната, полная рук.

– Кто хотел бы писать бесплатно для газеты?

Одна рука медленно поднимается.

Так я начал писать заметки для газеты «Вариант», потом для «Порто-Франко».

В коридоре редакции я встретил старика с тростью, Валентина Мороза, одесского украинского поэта, человека, у которого в советское время иногда были проблемы с чиновниками.

Он читал в коридоре Осипа Мандельштама, садился рядом со мной, не в силах усидеть на месте, не в силах читать спокойно, не в силах сделать вид, что не вдыхает большими глотками вольный воздух с каждой строкой. Его голос дрожал, когда он читал строфу, а затем обращался к глухому мальчику:

– Ты слышишь? Ты слышишь? Это Мандельштам, этот сукин сын Мандельштам, лучше этого сукина сына Мандельштама никто не пишет. Разве ты не знаешь этого Мандельштама?

Я не знал.

Мороз встал. Он читал, стоя в оживленном коридоре. Он взял меня за руку.

К трамваю.

В его квартиру.

Он читал стихи на память всю дорогу от коридора до трамвайной остановки и всю дорогу от пятнадцатого трамвая до своего дома.

Я ушел от него с сумкой книг и с запиской не возвращаться на следующей неделе, если не прочитаю и не выучу наизусть стихи Мандельштама.

Вот так началось мое образование.

– Мы знакомы довольно давно – кажется, уже восемь лет, но в этом году общаемся, пожалуй, наиболее интенсивно. После начала войны вы стали ангелом-хранителем одесских литераторов, вы бесконечно собираете деньги для их поддержки, и помощь ваша бесценна. Вы уехали с родителями в Америку почти двадцать лет назад, но ваша связь с Одессой никогда не прерывалась, верно? И все же, как мне кажется, в этом году она наиболее интенсивна?

– Одессу бомбят, электричества нет, во многих местах нет ни тепла, ни воды. Мой дядя живет на улице, где в один из домов попала бомба. Моя бабушка похоронена на кладбище, куда упала еще одна бомба.

Почему связь с Одессой в этом году – интенсивна? Сама жизнь – интенсивна!

– А как насчет вашей семьи, которая уехала?

– Как и многие другие евреи, моя семья уехала в 1990-х годах. Вот общая картина: когда родились мои родители, евреи составляли более 35% населения города. Вероятно, когда я родился, их было уже около 20%. Сегодня – менее 1% населения!

Что касается моей семьи. Родным языком моей бабушки был идиш. Они с мамой говорили друг с другом на идише. Но моя мать отказалась учить меня идишу, потому что наш родственник был забит до смерти на улице в Умани – за то, что говорил на идише.

Бабушка, мама, тетя – все отказались вернуться в Украину, даже на короткое время. Вот так.

– Но вы часто возвращаетесь?

– Как писатель, уже много лет живущий далеко от Одессы – в Праге, Женя, вы наверняка знаете: поэту в этот город довольно сложно *не* вернуться.

Невозможно вырвать этот город из нервной системы!

Так что возвращаюсь почти каждое лето – но возвращаюсь сюда не для того, чтобы участвовать в литературной жизни, я стараюсь избегать этого, прихожу сюда ухаживать за могилами. Кровь в моих жилах течет по карте одесских улиц, которые идут от Еврейского кладбища до Привоза, до оперы, до моря.

– В знаменитом эссе «Searching for a Lost Odessa – and a Deaf Childhood», опубликованном в 2018 году в New York Times, вы пишете: «Я в Одессе, отец. Это 2018 год, 25 лет после того, как мы покинули этот город. Я возвращаюсь сюда, чтобы выключить слуховые аппараты и остановить время». Этот пронзительный текст словно поставил точку в переживаниях одесского детства, которые много лет были с вами в другой части света, в Америке, и в то же время стал отправной точкой для нового познания Одессы. Сейчас вы говорите о родном городе чуть ли не в каждом интервью. Первую книгу вы назвали символически: «Dancing in Odessa». Кажется, что травмы прошлого изжиты, и Одесса много лет является для вас источником вдохновения. Так ли это?

– Когда я рос в этом городе, у меня не было слуховых аппаратов до шестнадцати лет: будучи глухим ребенком, я воспринимал свою страну как нацию без звука. Я-услышал-глазами-как разваливался СССР.

Гуляя по городу, я наблюдал за людьми; их уши были все время открыты, у них не было крышек. Меня интересовало, как выглядят звуки. Свист. Шипение. Свисток. Звук поворота ключей в замке или вода, текущая по трубам двумя этажами выше нас. Я мог легко заметить, как люди вокруг меня говорили друг с другом глазами, не осознавая этого.

Но что, если бы вся страна была глухой, как я? Чтобы никто не слышал, когда отдаются команды милиционера? Даже сейчас мне нравится представлять это: теперь в мирное время правит

мафия, во время вторжения маршируют русские солдаты, да? Что, если бы мы все просто отказались их слышать?

Тишина, этот последний район, навеки нетронутый мудростью правительства.

– Так что ваша Одесса была немного другой реальностью...

– Да, моя Одесса – это какая-то странная реальность. Поскольку мой первый язык не был ни русским, ни украинским, ни идишем, а читая по губам, я смотрел, как двигаются тела людей, и это был первый язык, который я знал.

И вот уже много лет, возвращаясь в Одессу, я выключаю слуховые аппараты, и это состояние возвращается – и приносит с собой поэзию.

– Как?

– Через изображения, образы.

– Почему образы?

– Потому что в какой-то момент я понял, что образ – это интернациональный язык, он пересекает границы времени и пространства, мы до сих пор восхищаемся образами многовековой давности (образ мальчика, играющего на флейте коровам, у Горация, или образ девочки, опускающей руку в воду и пьющей, в древнекитайской поэме – это простые образы, их может понять любой человек в любой стране через тысячи лет); мы носим их в своих телах, в воспоминаниях – образы переселяются в сны, в речь.

– Итак, вы идете по улицам Одессы и...

– Я научился пребывать наедине с тишиной в городе: это делает поэзию для меня живой, на улицах она осязаема.

– Поэзия на каком языке?

– Конечно, сейчас я пишу стихи на английском.

– Расскажите, как вы перешли на английский.

– Когда мы приехали в США, мне было шестнадцать лет. Мы поселились в Рочестере, далеко на севере штата Нью-Йорк. Вопрос

о написании стихов на английском был бы забавным, так как никто из нас не говорил по-английски – я почти не знал алфавита (кстати, именно поэт Людмила Херсонская научила меня английскому алфавиту в 1993 в Одессе). Но прибытие в Рочестер, небольшой американский городок, было скорее удачным событием – это было похоже на прибытие в дом писателей, городок этот совсем не похож на Одессу. Одноэтажная Америка. Делать было абсолютно нечего, кроме как писать стихи. Почему тогда английский – почему не русский? Мой отец умер в 1994 году, через год после нашего переезда. Я сразу понял, что написать о его смерти русским языком мне будет невозможно. Как говорит где-то один автор о своем покойном отце: «Не становись прелестными строчками вычурных стихов». Я выбрал английский язык, потому что никто из моей семьи или друзей не знал его; никто, с кем я разговаривал, не мог прочитать то, что я написал. Сам я языка не знал. Это была параллельная реальность, безумно красивая свобода. Это все еще так.

– Мы в Одессе часто говорим о том, что миф о городе постепенно вытесняет реальность, и чем сложнее реальность, тем более прекрасным становится миф. В интервью Колину Келли из Reporter Newspapers and Atlanta Intown, которые вы дали в апреле этого года, вы тоже говорите о том, что «памятников писателям здесь больше, чем в любом другом городе, где я когда-либо был. Когда у них закончились писатели, они стали ставить памятники вымышленным персонажам». Вы постоянно воспеваете и восхищаетесь одесским юмором. Мне кажется, что вы с удовольствием преумножаете одесский миф, не так ли?

– О писании стихов надо говорить точно – или ничего. Давайте будем точными.

Для кого миф: для потребителей или производителей?

Для потребителей: сказка Одессы прекрасна!

Но для производителя, практикующего литератора это очень опасная вещь, она приводит к красованию перед зеркалом.

И висящая постоянно перед глазами большая картонная вырезка «Смотрите, у нас миф!» мешает делать то, что нужно писателям: заново видеть вещи.

– Можете ли вы рассказать об этом подробнее?

– Писатели, отказывающиеся отступать от собственных мифов, верящие в собственную пропаганду, очень быстро становятся скучными – как клоуны, смеющиеся над собственными шутками.

Писатель – существо неугомонное, постоянно меняющееся, с постоянно развивающимся воображением. Писатель – существо, постоянно ломающее правила и мифы, изобретающее новые, придумывающее новый язык.

Когда ностальгия *проблематична*? – когда настоящее превращается в уже прошедшее, отказывается видеть жизнь вокруг на улицах.

Но интересно: когда ностальгия *полезна*?

Когда ее видят не как рай, а как инструмент, например молоток. Да, ностальгия должна быть молотком, а не всем домом и не всем городом.

Не «ностальгия – это наше все», а «ностальгия как прием». Пример: ностальгия как язык, на котором мы говорим с мертвыми, язык потусторонний.

Вот эта перспектива мне интереснее.

В интервью всегда буду говорить об Одессе с обожанием (Это город, в котором влюбились мои родители! Это земля, где похоронены мои предки поколениями!), но когда я сажусь за писательский стол и закрываю дверь, одесский миф – это последнее, о чем я хочу думать.

А хочу думать о том, что значит жить на планете, о которой мы почти ничего не знаем, рядом с существами, о которых мы ничего не знаем, во Вселенной, о которой мы ничего не знаем… Что значит быть живым и пытаться говорить языком поэзии с людьми, которых уже нет в живых.

Говорить с мертвыми какими поэтическими средствами? Ремеслами?

Я хочу задавать невозможные, проклятые вопросы. Хочу следовать за музыкой, не зная, куда она может привести.

То есть меня действительно не интересуют готовые лозунги типа «Одесса – центр мира». (Сколько можно быть центром мира? Пора уже стать частью мирового сообщества!) Меня интересуют неуверенность в себе, открытие, удивление.

– Летом, несмотря на войну, вы снова приезжали в Одессу, побывали на одном из вечеров нашей литературной студии «Зеленая лампа». С вашей помощью эссе, очерки и стихи одесских литераторов появились в международных изданиях, в том числе в World Literature Today и The Paris Review. По вашему мнению, литература в Одессе жива? Конечно же, мы уверены в том, что нынешняя плеяда новых одесских авторов – явление достойное и примечательное, но хотелось бы понимать, как все выглядит извне, со стороны.

– В Одессу каждое лето, всегда вернусь, как кукушка, которая открывает носом дверцу и кукует, кукует, кукует.

Если Путин хочет свою идиотскую, ужасающую войну, это его преступление и преступление его соотечественников.

Моя работа – заботиться о могилах моей семьи в Одессе, это последнее место жительства, которое оставила моя семья в этом городе: могилы на Еврейском, Втором Христианском, Таировском кладбищах. Они спят там, как маленькие дети.

Когда люди, которых вы любите, умирают, вы постоянно ищете способ остановить время, хотя бы на мгновение. Это мой способ – приходить, мыть могилы и сажать цветы.

– Что касается помощи одесским писателям…

– Люди помогают друг другу в трудную минуту. Каким идиотом я был бы, если бы не сделал этого?

Город бомбят. Если мы будем говорить о его литературе, наш первый вопрос должен звучать так: как помочь авторам выжить в это время?

Все остальное – шелуха.

– А что нынешняя плеяда?

– Женя, люди выживают без электричества, а часто без воды и тепла – а ты хочешь, чтобы я начал ранжировать их стихи?

Читают стихи под сирену воздушной тревоги: угощают друг друга вишнями и наливают друг другу по бокалу вина – я видел это этим летом своими глазами.

Помню чудесные умные многоголосые, часто не согласные посиделки Михайлика в Шахском дворце в начале 1990-х. Эта группа

очень *иная*. Речь идет не столько о критическом обсуждении стихов, сколько о том, чтобы дать людям возможность быть услышанными. В военное время это так важно – быть услышанным.

Отворяется дверь, и появляется Голубовский, приветствует всех, очень терпеливо, очень ласково и грациозно, и слушает, и слушает, и слушает, и…

– И…

– И вой воздушной сирены – а люди дарили друг другу стихи. Сегодня для меня этого более чем достаточно, чтобы встать и начать аплодировать.

Так что, конечно, я хочу похвалить каждого одесского поэта прямо сейчас, во время вторжения, читающего стихи тем, кто решил остаться в этом городе, но…

– Но…

– Но проблема с именами в том, что я неизбежно кого-то забуду, и чувства будут задеты, но…

– Но?

– Но скажу так: я преподаю литературу вот уже пятнадцать лет. Это факт, что каждая великая новая эпоха в литературе совпадает с великой новой эпохой художественного перевода. Писатели, которые находят что-то новое в чужой поэтике, часто являются теми, кто меняет поэтику родного города, своего времени. (Можно говорить о влиянии древних вавилонских мифов на еврейскую Библию, греческих – на римских поэтов, Боккаччо – на Чосера. Далеко ходить не надо: вспомните Сковороду, который знал и писал на нескольких языках. Вспомните одесских писателей: влияние идиша и французского на Бабеля, влияние украинского на Багрицкого…)

Поэтому я так счастлив, что среди наших одесситов сейчас есть писатели, которые переводят с японского, английского, древнееврейского, есть те, кто пишет на украинском и на русском и так далее.

Думаю, в этом городе столкновение языков всегда было плодотворным для писателя.

Удивительно и то, сколько здесь жило художников и музыкантов: живопись и музыка, несомненно, открывают новые перспективы для писателей. Если писатель сможет найти способ перенести их в литературу. И поэтому меня радует, что в Одессе есть люди, которые либо занимаются искусством, либо пишут о нем. Это тоже – метафорическое окно.

– Во время нашей недавней встречи в Париже, на Un week-end à l'est, неделе культуры, посвященной в этом году Одессе, где вы представляли одесскую литературу, вы рассказывали о родившихся в Одессе Алене Боске, классике французской литературы, и Регине Дериевой, о которой восторженно отзывался Иосиф Бродский. Одесса никогда не забывает и не отпускает своих, где бы они ни жили, куда бы ни уехали. Считаете ли и вы себя частью одесской литературной традиции?

– Одесса всегда в моей жизни. Когда меня там нет, я хожу по улицам во сне. Хотя, в конце концов, моя зарубежная жизнь, языковой опыт – это то, что я привезу с собой. (Можно быть влюбленным, но не стоит обманывать себя. Я эмигрант.)

Параллельно я приношу Одессу в свои англоязычные произведения: Этот одесский темперамент смеха в час трагедии, эти танцы, чтобы не упасть…

Скажу честно: я иногда сомневаюсь – к чему столько смеха во время чумы? Не следует ли дать людям время погоревать?

А скорбеть есть о чем: город потерял треть населения – это история моей семьи из двадцатого века.

У скольких людей опять эта пластинка играет в 2022?

Неужели маска смеха слишком сильно прилипла к лицу города, и теперь ее невозможно сорвать?

Но в итоге одесское неповиновение через юмор, через стиль – меня покоряет, ведь я здесь родился.

И вот я хочу поженить эти прямо противоположные эмоции, горе и смех, на языке, который не очень подходит для такого темперамента, английском. Поженить, да. Как говорила моя бабушка на идише, сама жизнь – это свадьба.

– Каждый мальчик из приличной одесской семьи должен получить хорошее образование и иметь в руках надежную профессию. У вас есть юридическое образование. Но поэт давно и с разгромным счетом победил юриста – как в свое время художник победил юриста у выросшего в Одессе Василия Кандинского. Много лет уже вы преподаете поэзию и литературное творчество – когда-то в Сан-Диего, в Атланте, сейчас в Принстонском университете недалеко от Нью-Йорка. Расскажите об этом, пожалуйста.

– Преподавание – это то, что мне нравится: это удовольствие иметь возможность увидеть, как меняется мышление молодого человека, преображается благодаря тому, что каждый обнаруживает на странице. И они обнаруживают очень разные вещи!

– Кого из одесских учителей вы больше всего помните?

– Это, без сомнения, Лидия Адольфовна Щербина в 107-й школе – она привила многим в городе любовь к литературе, и я не исключение.

Если сейчас, в этот момент, по улицам города ходит десяток человек, бормоча себе под нос стихи, девять из них, вероятно, бывшие ученики Лидии Адольфовны.

– Встречались ли вы с ней, когда возвращались в Одессу?

– Конечно. А еще я приезжал сюда с другими поэтами с Запада, которые тоже с ней встречались. Она была очень любознательным человеком, ей хотелось знать, как устроена поэзия на другом языке. Каких писателей любят читать, кого переводят и почему. Она хотела знать все. Я предложил Лидии Адольфовне создать ежегодную серию открытых бесплатных лекций о мировой литературе и поэзии, которые проходят в Одессе на разных языках. Почему бы не поговорить о современных французских, немецких и бразильских поэтах в Одессе?

Но потом она заболела и умерла, а потом моя мать сильно заболела на долгие годы, и мое внимание переключилось на другие вещи. Но я все еще думаю, что это была бы отличная идея.

Илья Каминский и Евгений Деменок. Париж, ноябрь 2022 г.

– Во многих интервью, которые вы дали в этом году, вы говорите о стойкости украинского народа, а еще о том, что поэзия сейчас, во время войны, нужна как никогда. В мае тридцать пять одесских авторов собрали свои тексты для сборника «Война». Евгений Михайлович Голубовский, инициатор этого (как и десятков других) сборника, сказал, что, когда говорят пушки, музы ни в коем случае не должны молчать. Однако история много раз показывала, что чтение поэзии вовсе не уменьшает ни жестокость, ни невежество – достаточно вспомнить амбициозный проект Иосифа Бродского, когда он как поэт-лауреат настоял на активном распространении поэтических сборников в США, чтобы бороться с «пошлостью человеческой души». Увы, человеческая натура остается прежней. И все же вы верите в спасительную силу поэзии. Почему?

– На мой взгляд, великий поэт – это не тот, кто кричит в микрофон на стадионах при многотысячной толпе, а очень закрытый человек, который пишет красиво и достаточно странно, настолько завораживающе, что слова на странице могут сказать что-то очень личное многим людям *одновременно*.

Не публичное позерство, а очень частная речь, в которой стих становится личной речью читателя.

Ты просыпаешься посреди ночи, ты в кризисе, ты не находишь слов, а потом, ах, вспоминаешь строчку. Или ты шепчешь про себя слова поэта, как свои собственные.

А потом ты переворачиваешь подушку на другую сторону, тебе становится немного спокойнее, ты снова можешь спать.

В каком-то смысле стихотворение завораживает нас (как заклинание в прошлые века).

Мы должны вернуться к нему, должны запомнить его, должны пронести в своем теле через годы, взвывая, как раненое животное, к строкам из памяти, когда у нас больше ничего нет, глоток воздуха.

Вот что со мной делает поэзия. Желаю вам того же.

– Много лет вы были редактором серии Poets in the World, в которой выходили в переводе на английский поэтические

сборники авторов из разных стран. Есть ли у современных украинских поэтов шансы на издание сборника в этой серии?

– Рад сообщить, что новая антология поэзии из Украины, которую я только что редактировал с американской поэтессой Кэролин Форче, будет опубликована этой весной издательством Arrowsmith Press в Бостоне.

– Еще до войны мы с вами говорили (вернее, говорили вы, а я восторженно соглашался) о том, что было бы здорово привозить каждое лето двух-трех поэтов с мировым именем на литературную резиденцию в Одессу – с тем чтобы они, создавая тексты о нашем родном городе, прославляли его, увеличивали его популярность и узнаваемость в мире. После войны это станет еще более актуальным, как вы считаете?

– Я планирую быть в Одессе этим летом. Если будете в Одессе – давайте поговорим.

Меня интересует литературный разговор: здесь, в Одессе, мы мифологизируем, например, Бабеля. А если посмотреть на него с точки зрения других писателей из разных стран мира?

Что, если бы великие писатели последних пятидесяти лет, находившиеся под его влиянием – а их было немало, – имели возможность побывать в Одессе? И я имею в виду действительно важных писателей, таких, как лауреаты Нобелевской премии Каннетти, Зингер или Беллоу, или несколько более молодых, таких как Грейс Пейли, Синтия Озик или Богумил Грабал. Все они либо говорили о его творчестве, либо писали о нем. (Синтия Озик сравнивала Бабеля с Кафкой. А вот, например, Джон Апдайк писал, что Бабель не великий писатель, что ему ой как далеко до Кафки. Я думаю, Бабель замечательный, но сравнение интересное, тут есть о чем поспорить.) Все они теперь мертвы. А если бы в свое время они побывали в Одессе и поговорили с другими одесскими писателями? Подружились?

Конечно, люди уже приезжают сюда на фестивали. Но что происходит на фестивалях? Иностранные писатели в основном разговаривают с другими иностранными писателями на английском или немецком языке. Они заняты своими чтениями и посещают

чтения друг друга. У них буквально нет времени разговаривать с одесситами.

Поэтому моя идея такова: давайте привезем их в город чуть на дольше, чем на два-три дня, давайте привезем их по одному, давайте проследим, чтобы они подружились с одесскими писателями и вместе погуляли по улицам города. Так начинается дружба, начинается разговор.

Пусть посидят в кафе, вместе пойдут на море, запишут новые образы и поймают новые мелодии.

Вопрос о спонсорах, конечно. Но я думаю, что смогу найти спонсоров. И я благодарен вам за то, что вы продолжаете возвращать эту идею. Спасибо вам за это.

– Мой пражский приятель, поэт Антон Романенко, защитил недавно в Карловом университете магистерскую работу, посвященную вашему творчеству, о котором говорит с восторгом и придыханием. Одной из книг, которую вы перевели вместе с супругой Кейти Фаррис, является книга «Если бы я родился в Праге» канадского поэта Ги Жана. Не могу не спросить: бывали ли вы в Праге?

– Привет Антону Романенко! Я никогда не был в Праге, но когда приеду, мы выпьем хорошего кофе и почитаем вслух Кафку на скамейке в парке. Потом выпьем покрепче, пойдем к другой скамейке и почитаем стихи Владимира Голана. А потом на другую скамейку, где, может быть, уже сидит хорошенькая девушка и читает вслух рассказы Богумила Грабала. И мы послушаем, пошепчемся и пойдем в ресторан. Это будет хороший день.

Мы жили счастливо во время войны

И когда они бомбили чужие дома, мы
негодовали,
но мало, мы протестовали, но
мало. Я сидел
в кровати, вокруг кровати Америка

разваливалась: невидимый дом за невидимым домом
за невидимым домом.
Я вынес на улицу стул и смотрел на солнце.
На шестой месяц
гиблых дел в доме денег
на улице денег в городе денег в стране денег
в нашей самой прекрасной стране денег,
мы (смилуйся над нами)
жили счастливо во время войны.

Перевела Вальжина Морт

Элегия

И все же я есть. Я существует. У я
есть тело;
при виде

стройных мальчишечьих ног моей жены
небо
пересыхает у меня во рту.

Она берет палец моей ноги
себе в рот.
Покусывает.

Как же нам жить на Земле, Соня?
Если бы я мог услышать

тебя, что бы ты мне сказала?
Твой ответ, Соня!

Прежде всего, берегись
печали:

на Земле мы ведь можем делать
– можем ли? –

что захотим.

Перевел Дмитрий Кузьмин

Тост

Якщо ти хочеш цього, це не сон.
Теодор Герцль

Жовтень: виноградні грона були, як руки дівчат,
складені в молитві. Пам'ять,
шепочу я, прокидайся.
В моїх венах
довгі склади натягують свої мотузки, дощі приходять
і проливаються ідишем вісімнадцятого
століття, або темною мовою, для якої існує
єдине слово: уява.
Уява! юна дівчинка танцює польку,
безстрашно сповіщаючи про божу смерть
(чи про те, що бог сховався під ліжком, чекаючи
на Месію).
В моїй країні дощ вечорами приносить воду, складки
тополь бронзовіють у світлі, що зблискує на цих сторінках,
де я, батьки,
нездатний описати ваші сни, п'ю
свою тишу.

Переклав Сергій Жадан

На танцах в Одессе

Где мы жили? На север от будущего, куда спешили
письма, подписанные ребенком: ягода малины, страница неба.
Бабушка бросалась помидорами
с балкона, она натянула фантазию
мне по самые уши. Я рисовал
мамино лицо. Она копалась
в одиночестве, мертвецов зарывала в землю, как партизан.
Ночь раздевала нас (я щупал
ее пульс) мама танцевала, заставляя прошлое
персиками, запеканками. Мой доктор смеялся, его внучка
прикоснулась к моему веку – я целовал
ее под коленкой. Город дрожал,
призрак-корабль отчаливал.
Мой одноклассник придумал двадцать прозвищ для евреев.
Сам он был ангелом, безымянным,
и да, мы сразились. Мой дед шел
против немецких танков на тракторе, я жил с чемоданом
стихов Бродского. Город дрожал,
корабль-призрак отчаливал.
По ночам я просыпаюсь, шепчу: да, мы жили.
Мы жили, да, это вовсе не сон.
На заводе отец взял пригоршню снега
и положил ее мне в рот.
Солнце, его каждодневный рассказ,
отбеливало их тела: мама, отец танцевали,
а темнота была шепотом за их спинами.
Где мы жили? В апреле. Солнце моет балконы. Апрель.
Эту сказку свет выжег
на моей ладони: книжечка, иди в город одна.

Перевела Вальжина Морт

*

Однажды или дважды
За время жизни
Каждого из нас очищают от кожуры,
Как яблоко.

Остается голос,
Проникающий в самую сердцевину
Нашего существа.
Так посмотришь – слякоть, скабрезность, грязь.
Но форма, но очертание, но силуэт!
Вот она – радость.
Вот благодаря чему
Мы больше, чем тишина.

Перевела Полина Барскова

Валерий Романов

Династия Мюльбергов: как силач певец из Эстонии Одессу покорил

В многонациональной Одессе не так много семейных династий, которые в разное время и в разных сферах сыграли существенную роль в развитии одесской культуры. Одна из них – династия Мюльбергов, основал которую эстонец Эвальд. История эта похожа на добрую сказку: то ли Андерсона, то ли братьев Гримм, а может, и Владимира Даля… Наш собеседник – Сергей Мюльберг, заместитель генерального директора, художественного руководителя Одесского академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Украины.

– Сергей, вы представитель третьего поколения артистической династии Мюльбергов, именно в Одессе раскрывшей свои таланты. Хотя происходят Мюльберги из Эстонии.

– Да, это именно так. В самом начале XX века в путь из Таллинна в Одессу впервые отправился на парусном судне Эвальд Мюльберг. Родился он 27 декабря 1885 года на хуторе под Таллинном. У него были три сестры, которые учились в пансионе, а из своего единственного сына отец готовил будущего хозяина фермы. Во время своих редких поездок в Таллинн на ярмарки Эвальд видел красивые игрушки, корабли, стоящие в порту у причалов, и мечтал отправиться в путешествие на одном из них. Его мечте суждено было сбыться в 1903 году – вопреки желанию родителей. Втайне от них он нанялся матросом на парусник. В Китае с группой товарищей-матросов он пришел в цирк и увидел выступление борцов. А когда хозяин цирка предложил зрителям помериться силой с победителем турнира, товарищи уговорили Эвальда

Эвальд Мюльберг

Елена Осиповна Мюльберг в 1930-е гг.

выйти на манеж и вступить в борьбу. Друзья-матросы хорошо знали о недюжинной силе и ловкости Эвальда, который и победил циркача. Публика была в восторге. Хозяин тут же предложил большой гонорар за работу в своем цирке. Кстати, кроме силы и ловкости Эвальд обладал еще и музыкальными талантами: у него были хороший слух и приятный тембр голоса. Вот и стал он не только бороться, но и петь во время цирковых представлений.

Труппа колесила по всему миру, пока не попала на гастроли в Одессу. И вот здесь произошло романтическое знакомство с Таисией Стрепетовой – дочерью хозяина одесского цирка. Знакомство закончилось свадьбой. Вскоре на свет появились двое сыновей: Евгений и Александр. Оба выбрали для себя жизнь в искусстве. Евгений окончил художественно-театральную студию у Всеволода Мейерхольда в Москве, снялся в фильме «Морской ястреб». В 1937 был приглашен в Малый драматический театр в Ленинграде. В 1941 году ушел добровольцем на фронт и погиб под Таганрогом. Александр остался с отцом работать в цирке.

В 1924 году Эвальд Мюльберг женился во второй раз – его избранницей стала Елена Ридль, циркачка, которая вошла в его номер воздушных гимнастов-акробатов.

Творческий путь Эвальда Мюльберга продолжался шестьдесят четыре года! Начав в 1903 году с ученичества у воздушного гимнаста Матеуса, работал на турнике и в полете, затем – ловитором в воздушном полете. В 1911 году создал групповой воздушный полет под псевдонимом Эльворти, включив в номер впервые в русском цирке комика-вольтижера. В 1987 году создал первый в советском цирке номер «Полет с батутом» под псевдонимом Эвальдо. В 1945-1948 годах создал и поначалу руководил детской цирковой студией в одесском цирке. Весь Советский Союз рукоплескал артистам Эвальдо и Эльворти.

У Эвальда и Елены родилась тоже пара сыновей: в 1928 году Калио, а в 1938 году Игорь. Игорю передались по наследству физические данные отца, и он после успешной спортивной карьеры окончил аспирантуру, защитил диссертацию и стал заведующим

Эвальд Александрович в ложе почетных гостей на 100-летии Одесского цирка.

кафедрой тяжелой атлетики Московского областного института физической культуры. Тренировал сборную Кубы по тяжелой атлетике.

Анекдоты от семьи Мюльбергов

Конферансье: «Под куполом цирка воздушные гимнасты Ирина и Элеонора Абрамовы».

Зритель: «Зацените, сейчас евреи кидать друг друга будут!»

Раньше артисты цирка ругались матом после исполнения каждого номера. Так появилось знаменитое «Оп-ля!».

А вот старший сын Калио увлекся музыкой и с 1942 года стал играть на кларнете в цирковом оркестре.

В 1944 году Эвальд создал при одесском цирке детскую студию, одну из первых в Советском Союзе (в энциклопедии указан 1946 год), и преподавал в ней несколько лет. Манеж Эвальд оставил в 1967 году.

Первый концерт Калио Мюльберга в статусе лауреата международных конкурсов в Киевской филармонии. За роялем – концертмейстер Надежда Кириченко

В 1947 году его сын Калио поступил в Одесское музыкальное училище по классу кларнета. Работал артистом, а вскоре и солистом Одесского симфонического оркестра при филармонии. Спустя всего год его пригласили солистом-кларнетистом в оркестр Одесского театра оперы и балета. Параллельно он учился в Одесской консерватории, а с 1952 года, еще студентом, начал преподавать в классе кларнета.

Супруга Калио Лариса, заведующая кафедрой иностранных языков в Одесском медицинском университете.
60 лет Калио и Лариса прожили в любви

В 1953 году он женился на студентке Одесского университета Ларисе Ингер. И в этой семье Мюльбергов продолжилась традиция. У них родились два сына: в 1956 году Сергей, а в 1966-м Олег. В 1957 году солист оркестра Одесской оперы Калию Мюльберг, пройдя горнило отборочных конкурсов в Одессе и Киеве, победил в Москве на Всесоюзном конкурсе исполнителей и завоевал третье место на конкурсе в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Награду ему вручил сам Давид Ойстрах! Калио играл в театральном оркестре одиннадцать лет.

Более шестидесяти лет Калио Эвальдович Мюльберг проработал в Одесской консерватории, стал профессором, заслуженным деятелем искусств Украины, кандидатом искусствоведения. 8 октября 2018 года, к сожалению, Калио умер.

В Одесской музыкальной академии им А. Неждановой (так теперь называется консерватория) кафедра духовых инструментов сейчас носит имя профессора Калио Мюльберга. Раз в два года проводится конкурс молодых исполнителей игры на кларнете. Но тем не менее мы собираем и анекдоты про кларнетистов. Вот самокритичная история.

Олег, младший сын Калио Мюльберга, – врач, работает в Одессе.

Сергей (герой интервью) – старший сын, окончил Одесскую консерваторию по классу кларнета у профессора В.П. Повзуна. Занимался преподаванием в Одесском музыкальном училище

Профессор Калио Мюльберг

им. К.Ф. Данькевича, работал заместителем директора Одесской филармонии, директором Одесского театрально-художественного училища. Заслуженный деятель искусств Украины.

Анекдоты от семьи Мюльбергов

Уставший кларнетист возвращается после работы домой, а его жена в это время пытается уложить спать хныкающего ребенка. Малыш капризничает, и женщина, с надеждой глядя на супруга, говорит:

– Послушай! Он до сих пор не может уснуть! Может, ты попробовал бы как-то уложить его?

– Ну… О! У меня есть идея! Я буду играть ему колыбельную на кларнете!

– Знаешь, а может, сначала попробовать по-хорошему?

– Наверняка остались родственники в Эстонии…

– Прочитав в газете о победе Калио Мюльберга на фестивале в Москве, родственники из Таллинна, двоюродные братья Эвальда Феликс и Вольдемар, прислали письмо с поздравлениями в Одесский оперный театр. Таким образом, возобновились семейные связи. Впоследствии братья Эвальда несколько раз приезжали в Одессу.

– Как вы думаете, почему ваш дед осел в Одессе, а потом ваш отец посвятил свою жизнь, творческую карьеру сначала одесской опере, а потом и консерватории? Ведь братья вашего отца реализовали себя в Москве.

– В Одессе всегда была совершенно особая атмосфера: быть в Одессе и не творить человеку искусства было просто невозможно. Здесь до революции был, впрочем, и сохранился в практически неизменном виде по сей день удивительный цирк – деревянное здание с абсолютно уникальной аурой. Я понимаю своего деда…

Я не удивляюсь тому, что мой отец, переступив порог одесской оперы, гордился тем, что играл в ее оркестре и достиг высот исполнительского мастерства.

– А каким он был отцом, как общался с другими людьми, с коллегами, с учениками?

– Мне всегда хотелось быть на отца еще больше похожим. Он прекрасно водил машину. Мама тоже имела водительские права, но за руль садилась редко. Первый наш автомобиль – это ЗАЗ-969, горбатый «Запорожец», на котором наша семья в отпускное время объездила Молдавию, Румынию, Болгарию, Чехословакию, а если в дороге случались мелкие поломки или прокол колеса, отец всегда как настоящий мужчина легко все исправлял. В день зарплаты, а я всегда ждал этого дня, отец приносил любимой Ларисе букет цветов и огромный торт. Папа был спортивно сложен и отлично мог станцевать чечетку, играл в волейбол за команду консерватории и очень хорошо плавал. За гардеробом всегда следила мама: отец не любил ходить по магазинам, а у мамы был прекрасный вкус. Папа с большим удовольствием поддавался требованиям моды.

Летний отдых мы проводили на даче у маминых родителей, дедушки Николая Ивановича Ингера, капитана дальнего плавания, и бабушки Асьмы Ахмеджановны, на девятой станции Большого Фонтана. Однажды папа пришел и сказал: «Мы переезжаем на Каролино-Бугаз на собственную дачу прямо у кромки Днестровского лимана».

Правда, часть денег на дачу в Каролино-Бугазе пришлось одолжить у бабушки и дедушки. Дача находилась на станции Солнечной. Прямо за калиткой плескались волны Днестровского лимана. Конечно, после покупки дачи сразу купили лодку, и наша семья с огромным удовольствием ловила бычка и ставридку. Дача была небольшим деревянным домиком из двух комнат и кухни, а так как туда приезжали все друзья и коллеги-музыканты, было принято решение о расширении чердака и переделке его в жилое помещение, достройке балкона с террасой на лиман и, конечно, наружной лестницей на второй этаж. Когда купили дачу, она имела площадь четыре сотки. Но прошла зима, и лиман смыл забор и часть участка. Весной начались строительные работы, в которых отец проводил все время, когда приезжал, так сказать, «отдохнуть на Бугаз». Со временем все обустроилось.

Семья наша была очень гостеприимная: к нам съезжались друзья и ученики, очень часто и много. С раннего утра звуки кларнета разносились далеко по побережью Черного моря. Папа и мама любили не только принять, но и угостить друзей, в этом мастером была бабушка Асьма, владевшая секретами приготовления восточной кухни: плов, бульон, перемячи и сладости. Всегда составляли два или три стола, чтобы всем было место.

Папа вел класс кларнета и в школе Столярского, ведь в то время было много детей, стремившихся заниматься музыкой. Классов не хватало, уроки нередко проходили дома, и тогда квартира превращалась в класс Калио Эвальдовича. Мы жили на улице Подбельского в тридцатом номере, в семи минутах ходьбы от консерватории, и папа всегда приходил на обед только домой. А обедал он с большими аппетитом и с удовольствием. В начале девяностых годов наша семья переехала в большую квартиру на ули-

цу Щепкина, 9, где у отца появился отдельный кабинет, в котором он смог написать свои книги и продолжить заниматься делом всей жизни – искусством обучения исполнительскому мастерству кларнетиста.

– А вы продолжили традицию семьи Мюльбергов: у каждого отца рождается двое сыновей?

– Нет, у меня все скромнее – сын Андрей, работает врачом.

– Вы пошли по стопам отца – стали кларнетистом, потом преподавателем. А сейчас?

– Сейчас я работаю в одесской опере, самом знаменитом театре в городе не только благодаря красоте здания, прекрасному творческому коллективу, но и богатству своих традиций.

…И не было в Западной Европе ни одной знаменитой певицы или певца, которые не пели бы в одесском оперном театре. На сцене театра пели Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Саломея Крушельницкая, Антонина Нежданова. Танцевали Анна Павлова, Айседора Дункан, Екатерина Гельцер. Концертировали Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. Играли драматические актрисы Сара Бернар и Элеонора Дузе, итальянский трагик Эрнесто Росси. Дирижировали оркестром Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, Антон Рубинштейн и Эдуард Направник, Антон Аренский, Александр Глазунов и многие другие.

Но это уже совсем другая история…

Евгений Голубовский

Одесские музы поэтов

Так назывались две книги замечательного врача, но одновременно и поэта, и исследователя литературы Леонида Григорьевича Авербуха.

В январе 2022 года в девяносто лет автор умер. А книги его живут. На первой из них он написал:

«Экз. № 1. Дорогому Жене Голубовскому – инициатору и вдохновителю этого проекта, с добрыми пожеланиями и признательностью. От автора. Л. Авербух. 9 мая 2019»

Горжусь, что причастен.

А раз так, то продолжу этот проект. Всегда был убежден, что настоящая одесситка вне сравнений. В этом меня поддержали Пушкин и Тарас Шевченко, Маяковский и Есенин, Бунин и Набоков… Но список, оказывается, рано закрывать. Как бы обрадовался Леонид Григорьевич, если б я ему сегодня позвонил и, как обычно, сказал: «Пишите: первая жена Константина Симонова – Наташа Гинзбург».

Да, рассуждая о Симонове, мы чаще всего вспоминаем Валентину Серову, актрису, вдову друга Симонова, летчика-аса Анатолия Серова, которой Симонов посвятил военную книгу стихов «С тобой и без тебя». Но она была третьей женой поэта. Четвертой и последней была искусствовед Людмила Жадова (Жадовым ее отец, генерал, стал по указанию Сталина – в одну ночь всей семье переделали паспорта, и генерал *Жидов* стал *Жадовым*). Симонов удочерил ее дочь от брака с Гудзенко, и у него с Ларисой родилась дочка. Кстати, когда умер после войны от ран Семен Гудзенко, а у него остались вдова с крошечным ребенком, три поэта, не договариваясь, сделали Ларисе предложение. Он выбрала Константина Симонова.

Вторая жена – Евгения Самойловна Ласкина (1915, Орша – 1991, Москва) (двоюродная сестра сценариста Бориса Ласкина, в первом браке была замужем за звукооператором Я.Е. Хароном), филолог (окончила Литинститут 22 июня 1941 года), литературный редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Москва». В 1949 году пострадала в период кампании по борьбе с космополитизмом. Благодаря ей печатался Шаламов, ей, в том числе, читатели обязаны публикацией в середине 1960-х годов булгаковского романа «Мастер и Маргарита». В 1939 году у них с Симоновым родился сын Алексей.

А кем же была первая жена поэта?

Первая жена Константина Симонова – Наталья Викторовна Гинзбург (Соколова) (12 августа 1916, Одесса – 25 сентября 2002, Москва), писательница, родилась в Одессе в семье Виктора Яковлевича Гинзбурга (Типота), драматурга и режиссера, автора либретто «Свадьбы в Малиновке», одного из основателей Московского театра сатиры, брата мемуаристки Л.Я. Гинзбург. Мать – театральная художница Надежда Германовна Блюменфельд. Внучка правоведа Г.Ф. Блюменфельда.

В 1938 году Наталья (Ата) Гинзбург (Типот) с отличием окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Печаталась как литературный критик с 1936 года.

Одесситы запомнили Виктора Гинзбурга и его дочь Ату по театру «Крот», где он выступал, ставил, писал совместно с Верой Инбер.

Виктор окончил гимназию в Одессе в 1911 г. В 1918 году окончил физико-математический факультет Императорского Новороссийского университета. После Октябрьской революции – автор и режиссер театра миниатюр «Крот» («Конгрегация рыцарей острого театра»). В 1920-х годах – художественный руководитель Московского театра сатиры.

В конце 1930-х годов основал вместе с Давидом Гутманом Московский театр миниатюр.

Псевдоним Типота обязан своим происхождением друзьям писателя и его собственному чувству юмора. За длинный нос Виктор Гинзбург получил в дружеском кругу прозвище Чайник. Его английский эквивалент (tea pot) и стал творческим псевдонимом Виктора Яковлевича. Дочь отказалась от этого псевдонима и вошла в литературу и в жизнь К. Симонова как Наташа Гинзбург.

Первая книга поэта вышла, после того как он расстался с Наташей. Но книгу он посвятил Наталье Гинзбург.

Через час с небольшим уезжаю с полярным экспрессом.
Так мы прочно расстались, что даже не страшно писать.
Буду я отправлять, будешь ты получать с интересом
И знакомым читать, и в корзинку спокойно бросать.

Именно с этих строк и начинается поэма Константина Симонова «Пять писем», которую он посвятил своей первой жене Наталье Гинзбург. Все творчество этого человека – участника Великой Отечественной войны, прозаика, поэта, киносценариста, было, словно личный дневник, связано с событиями его биографии.

Встреча молодых студентов оказалась роковой для них обоих. Это была любовь с первого взгляда, первый восторг, острота эмоций и накал страстей.

Я любил тебя всю, твои губы и руки – отдельно.
Удивляясь не важным, но милым для нас мелочам.

Они поженились, когда невесте не исполнилось и восемнадцати, а жених был всего на год старше.

Я тобой дорожу, я тебя безгранично ценю.
Потому что я верю и знаю тебя все короче,
Потому что ты друг, потому что чутка и умна…
Одного только нет, одного не прочтешь между строчек:
Что без всех «потому» ты мне просто, как воздух, нужна.

Оба учились в одном Литературном институте им. А.М. Горького, который окончили в 1938 году, причем Наталья с отличием. А дальше – вереница похожих друг на друга дней и рутина семейной жизни. На смену былой восторженности и эйфории пришли будни любви, которые оказались их союзу не под силу. Исчезла былая легкость общения, наступил период взаимных притирок и компромиссов.

Мы друг другу за все благодарными были когда-то.
Все казалось находкою, все не терпелось дарить.
Но исчезли находки, дары приурочены к датам,
Все и нужно, и должно, и не за что благодарить.
Куча мелких привычек нам будние дни отравляла.
Как я ел, как я пил – все заранее знать ты могла,
Как я в двери входил, как пиджак на себе оправлял я,
Как садился за стол, как вставал я из-за стола.

Симонов и Гинзбург прожили в браке совсем недолго, до конца 1938 года. Трудно сказать, кто из них был инициатором разрыва. Уже будучи женатым во второй раз, он пишет поэму «Пять страниц», которую посвящает Наталье. Это стихи, полные любви

и тоски, переживаний от разрыва отношений. Между строк поэмы сквозит желание лирического героя вернуться назад.

Да, мне трудно уехать. Душою кривить не годится.
Но работа опять выручает меня, как всегда.
Человек выживает, когда он умеет трудиться.
Так умелых пловцов на поверхности держит вода.
Почему ж мне так грустно…

После развода они оставались в дружеских отношениях. Наталья после окончания института работала в отделе критики «Литературной газеты».

Годы Великой Отечественной войны Гинзбург провела в эвакуации в городе Чистополь, недалеко от Казани. Ее первая книга – сборник «Нас было четверо» – была опубликована в 1961 году.

Но свои крупные произведения она написала в жанре фантастики и так называемой «городской сказки».

Последние годы жизни Наталья Гинзбург целиком посвятила работе над большим мемуарно-архивным повествованием.

Что ж, друзья, будем продолжать поиск одесских муз поэтов в память о нашем друге Леониде Авербухе…

Феликс Кохрихт

Рисуют Рябченки

Так совпало, что в первые дни нового года Степан Рябченко один за другим прислал мне два рисунка, принадлежащие деду и внуку. Первый, сразу вызвавший у меня давно забытое погружение в послевоенное детство, выполнен конце пятидесятых годов минувшего века и продолжает традиции наших превосходных графиков, каким и был Сергей Васильевич Рябченко. На рисунке – ситуация, вызывающая у моего поколения ощущение дежавю: это меня, держа за руку, мама ведет по лестнице Ланжероновского (тогда имени Ласточкина) спуска, ведущей из порта в город; это я спустя годы буду подыматься по этим ступенькам, спеша в литературный и археологический музеи или в оперный театр, где сегодня вечером премьера…

Но это не я, и мама не моя, Софья Ефимовна, а Ольга Степановна – Васи Рябченко, которому только исполнилось четыре года. И, что удивительно, обе много лет работали библиотекарями. Васина – в Одесском художественном училище имени Грекова. Рисунок имеет все положенные атрибуции: «Спуск Ласточкина», 38, 5×45,9 см, бум., цветная линогравюра.

Второй файл, полученный на мою электронную почту, содержал статью из знаменитого журнала «Time» о недавно состоявшемся международном аукционе – на него свои работы выставила «команда специалистов RELI3F», создавшая фонд, в который тридцать семь художников со всего мира внесли свои работы – вклад в поддержку Украины. «Менее чем через минуту после начала аукциона продажи составили более миллиона долларов». После этой цитаты из журнала сообщаю, что среди них была и композиция Степана Рябченко. Ее девиз журналист «Time» определяет так: «Мир нуждается в любви, мир хочет любви, и мир ее найдет».

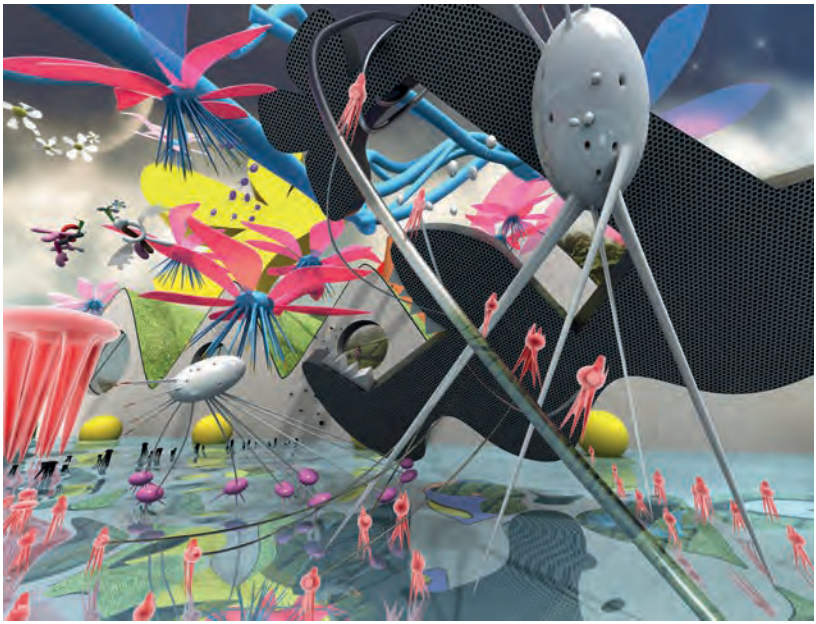
Степан Рябченко. Портрет кота. 29,7×21 см, бумага, перманентный маркер. 2015 г.

Творческую манеру Степана, цветовую палитру его работ наши читатели уже видели – на обложке восемьдесят восьмого номера нашего альманаха и в иллюстрациях к моей статье, в которой рассказывалось о том, что наш земляк по итогам вернисажа на «Экспо-2020» (Дубай) вошел в десятку самых перспективных современных молодых цифровых графиков мира. Именно графиков: и карандаш, и перо, и резец деда, Сергея Васильевича, и компьютеры внука – Степана Васильевича, – рабочие инструменты современного художника-графика. Уверен: эта тема, возникающая в дискуссиях об изобразительном искусстве XXI века (они идут давно), будет развиваться, а мы в этой публикации продолжаем знакомство с потомками основателя династии Рябченко.

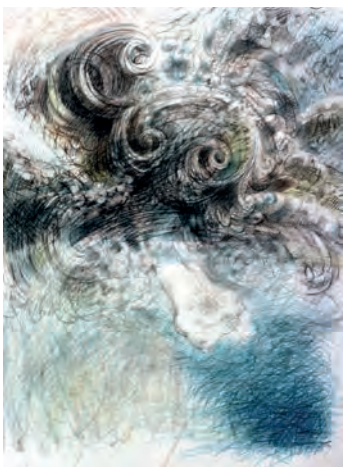
Василий – сын Сергея и отец Степана – один из родоначальников второго одесского авангарда, известен живописными полотнами, где цвет и свет не просто фон и средство, а подчас и смысл работы. Признаюсь, что за годы дружбы с ним и Леной я не видел его графики. И вот Степан послал мне отцовский рисунок (бумага, карандаш) «Ныряльщик», поразивший неожиданной экспрессией и драматизмом, чего, признаюсь, не ожидал…

Степан познакомил меня с серией своей карандашной графики времен обучения на архитектурном факультете – изысканных затейливых смешных рисунков, ставших впоследствии поводом для создания концептуальных цифровых образов, среди которых выделяется Гуляющее Облако, «линейная композиция» (так у автора посвященной ему статьи), воплощенная не только в журнальных репродукциях, но и в объемной скульптуре из наноматериала и выставленная

Сергей Рябченко. Спуск Ласточкина. 38,5×45,9 см, бумага, цветная линогравюра. Начало 1950-х гг.



Степан Рябченко. Искушение святого Антония. 2010 г.



Василий Рябченко. Ныряльщик. 72×49 см, бумага, карандаш, 1993 г.

Сергей Рябченко. Откровение. 2022 г.

в Украинском павильоне «Экспо» в Дубае. Она вызвала ажиотаж у публики и у критиков.

На наш экспромт – на виртуальный вернисаж в нашем альманахе под девизом «Рисуют Рябченки» – Степа предложил свою компьютерную работу «Искушение святого Антония». Любопытно, что и у Василия есть мощное живописное полотно, навеянное этим мистическим религиозным сюжетом, но трактовки его, избранные отцом и сыном, – различны. Но это тема отдельного разговора.

Вера Рябченко. Птичка в кленовых листьях. 68×46 см, бумага, тушь, перо. 2019 г.

В ходе нашей беседы я узнал от Степана, что младший брат Сергей, курсант морской академии, не только пишет музыку к презентациям его работ, но и сам создает сюжеты, и реализует их при помощи компьютерной графики а в стиле фэнтези. Они сродни тем, чем нынче увлекается молодежь во всем мире – причудливый микс надежд, тревог, игры, приколов и смутных ожиданий…

Я предположил, что их сестра Вера, получившая высшее образование в Китае, по умолчанию также владеет искусством графики: ведь каждый иероглиф, особенно в каллиграфическом варианте, – и слово, и образ, и рисунок. Старший брат со мной согласился, в завершение беседы подарил нам с Таней символ начавшегося года – портрет Кота, указав, как положено, атрибуты: «Кот усатый», рис. Степана Рябченко (карандаш, бумага), 2023.

И наконец – о том, почему эти заметки озаглавлены «Рисуют Рябченки». Да потому, что речь идет о династии одесских художников, родоначальники которых так и именовались в кругу коллег, соседей, почитателей: Шелюты, Коваленки, Филипенки, Рябченки…

Сегодня мне, послевоенному пацанчику, захотелось назвать моих друзей именно так.

Юлия Жаркова

Опасные цветы

«…И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой…»
М. Кириенко-Волошин

Я еще была очень далеко, когда гремели эти прорывы в плотных соединительных тканях официального искусства. А в детстве моем было достаточно квартирников, о которых нельзя не вспоминать.

Понятны предпосылки, понятно, приблизительно когда все началось – запрещенные подпольные экспозиции и концерты на дому. Все, что делалось не благодаря, а вопреки; гудело, булькало и пело, не давая покоя, – и приобрело форму долгоиграющего проекта.

Может, в начале это был просто небрежный жест Никиты Алексеева, «с бокалом Шато О-Брион в руке». Однажды в виде шутки – мол, да будет apt-art. Как следствие всемирно известной Бульдозерной выставки и других проб экспонироваться у неформалов.

Начнем с самого начала…

Белые стены, цветные нитки

Мои родители разошлись, когда мне было шесть. Отец переехал из квартиры, которая была получена от политехнического института, где он преподавал, в коммуналку моей бабушки. Забрал огромный стеллаж с книгами. Письменный стол, печатную машинку, опять же книги. Все это он забрал не от жадности,

а потому что книги и все остальное необходимы были ему для работы. Интерьер нашей малогабаритной трешки существенно изменился, и мама решила вместо блекло-лиловых обоев с еле заметной позолотой в гостиной покрасить стены белой краской, точнее – вообще известкой… Соорудить рамы для гобеленов и заниматься гобеленами и акварелями. В свободное от преподавания на архитектурном время.

Она заручилась поддержкой художника Жени Рахманина и его жены Тани. Якобы они готовы были помочь ободрать обои и побелить все известкой вместе с мамой.

Так. Об этом не надо писать, не, не надо, нехорошо, надо стереть, право слово. Или что, да? Ну хорошо. То есть не годится. И все же. Нет. Напишу все, как помню.

Обернулось это малярное новаторство невероятнейшим по своему размаху алкотрэшем вышеозначенных, исчезновением с радаров на пару месяцев, если не на полгода, ободранными стенами, страшными и холодными (наша девятиэтажка, харьковка, построена из армированного бетона). Обдирала мама (ногтями), я, брат и кто-то вечно ночующий «одну только ночь», переходящую в недели и года. Если честно, трудно сегодня упомнить имя героя (или героини), сражавшейся (сражавшегося) за идеальную гладкость бетонных плит.

Ближе к победе над непокорными кусочками прилипших обоев появляются Рахманы, изрядно помятые, но непобежденные, и приносят с Привоза ведро известки.

Примерно одного дня хватило, чтобы покрасить в белоснежный нашу светлую проходную комнату с двумя окнами и балконом. Еще неделя ушла на оборудование стен для развески работ.

В конце концов на Солнечной открылось новое, яркое и очищенное от вещей и грязи пространство. В центре комнаты стоял венский черный рояль 1824 года, в корзинах были шерстяные нитки, которым мама сама придавала нужные цвета, стояла огромная рама для ткачества, был еще самодельный диванчик и журнальный столик для чаепитий.

Мистер Универсальность

Одним из первенцев была выставка Андрея Маринюка, сына Люды Ястреб, нон-конформистки, и Виктора Маринюка, больше известного как монументалист.

Оба художника работали в родственных цветовых гаммах, Люда делала работы в разных направлениях, пробовала орфизм. После ее трагической смерти, когда Андрею было всего шестнадцать, он поселился у нас и жил где-то год – таково было желание нашей с Сережей мамы, которая очень сочувствовала этой семье и хотела, чтобы Андрей сменил обстановку.

Он учился в музыкальной школе, играл на виолончели, сочинял музыку, играл на пианино. При этом создавал цветовые композиции в духе родителей, но что-то свое, позже серьезно увлекся дизайном и даже пробовал себя как скульптор, притом эти скульптуры он делал из витражей – это были витражные скульптуры.

Андрей делал портреты-оммажи к маминым работам, неосуприматические композиции, объемные коллажи, каллиграфические рисунки, и все это было развешено в нашей комнате с белоснежными стенами.

Открытие выставки было фееричным. Автор работ играл на рояле, к нему присоединялись приглашенные друзья-музыканты, превращая сольное выступление в очень органичный джем. Никто и не догадывался, насколько стихийно все тогда получилось и насколько импровизированной была музыка, потому что все прозвучало убедительно. Светомузыка, которую сделал Андрей при помощи прожекторов с самодельными витражами из разноцветного прозрачного пластика, была вплетена ритмично и даже почти что незаметно…

Ройтбурд соло

Спустя некоторое время мама узнала, что Сашу Ройтбурда не приняли в Союз художников, и очень обрадовалась за него. На тот момент все, кто не были приняты в Союз, считались априори самыми многообещающими, а Ройтбурда мама считала талантом, потому предложила ему сделать свою персоналку у нас. Как о себе говорил автор, художник Ройтбурд всегда писал много и разнообразно, потому выставка складывалась из нескольких его периодов в творчестве. Там были и полуабстрактные работы, и пастозная живопись «библейского периода», и постмодернистские ироничные вещи, которые были наиболее передовыми и яркими для того времени.

Сохранились фотографии с открытия этой выставки, на которых компания из нескольких человек, в числе которых был Владимир Сорокин, мирно пила чай из красивых пиал и поглощала торт.

Весеннее счастье

Были и однодневки. Или акции вроде выставки одной картины. Или выставки-перформансы.

Например, однажды утром Сережа Ануфриев и Андрей Маринюк принесли свежесорванные ветки цветущих слив, вишен, груш и черешен и расставили их во всевозможные вазы на полу, предварительно устланном циновками. Сережа поставил негромкую музыку, заварил чай в большом фарфоровом китайском чайнике, разлил его в пиалы, положил на старинное блюдо сладости, и мама, которая вставала поздно, вышла из дальней комнаты, чтобы спросить, а не слишком ли рано ребятки затеяли недоброе, но, увидев эту чудесную картину, не нашла слов, уплыла обратно, достав какое-то благовоние под стать происходящему, и присоединилась к этому весеннему таинству. Особенно ее поразило, что Сережа прохрюкал утреннее приветствие на китайском, что-то из подслушанного в императорском дворе времен Троецарствия.

Вещи с улицы

Это будет небольшое примечание к квартирникам в принципе и к нашей квартире в частности. Мода на старые вещи в домах, например, художников. Мода или просто так сложилось?..

Много старинных предметов – мебели, книг – находили на свалках и приносили домой. Чистили, мыли и превращали в элементы интерьера. Так у нас образовался на кухне старинный кованый сундук. Узор на нем называется «мороз по жести» – утраченная технология, как объясняла мама. Его несли десять человек.

Рояль 1824 года, кабинетный, венский, Wendl, достался нам от семьи диссидентов по фамилии Мак, которые покидали Одессу. Мама дала слово плачущей дочери Лени Мака, поэта и писателя, что ее любимый рояль заберет к нам. Его тащили пятнадцать человек по лестнице на седьмой этаж.

Старое зеркало, шкаф в стиле модерн, секретер… Это какие-то осколки каких-то разгромленных жизней, в том числе и нашей семьи, – какие-то предметы мебели были спасены из дома прабабушки, а она была погорельцем и чудом сама спаслась во время пожара.

Где ковры, где хрусталь?

Зная, что снова к нам нагрянут с обысками (странно говорить такое, но да, мое детство было связано с обысками, когда милиция приходила и искала антисоветскую литературу), Сережа сотворил свиток из куска обоев. На нем с обратной стороны было

написано иероглифообразными буквами: «Где ковры?! Где хрусталь?!! Черт знает что, а не квартира!!!».

Свиток одиноко висел на белой стене, прикрывая огромный кусок выпавшей штукатурки.

Родня

Юра Лейдерман, который окончил химико-технологический факультет нашего университета, а потом сломался и стал концептуалистом, вместе с Леней Войцеховым, с Олегом и Милой Перцами просто собрали фотографии своих пап, мам, дедушек и бабушек, прикрепили их к шпалерам обоев и развесили на стенах, объяснив, что это просто фото родственников, которые, попадая в арт-пространство, стали предметами рефлексии. Приватное стало публичным.

Кажется, там были и наши семейные фото. Отдельным блоком. Все, кто приходил, были вынуждены выслушивать вязкие рассказы о первой высадке на горшок, о рождениях и смертях, о разводах и о путешествиях в Гагры, о чьей-то свадьбе с тортом из масляного крема, о болезнях, роддомах, о первом поцелуе, о четвертом замужестве и о дедушках с подагрой. Суть в том, что никто не мог спастись от этих излияний.

Художники, литераторы, артисты, музыканты

Фонтаном, ключом била жизнь в нашем доме, и количество людей было велико. Нельзя не упомянуть и студентов архитектурного, молодых преподавателей оттуда же, которые, наверное, до сих пор все помнят. В какой-то момент благодаря КГБ и обыскам это удалось прекратить тогдашним властям. Как рассказывала мама, в свою очередь, «из подслушанного», кто-то из чиновников обозначил мамины ограничения не только наложением запретов на квартирники, но и полной блокадой ее перемещений куда-либо. «Чтоб дальше Привоза она никогда не выезжала».

Здесь я не могу не добавить, что, когда началась Перестройка, мама смогла поехать в Париж, в Италию, в Германию, в Штаты,

наконец. У нее был отчаянный порыв восполнить ощущение безысходности и тюрьмы, которое угнетало, прежде всего, психологически все эти годы.

Мой отец и отец моего старшего брата, Ануфриев, уехали в США. Это и было отдельным поводом для вызовов ее на допросы, обвинений в распространении антисоветской литературы. У нас при обысках в качестве вещдока был найден тогдашний «левый» журнал «А-Я».

Маму вызвали на «товарищеский суд» а строительном институте (нынешняя академия строительства и архитектуры), где она преподавала рисунок и живопись.

Как ни дивно, но за маму тогда заступился декан архитектурного факультета Сергей Васильевич Непомнящий. Примечательно: убежденный закоренелый коммунист, член Коммунистической партии – в его кабинете, где было полно выращенных им экзотических комнатных цветов, стоял портретик Ленина. Он преподавал потом и у меня, когда я училась на архитектора, строительную физику. Во время этого собрания-травли он встал и сказал: «Как вам всем не стыдно! Она мать двоих детей и прекрасный специалист!». И так мама осталась преподавать дальше…

Студенты любили маму. Она садилась возле каждого и помогала подправить композицию, рисунок, выравнивала тон.

Она порой приходила и рассказывала нам о том или ином новом таланте среди ребят, с которыми занималась практически индивидуально.

Тем,
Кто легок на помине
И тяжелый на подъем,
Кто хранит в хорошей мине
Запрещенный стол и дом,
Кто на свежем минном поле
Рвет опасные цветы,
Кто учился в нашей школе
Нелегальной красоты.

Юрий Годованец,
поэт, участник квартирников «на Солнечной»

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Публикации

282 «Видумать може поет те, чого з ним не було», або «Такий я ніжний, такий тривожний»
Публікація Олени Яворської

300 **Евгений Голубовский**
Одесский след

304 **Евгений Голубовский**
Песни гнева

«Видумать може поет те, чого з ним не було», або «Такий я ніжний, такий тривожний»

Юнацькі роки поета Володимира Сосюри, від дня народження якого виповнилося 125 років, могли б стати у нагоді для сюжету пригодницького роману, а історія його родоводу – для роману любовного.

В автобіографічній повісті «Третя рота» він писав про батьків:

«Мати моя була дуже легковажна і романтична. <…> Вона з походження була (чоловіча лінія) сербіянка, хоч прізвище у неї було Локотош, що угорською мовою значить – «слюсар». Мабуть, у матері була і угорська кров. По жіночій лінії вона була єврейкою і українкою.

Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, – правильно прізвище «Соссюр», навіть з приставкою «де». Пономаренко Пантелеймон Кіндратович, який читав початок цього роману, сказав мені, що я ніякий не француз і що правильно моє прізвище не «Соссюр», а «Сюсюра» (і відкіля він це узяв, бо в документах нашого колишнього волосного правління я дійсно записаний на прізвище «Сюсюра»), що у нього був друг його батрацької юності, козак із кубанської станиці Брюховецька Сюсюра, що в тій станиці майже половина Сюсюрів.

Але дід мій підписувався «Соссюр» і казав, що наше прізвище українізували писарі. Можливо, це так і було.

Очевидно, мій предок – чомусь мені здається, що він з Південної Франції, Провансалю, – потрапив до Запорозької Січі, де писарі і записали його «Сюсюрою».

В історії родини Сосюр – і палке кохання, і викрадання нареченої, втечі і погоні. Можливо, саме ця романтичність відбилася

пізніш на любовній ліриці Сосюри – попри все жахіття, що пережив він під час Громадянської війни. Як і багато хто у ті часи, був він гайдамакою і комуністом, ходив і з оселедцем, і з червоною зіркою. «І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було», – напише він у 1924 році. А у 1957 році у листку по обліку кадрів він розпише чи не по місяцях:

«Осінь 1918 – зима 1918 – член повстанської робітничої дружини Донецького содового заводу, м. Верхнє.

Зима 1918 – осінь 1919 – козак петлюрівської армії.

Осінь 1919 – зима 1920 – військовополонений денікінської армії.

Лютий 1920 – квітень 1921 – червоноармієць, курсант військових політкурсів, політпрацівник».

Як не дивно, саме вірші, які він почав писати ще у дитинстві, у ті часи кілька разів врятували йому життя – одного разу не видали селяни, вдруге – зацікавився офіцер.

Наприкінці 1919 року хворий на тиф Сосюра потрапив до Одеси. І саме наше місто мов навпіл розділило його життя.

«Одеса.

З вокзалу я пішов з високою температурою босий по грязі дивитися на море.

Воно майже замерзло, і над ним тихо і срібно літали чайки…

Повезли до шпиталю.

Лежу на сніжно-білому ліжкові покірно й тихо, весь в огні…

Поруч стогне й кидається хворий, і «сіделка» все ставить мене йому за приклад, що у мене вища температура і я лежу смирно, а він з меншою температурою і не дає їй дихнути…

Візитація.

Входить лікар і сестра-жалібниця.

Сестра глянула на мене, зблідла і трохи не впала непритомною. Її підтримав лікар і вивів.

Потім вона входить до нас, дивиться на мене і каже:

– Как же вы меня испугали!

Виявилося, що я подібний на її забитого на фронті нареченого, офіцера.

Я – в ізоляторі. В мене поворотний тиф, другий приступ. Один був в дорозі.

Вона каже:

– Я вас беру к себе в палату. Вы хоть на несколько дней напомните мне мое прошлое.

Вона взяла мене до себе в палату, дала мені ще своє ватне одіяло (у всіх по одному. Вогко, сиро. Поруч мене щоночі по два, по чотири вмирають). Носить мені консерви, цукерки… і все якось чудно дивиться на мене та цілує. Я, як і її наречений, вчився в сільськогосподарчій школі.

В мене на грудях після тифу абсцес – і мене переводять до хірургічного шпиталю в грецькій духовній школі чи семінарії.

В шпиталі між раненими лежали й червоні з Таращанського полку, і інші. Вони розповідали, що коли білий десант захопив Одесу, то багато важко ранених червонармів було викинуто просто на вулицю.

Червоні ось-ось захоплять Одесу. Евакуація.

З одним червонармом я дуже подружив. Він признався мені, що він комуніст і що в нього є документи з ячейки, не дивлячись на те, що я одрекомендувався йому як бувший петлюрівський юнкер. (Цей товариш потім учився зо мною в Артемовці.) Він був захоплений білими й мобілізований. В частині офіцер, який догадувався, що він комуніст, але не мав матеріалу, наче граючись, навмисно прострелив йому ногу. Ногу було одрізано.

Коли мене хотіли як «юнкера» евакуювати до Єгипту, він не порадив мені їхати, сказав, що я такий же юнкер, як він денікінець. І я залишився.

Кораблі Антанти б'ють по червоних лавах…

Над городом шумлять набої…

Червоні близько…

Привозять ранених офіцерів, яких почали бити по окраїнах.

Один кавалерист б'є обрубками рук у живіт стражника, який од ударів тільки підстрибує всім тілом на ліжкові…

Офіцери, яких не встигли евакуювати, лежать бліді, бліді…

А один офіцер не витримав і сказав:

– …Ух… страшно…

Ми дивимося з вікна на вулицю, через яку тривожно перебігають фігурки людей з багнетами. Деякі не встигають перебігти й падають. На тлі тривоги бою вони лежать страшно нерухомі. Іде стрільба.

І от відчиняються двері, і входять матроси з червоними бантами на грудях. Вони спокійні, стрункі й коректні.

– У вас офицеры есть?

Вони нікого не забрали. Тільки подивилися документи й пішли».

І Володимир Сосюра став червоноармійцем.

Відомо, що перші вірші Сосюри написані російською мовою. У спогадах Сосюра наводить різні версії того, коли саме він почав писати українською. За однією з них – саме за порадою Едуарда Багрицького. «…Я познайомився з Юрієм Олешею, з поетами Шенгелі і Багрицьким, які в світлі і добрі руки взяли моє серце і показали йому дорогу в блакитне небо поезії».

24 червня 1920 року в газеті «Одесский коммунист» був надрукований вірш «Розплата».

Але окрім політики та поезії є ще кохання. Власне Сосюра усе життя був закоханий. І можливо, в образі Ольги є риси його першої дружини Віри Берзіної, що була політруком червоноармійського ескадрону.

«В Одесі, в нашому подиві (політичний відділ дивізії. – **О. Я.**) я зустрів свого товариша по заводу. Ми багато з ним говорили, і він дістав мені командировку на політичні курси там же, при подиві.

І я лишився на курсах.

Було синє й чудесне море. На лекціях казали, що «бытие определяет сознание», що душа «продукт производственных

отношений…». І мені страшно стало, що я, людина, яка керує своїми думками й поступками, раптом підлягаю якійсь табуретці і взагалі мертвим речам.

Мені перестало хотітися жити, і я умовився з однією курсанткою повіситись…

Але море було таке чудесне, і увечері на Дерибасівській вулиці золотою ниткою тремтіли в небі ліхтарі, а повітря було ніжне, тепле й бархатне, і я роздумав умирати. Я познайомився з одеськими поетами, вони прийняли мене в свій гурток. Раз на тиждень у нас були читки віршів. Я був такий соромливий. Особливо мені було соромно, що у мене білі обмотки. Одного разу я читав вірші, а через піаніно на мене дивилася смуглява дівчина в буржуазному вбранні, у неї на шиї було янтарне намисто. Взагалі на мене дивилося багато дівчат, і од того мені було соромно ще дужче. Дівчина з янтарним намистом попросила в мене прикурити. Я їй простягаю запалену цигарку через піаніно, але вона не бере, а хоче, щоб я їй дав прикурити з рота. Я взяв цигарку в рот і перехилився до неї через піаніно, а вона до мене, й наші очі майже зійшлися… Коли її цигарка загорілася, вона сказала:

– Как хорошо жить!

І з вечірки проводжала мене до подиву. Тільки коли ми цілувалися, мене вразило, що в неї великий рот, мій рот зовсім потонув у ньому, й мені стало неприємно. Потім я зовсім розчарувався в ній, коли побачив її голу на пляжі. В неї було повне смугляве тіло, і на ньому, як на тісті, лишилася шорстка печать каменя, до якого вона притулилася.

І взагалі всі ці буржуазні жінки, що любили мої вірші, дивилися на мене, як на дикуна, на наївного дикуна, що нагадував їм героїв Гамсуна, і це мене одштовхувало од них, бо я ж був червоноарм і в мене душа була зовсім не така, як вони уявляли: я теж любив красу і розумів її. А вони до мене підходили дико й страсно. Їм, мабуть, набридли оті руді жевжики, що їх оточували, бо вони вміли тільки піднімати хустки та говорити французьким прононсом. І їхні кавалери не пахли кров'ю, як мої губи. Вони казали, що у мене «одухотворенное лицо бандита», і не вірили мені, що я ще не вбив ні одного чоловіка. А в місячні ночі вони ходили зі мною до моря. Було вже літо. Природа була така незнайома й чудно мене хвилювала.

І закохалася в мене дівчинка. Малюсенька дівчинка. Вона все ходила зі мною до моря, слухала мої вірші і все просила поцілувати мене, а я не хотів, тому що вона така маленька. У цієї дівчинки були всі риси женщини. Вона ревнувала мене, особливо до дівчини з янтарним намистом. Одна поетеса з революційним прізвищем ходила до мене на курси. Я був в окремій кімнаті з малиновим оксамитним меблем, а вікно закривалося ставнями зсередини. За вікном був коридор. І мимо часто бігали курсанти. Так я, щоб вони не заглядали в вікно, закривав його ставнею. І мені було чудно, що поетеса сміялася, коли я брав її… Вона мені казала:

– Товарищ Сосюра, давайте жить вместе.

Мені було ніяково:

– Как же мы будем жить вместе, я ж красноармеец – сегодня здесь, а завтра там?

Наближався випуск. Одного разу я пішов до поарму (політичний відділ армії. – **О. Я.**) за призначенням. Я ввійшов до вітальні і побачив на канапі… Ольгу… На ній була шкіряна куртка <…> і лахмата шапка.<…> Тільки чудно було, що в неї верхня половина чоловіча, а нижня жіноча. Чорна юбка і ті ж самі покривлені черевики.

– Здравствуйте.

Вона дивиться на мене і не пізнає. Нам повидавали костюми з мішків, і в мене ще була французька шапочка з маленькою червоною зіркою.

<…>

– Не узнаєте?

Її очі стали зразу теплими й ясними, і вона вся аж подалась до мене. Але їй треба було йти на прийом, і ми тільки встигли умовитись про зустріч. Я сказав їй свою адресу. Вона обіцяла прийти до мене о другій годині дня.

Та мені не вірилося, що вона прийде до мене, вона ж така аристократична і з вищою освітою, а я тільки червоноарм. І я не пішов на курси о другій годині, а до вечора блукав по місту. Було вже темно, коли я ввійшов до кімнати. В кутку сиділа Ольга, а біля неї на столі хтозна скільки недокурків.

– Что же вы меня обманули?

Я сказав їй, що мені не вірилось. Вона засміялася, і ми одразу ж перейшли на «ти». Вона курила цигарку за цигаркою, я теж

почав курити цигарку за цигаркою. Ми дуже хвилювалися і все говорили про любов <…>. На другий день я не пішов на лекцію. Ольга знову прийшла до мене. Коли вона дивилася на мене, у неї губи наче наливалися кров'ю. Вона казала мені, що з заплющеними очима може узнати людину, коли візьме її за руку, і брала мене за руку. Нам разом треба було їхати в поарм на Жмеринку.

Ольга казала:

– С тобой опасно ехать, – і сміялась.

Чомусь вона почала гладити моє волосся, а я був такий пасивний і почував себе неначе дівчина, її лице близько нахилялося до мого, і мені стало жутко і солодко, коли вона почала мене цілувати. Вона мене цілувала так довго, що мені аж нічим було дихати. Ми встали з канапи й як сонні ходили по кімнаті, перекидали стільці, а Ольга все цілує мене: і шию й руки. Вона стала на коліна переді мною і почала цілувати мою одежу. Я подумав: «Рівність і братерство», – і теж став на коліна. Вже вечоріло, і ми вийшли з готелю. Ольга зайшла до свого помешкання переодягтися. Але вона вийшла в тій же шкіряній куртці, і я думав, як же вона переодяглась. Ми пішли вниз до моря. На Ніколаєвському бульварі вгорі шуміли кроки публіки. Це ж був південь з теплими огнями города й вечірніми шумами моря. Ми підійшли до зруйнованого муру над морем. Внизу була безодня. Море било в руїни якогось будинку, де лякливо хитався огонь. Я сів на мур. Ольга сказала:

– Давай ляжем.

Я чув, як кущ коле мені щоки, і Ольга знову почала мене цілувати. Це був якийсь огненний ураган. Він закрутив мене у своєму вирі. Ольга розпахнула свою куртку, а під нею мені блиснуло молоде, біле і туге тіло. І чогось ми почали тремтіти. Все дужче й дужче. А потім я все забув. Я потонув у гарячому тумані. Мене зовсім не було. Були тільки розширені очі Ольги, її швидке дихання, і все… А потім ми знову почали цілуватись і тремтіти. Це було щось божевільне. Я аж злякався. Може, це од моря?

Ольга:

–Я хочу выстрелить.

Я:

– Зачем тратить патроны – они пригодятся для панов.

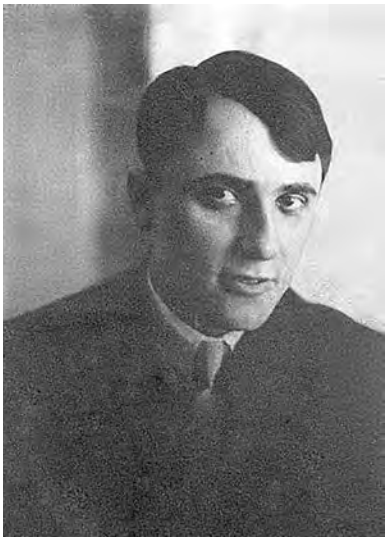
Але Ольга вистрелила в ніч, в море, прямо в огонь зруйнованого будинку… Огонь злякано заметушився й погас. Втомлені й щасливі, ми йшли нагору. А Ольга все цілувала мої руки. А я не цілував її рук. Я тільки, як дівчина, дозволяв їй цілувати свої.

Приїхали італійці, привезли полонених солдатів колишньої царської армії. Одна італійська міноноска наскочила на міну. На Куликівському полі ховали італійців. Виступав Серраті (Джачінто Менотті Серраті (1872 чи 1876 – 1926) – один із керівників Італійської соціалістичної партії в 1910-х рр.). Ми не розуміли мови, але ми чули революційний огонь її, кричали «ура» і «дайош» під траурні залпи гармат.

Ольга ходила зі мною по місту. До неї причепився італійський лейтенант, але вона щось сказала йому по-французьки і він, як обпечений, одскочив од неї. Якось сумно любила мене Ольга. <…>

Одного разу вона не прийшла, хоч і говорила, що прийде. Мені було так тяжко, наче хтось мене посік на шматки, і я весь сочуся кров'ю… <…> Другого дня прийшла Ольга. Але я був весь час сумний з нею. Вона спитала мене – чого я сумний? Я довго не хотів їй говорити, а потім сказав: того, що не було її. Вона радісно й щасливо засміялася, схопила мене в обійми і знову був той огонь… Вона сказала, що була в портнихи. Наближався день від'їзду. Вийшло, що Ольга їде раніше, ніж я. Надходив вечір. Ми пішли до моря через Олександрівський парк. Був золотий серпень. В парку було так гарно, що ми лишилися в ньому.

У Ольги вже не було юбки. Вона справила собі синє галіфе й червоні чоботи. Коли я давав їй свою шинелю, вона мені нагадувала юнкера з тонкою динамічною фігурою. Ми лягли під деревами. В парку нікого не було. Десь горіли в вечірньому небі золоті руїни, і мені здавалося, що то середньовічний замок, а ми з Ольгою – молоді феодали, що повернулися з далекої мандрівки, і той замок у вечірньому золоті – наш. Проходили іноді перекупки, і ми в них купували дині. У нас не було ножика, і Ольга тонкими й ніжними пальцями розламувала їх. Ми цілувались з нею – два хлопці. Я розстібав їй одежу і пестив її, а з кущів хтось у полосатих штанях підглядав нас і так захопився цим, що необережно зашелестів. Ольга схопилася і вдарила в кущі з мавзера. Кущі з ляком аж зашелестіли, і знову був порожній парк, янтарні



килими листя, червоні губи Ольги і її молоде, 19-ти весен тіло. Вона розказувала про червону Венгрію, де вона працювала. Як там роздавили радянську владу. Про своє перше кохання до венгерського революціонера, про підпілля й тюрму. Вона з жахом і мукою казала, як гвалтував її жандарм. Ми пішли до моря. Було вже темно. Прожектор огненними пальцями мацав ніч. Ми підійшли до муру і одчинили вузеньку чавунну хвіртку. За муром свіжо дихало море. Ми відійшли трохи вбік од хвіртки і лягли в траву на моїй шинелі. Тільки ми почали цілуватися, як розчинилася хвіртка і прямо на нас налетіла юрба людей. Я скотився з Ольги прямо в ярок, і ми тихо лежали, поки пройшли люди.

Завтра Ольга від'їжджає. Сумний, проводжав я її на станцію. Душу мою палили огнем останні дзвінки. Коли я підсадив Ольгу в вагон, у неї лопнуло на коліні галіфе, і я на прощання поцілував його. Кругом сміялися люди, а я не звертав на них уваги, я бачив тільки Ольгу та її теплі очі під лахматою шапкою. Одгриміли прощально вагони, а я все стояв і бачив бліду тонку руку в південній синяві.

...Швидко й ми вирушили на фронт».

Так скінчилася перша зустріч Володимира Сосюри з Одесою. Такою він описав Одесу і своє кохання в автобіографічній повісті «Третя рота», яку розпочав писати у 1926 році. (На жаль, не згадав він у ній своїх одеських родичів Сосюр, одній з них – Тетянці – тоді було лише чотирнадцять років. У майбутньому вона стане відомою журналісткою Тетяною Тесс.)

У подальшому житті Сосюри буде і визнання, і кохання, і нападки критики. Звичайно, як кожен радянський поет, який хотів не лише писати вірші, а й друкуватися, Сосюра не міг не писати вірші про Леніна, соціалістичне будівництво та подібні до цього.

Але попри все Сосюра лишався поетом, для якого головне – кохання, чи то трагічне, чи щасливе.

«Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…»

«Якби помножити любов усіх людей,
ту, що була, що є й що потім буде,
то буде ніч. Моя ж любов – як день,
не знають ще чуття такого люди».

Це рядки з віршів, що відомі та цитовані неодноразово. А от вірші Володимира Сосюри початку двадцятих років менше відомі – з різних причин. На початку двадцятих ще можна було відверто писати. У середині тридцятих деякі імена згадувати було чи не самогубством. Це вже у 1960 він згадає своїх розстріляних друзів-поетів у поемі «Розстріляне безсмертя».

До стадвадцятиріччя поета дослідниця Ярина Цимбал опублікувала ранній вірш Сосюри:

Ніч

Кажуть, приїде Махно.
Довго я думав про це…
Місяць у темне вікно
синім дивився мерцем.
Довго заснуть я не міг,
снилися знову фронти,
і на безмежжі доріг –
ти.

Ми на безмежжі доріг,
серця удари, як ток…
Сльози на віях твоїх,
теплий платок.
Скільки пролинуло літ!..
Знову привидівся той,
що для чекістів – бандит,
і для бандитів – герой.
Знов випливає із мли
грізне обличчя рябе,
як у кущі повели
хлопці тебе.
Вітру тоді не було,
тільки здригнула трава,
як у кохане чоло
вгрузла
шаблюка
крива…
Скільки я років і гін
серцем і зором беру…
З прапором чорним загін
ми наздогнали в яру.
Місяць дивився сумний,
плакав за вербами дзвін…
Довго рубались вони
і полягли, як один.
Тьму протинали огні,
тьма захлиналась од ран…
Тільки на чорнім коні
втік отаман.
В полі шляхом золотим,
там, де могили кругом,
довго я гнався за ним
і наздогнав над Дністром.
Капало срібло в лозу,
скеля мовчала стрімка.
Тільки далеко внизу

чорно шуміла ріка…
Скільки в минулому тем,
пісню щоб скласти дзвінку…
Збив я бандитів з конем
в чорну холодну ріку.
Тиша текла з вишини,
і крізь ранковий туман
місяць дивився сумний,
як потопав отаман.
Хвилі мотивами туг
мчали у тьми океан.
Вірний не зрадив мій друг –
чорний наган.
Все пролетіло давно,
наче в безодню дзвінку,
Десь у Парижі Махно
згадує смертну ріку.
Хай же балада оця
місяцем тихим сія.
Я – не Сосюра, а вся
вільна Вкраїна моя.
Сниться тонкий силует,
шабля, що вгрузла в чоло.
Видумать може поет те,
чого з ним не було.

Ранній Сосюра – швидше вірші його – по-весняному ніжний, по-осінньому тривожний, по-літньому палкий, по-зимньому замріяний. А ще – неочікувано іронічний.

І не лише степ у його віршах, а й море, з яким він зустрівся в Одесі.

Володимир Сосюра

* * *

Безладно торохтить по бруку день бездумний,
Де порох голубий та цокоти копит.
Змарнілий небосхил роздерли нагло труби,
де ластівки кричать про сонце та степи.

О липень золотий!.. Твої байдужі очі
Нагадують мені холодний блиск озер.
І ранок голубий, де спів тремтить дівочий,
Мов листя золоте розхристаних берез…

Де море шарудить, над срібним пляжем трави
І шелестіння слів коханих та простих…
О теплий ночі блиск і блиск очей лукавий,
Де у колисці вій гойдався молодик!..

1921

* * *

Уже зоря золоторога,
Де полинами зацвіло,
Кладе на огненні пороги
Своє сивіюче чоло.

На тротуарах не лілеї
Й не лебединий в небі крик, –
Дзвінка безодня над землею
чолом задуманим горить.

В поля з пахучої долоні
Червінці осінь просіва…
А десь біжать залізні коні
І пахне холодом трава…

1922

Степ

Ходить Степ.
Замислений Степ.
А на ньому синій-синій жупан.
За туманом – туман
і татарські загони…
Розсипається Степ синім дзвоном…
Гей, крізь вітер і ніч бліді руки простяг
і поклав
На Чумацький на зоряний Шлях…
Бліді руки простяг…
Ходить Степ.
Замислений Степ.
А на ньому синій-синій жупан.
За туманом – туман.

1922

* * *

Магнолії лимонний дух,
солодкі мрії олеандри…
А в небі огненні гранати,
і мислі зоряно цвітуть…

О моря гул! О моря гул!..
І шарудіння хвиль на пляжі…
А там панелі ще в снігу
й морозу огневі масажі.

Ми хвилі любим, хвилі любим.
Самі народжені од хвиль.
О, притули вишневі губи
Ти до моєї голови!

Хвилини бій хвилини бій…
Я чую, як біжать секунди,
я бачу космоси в траві,
в твоїх очах – заграви бунту.

Магнолії лимонний дух,
солодкі мрії олеандри…
А в небі огненні гранати,
і мислі зоряно цвітуть…

1923

* * *

Такий я ніжний, такий тривожний,
моя осінняя земля.
Навколо вітер непереможний
реве й гуля.

І хвилі моря, далекі й близькі,
мені шумлять.
Там стелить сонце осіннім блиском
кривавий шлях.

Криваві пальці тремтять… О море,
постій, не йди!
Але шумує далеке море,
і мла, і дим…

Такий я ніжний, такий тривожний,
моя осінняя земля.
Навколо вітер непереможний
реве й гуля…

1923

* * *

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

В'яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною…
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою…

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я – поет робітничої рані…

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

1922

* * *

Глянув я на море – засиніли чари…
Мов проміння в хвилі, розгубився я.
Може, це не море, не янтарні хмари,
не кармінний обрій, а душа моя?!
Може, це не море, а твоє волосся,
і такий маленький я на нім лежу…
А воно круг мене райдужно сплелося,
тишина круг мене, тільки хвилі шум.
Море, моє море, я – в твої обійми,
Молодим дельфіном на валів ряди.
Вийми мою душу, серце моє вийми
і над Оріоном рвійно засвіти.
А од них на тебе з вишини проміння
крізь холодні груди вічно засія.
І в твої незнані зоряні глибини
на промінні тому опущуся я.

1924

* * *

Люблю я море в шумний час прибою,
коли воно за валом вал жене.
Але ще дужче в чарах супокою
люблю я море мрійне і ясне.

Люблю тебе, коли ти балаклива,
як не любив я так іще раніш.
Але ще дужче, мавко пустотлива,
люблю тебе тоді, як ти мовчиш…

* * *

Це було на острові Цейлоні,
де цвітуть веселкові гаї.
Цілував вузькі мої долоні
ватажок із племені Аї.

Обережно брав мене за груди,
заливався з радості плачем…
І тремтіли стріли у отруті
за його похиленим плечем…

А коли на сходи пароплава
я зійшла… О море, о любов!..
Як його не кликала, не звала,
ватажок за мною не пішов.

Це було на острові Цейлоні,
де цвітуть велекові гаї.
Не цілує вже мої долоні
Ватажок із племені Аї.

Публікація Олени Яворської

Евгений Голубовский

Одесский след

Константин Бальмонт. Когда-то, в 1900-1905 годах, это имя было на устах всей читающей России.

Как в шестидесятых годах Евтушенко.

Кто сейчас читает Бальмонта? Кто помнит его стихи?

Мне пришли на память строки нашего современника Юрия Михайлика:

Позабытые поэты,
Как сгоревшие кометы –
Нет ни света, ни следа.
Свет недолог, след не стоек,
Вспомнит разве что историк,
Кто там, что там и когда…

Горькие строки, но справедливые.

23 декабря – день памяти Константина Бальмонта. Он умер во Франции, тяжелобольной, практически забытый, полуголодный, в 1942 году. С него, по сути, начинается русский символизм. Он был чародеем аллитераций. Волшебником слова. Александр Блок записал: «Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну».

В юности я восхищался Бальмонтом, затем его вытеснили из памяти другие, более мощные поэты. Почему же я сегодня вспомнил о Константине Дмитриевиче?

Как-то попалось мне его стихотворение об Одессе. Начал искать истоки. И еще раз пересмотрел его книги. Завораживали музыкой такие стихи:

Челн томленья

Вечер. Взморье.
Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам
счастья,
Челн томленья, челн тревог,
Бросил берег,
бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.

Мчится взморьем,
мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.

Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.

Замечательный портрет Константина Бальмонта работы Валентина Серова

Вроде и смысл теряется в этой музыке, но звук остается. Он с тобой, ты несешь в памяти не содержание, а звучание.

Не случайно Марина Цветаева ассоциировала слово *поэт* только с Бальмонтом.

Не с Блоком, не с Брюсовым, не с Балтрушайтисом, а с Бальмонтом.

Но были у поэта и стихи, привлекавшие содержанием. Вот это запомнил с юношеских лет. Перевод из Эдгара По для меня очевиден, но Бальмонт нашел в этих стихах свой путь к сердцу читателя.

Эльдорадо

Между гор и долин
Едет рыцарь, один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях – один,
Дожил он до седин,
И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак – и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

Мне представляется, что и сам Константин Дмитриевич проезжал через ад, через рай в поисках Эльдорадо.

Однажды в 1914 году он заехал в Одессу, выступал с успехом в театре, жил в гостинице «Северная» в Театральном переулке. Об этом посещении мы знаем из отчетов газет, из воспоминаний поэта Александра Биска, посещавшего его в гостинице. Они обменялись книгами с автографами.

Но об Одессе тогда Бальмонт не писал. Во всяком случае, я не нашел ни стихов, ни прозы 1914 года, связанных с нашим городом.

Тем неожиданней мне показалось стихотворение 1932 года. Бальмонт болеет, больница сменяется больницей. Никуда не выезжает из Бордо. Но, как видно, в памяти перебирает эпизоды жизни. Только так могу объяснить себе возникновение этого грустного стихотворения.

В окрестностях Одессы

Узкая полоска синего Лимана,
Желтая пустыня выжженных песков.
Город, измененный дымкою тумана,
Медленные тени белых облаков.
Чахлая трава, измученная зноем,
Вдоль прямой дороги серые столбы.
Все здесь дышит скучным тягостным покоем,
Всюду здесь недвижность пасмурной судьбы.
Только вечный ветер носится бесцельно,
Душным дуновеньем, духом мертвеца.
Только облака проходят беспредельно,
Скучною толпой проходят без конца.

Это уже уставший опустошенный Бальмонт. Ему предстоит жить еще десять лет.

Казалось, что стихам его суждена долгая жизнь Но и этого не случилось. Бальмонт – в истории литературы скорее чем в живой литературе.

Как там у Михайлика? «Вспомнит разве что историк – кто там, что там и когда…»

Евгений Голубовский

Песни гнева

Портрет Бялика работы Леонида Пастернака

Одессе есть чем гордиться. Здесь вошел в литературу поэт, ставший классиком еврейской литературы, Хаим Нахман Бялик.

18 января 2023 года исполнилось 150 лет со дня его рождения.

И до Бялика была еврейская литература. Но Шолом-Алейхем и многие другие писали на живом языке – идиш, в то время как Бялик решил оживить мертвый язык, язык Библии, иврит.

Как видите – удалось!

На первых порах поэт-романтик, он с 1903 года, пережив трагедию кишиневского погрома, стал поэтом экспрессии, современным трагиком, продолжившим поиски Серебряного века.

Бялика переводили на русский Брюсов и Сологуб, но лучше всех, и опять же в Одессе, – Владимир Жаботинский.

Когда Маяковский в поэме восклицает: «Будто вымечтал какой-то новый Бялик ослепительную царицу Сиона евреев», – когда Максим Горький, ссылаясь на Бялика, писал о погромах в России, они читали переводы Жаботинского.

А вот стихотворение Ивана Алексеевича Бунина, посвященное Хаиму Нахману Бялику. Они познакомились в Одессе.

Бялику Х.Н.

Почто, о Боже, столько лет
Ты мучишь нас в пустыне знойной?
Где правый путь? Где отчий след
К стране родимой и спокойной?
Мужайтесь, верные! Вперед!
Я дал вам горький лист оливы,
Но слаще будет он, чем мед
От тех, чьи руки нечестивы.
Прямые коротки пути:
Потребна скорбь, потребно время,
Чтобы могло произрасти
На ниву брошенное семя.

Во Всемирном клубе одесситов я подготовил к изданию том стихов и поэм Бялика в переводе Владимира Жаботинского. Он вышел в издательстве «Друк».

На доме по Малой Арнаутской, 9, где Бялик жил двадцать лет, до своего отъезда на теплоходе «Руслан» в Палестину, висит мемориальная доска. Можно положить цветы.

А здесь можно прочесть стихотворение, с которого и начался зрелый поэт.

Хаим Нахман Бялик

Над бойней

Небеса! Если в вас, в глубине синевы,
Еще жив старый Бог на престоле
И лишь мне Он незрим, – то молитесь хоть вы
О моей окровавленной доле!
У меня больше нет ни молитвы в груди,

Ни в руках моих сил, ни надежд впереди…
О, доколе, доколе, доколе?
Ищешь горло, палач? На! Свой нож приготовь,
Режь, как пса, и не думай о страхе:
Кто и что я? Сам Бог разрешил мою кровь,
В целом мире я – будто на плахе…
Брызни, кровь моя, лей, заливая поля,
Чтоб осталась навеки, навеки земля,
Как палач, в этой красной рубахе…
Если есть Высший суд – да свершится тотчас!
Если ж я в черных муках исчезну,
И тогда Он придет, слишком поздно для нас,
То да рухнет престол Его в бездну,
Да сгниет ваше небо, кровавая грязь,
И убийцы под ним да живут веселясь
И глумясь над Десницей возмездной…
И проклятье тому, кто поет нам про месть!
Мести нет, слишком страшны страданья:
Как за детскую кровь казнь отмерить и счесть?
Сатана б не нашел воздаянья…
Пусть сочится та кровь неотмщенная в ад,
И да роет во тьме, и да точит, как яд,
Разъедая столпы мирозданья…

1903 г. Перевод В. Жаботинского

Сокровища из сокровищницы

308 Татьяна Щурова
«Дело серьезное и нелегкое»

Татьяна Щурова

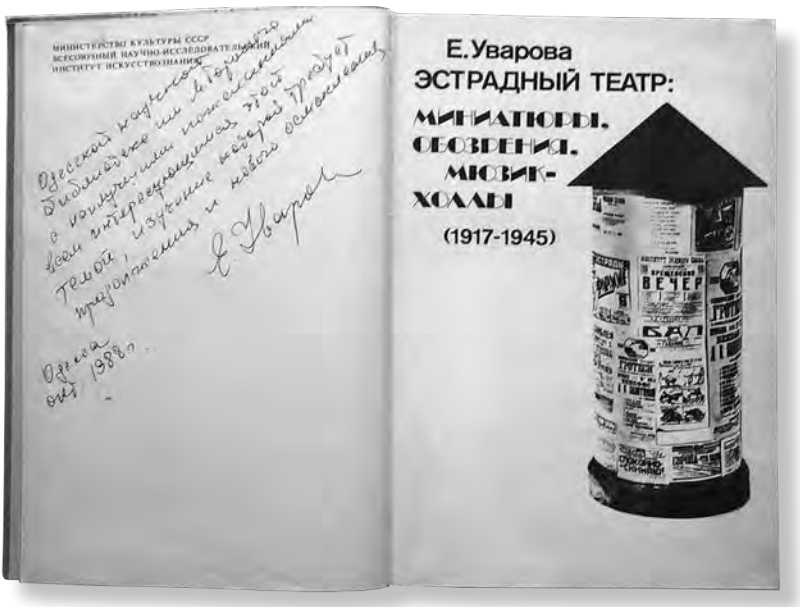
«Дело серьезное и нелегкое»

Хотя речь пойдет о «легком жанре» – эстрадном театре. А точнее, о творчестве Виктора Яковлевича Типота (настоящая фамилия Гинзбург). Как многие талантливые люди, он родился в Одессе и стал популярным театральным деятелем, эстрадным драматургом, режиссером, публицистом, писателем. В нынешнем году исполняется сто тридцать лет со дня его рождения (1893-1960). Это имя напомнил нам Евгений Михайлович Голубовский в очерке из серии «Одесские музы поэтов», посвященном первой жене Константина Симонова писательнице Наталье Викторовне Гинзбург (Соколовой. 1916-2002).

Любители мемуарной литературы, вероятно, помнят талантливую книгу Рины Зеленой «Разрозненные страницы», где она описывает свое участие в одесском эстрадном театре «Крот», который в конце второго десятилетия прошлого века находился в подвале на углу Екатерининской и Театрального переулка (впоследствии Клуб работников торговли). Руководил театром Виктор Типот, а также он «придумывал, писал, ставил, играл, конфериро-

вал». Это было начало его творческой жизни. Потом был Театр сатиры, создание вместе с Давидом Гутманом популярного Театра миниатюр, авторство юмористических номеров и скетчей для известных сатириков эстрады и множество других эпизодов его интересной и насыщенной карьеры. Он захватил годы нэпа – расцвет сатирического творчества.

Судьбы эстрадных авторов складывались по-разному, это всегда был очень нелегкий хлеб. Писали, что Типот «умеет использовать случай, забавный анекдот, дающий материал для показа». Он умел также найти нужного исполнителя, понимающего значение ритма в исполнении миниатюры. Типот часто писал в соавторстве. Так появились либретто оперетт «Свадьба в Малиновке», «Вольный ветер», «Девичий переполох» и др. Он был популярным и плодовитым эстрадным автором. Упоминания его имени и беглые мемуары мы находим во многих книгах по истории эстрадного искусства. Но Виктор Яковлевич никогда не старался собрать в сборники свои произведения, только некоторые из его миниатюр остались на страницах старой сатирической печати. Да и о нем самом сведения были довольно скупыми.



В октябре 1988 года в Одесском доме актера на театральной конференции удалось познакомиться с историком эстрадного театра, автором фундаментальных монографий по этой теме Елизаветой Уваровой (1943-2015). Она занималась тогда биографией Типота, нашла много интересных материалов о нем. В начале 1990-х гг. Елизавета Дмитриевна напечатала достаточно подробный очерк о творчестве талантливого мастера, использовав также не опубликованные ранее воспоминания о нем Виктора Ардова и материалы из личного архива писателя, предоставленные его дочерью Натальей Викторовной.

Хотим познакомить читателей альманаха с этой статьей (в сокращенном виде), а также сценкой «В столовой» и двумя пародиями, которые и сегодня читаются с интересом.

Елизавета Уварова*

Виктор Типот

Виктор Яковлевич Типот

Виктор Яковлевич Типот (1893-1960) родился в Одессе – городе, подарившем советской литературе и искусству немало славных имен, Он был прежде всего человеком театра и в течение двадцати лет – с 1918-го по 1939-й – не только писал для театра, но был режиссером и художественным руководителем, иными словами, душой маленького одесского «Крота», Московского театра сатиры, Театра обозрений Дома печати, Московского театра миниатюр. «Трудно было бы прикрепить Типота только к драматургии или только к режиссуре. И в журналистике он был желанным гостем, ибо его влекли многие сферы. Так оно было всю жизнь», – писал Виктор Ардов в воспоминаниях, подаренных им автору.

В отличие от многих своих товарищей по перу Типот никогда не собирал и не публиковал авторских сборников. Отдельные вещи печатались в сатирических журналах, сборниках «Синяя блуза» и других.

Отец Виктора Яковлевича был крупным специалистом по бактериологии. Дети, Виктор и Лидия (впоследствии доктор филологических наук Лидия Яковлевна Гинзбург**), окончили

* © Уварова Е.Д., 1991 г.

** Типот – псевдоним Виктора Яковлевича, взятый в юности, в дореволюционные годы (в переводе с английского – заварной чайник).

гимназию. Высшая техническая школа в Дортмунде (Германия) и физико-математический факультет университета, оконченный в 1918 году, впрямую не пригодились Виктору Яковлевичу. Ни физиком, ни математиком он не стал. Но высокая культура определяла весь его облик и манеру поведения.

До конца жизни, а умер он в шестьдесят семь лет, собранный, подтянутый, спортивный (за день до смерти его видели на теннисном корте), изысканно вежливый, он, по воспоминаниям друзей, временами выглядел белой вороной в кругу близких к эстраде писателей и артистов. И в то же время в этом шумном и веселом обществе мало кому удавалось соперничать с ним в остроумии. «Среди всех товарищей, обладавших и обладающих активным юмором, встреченных мною более чем за пятьдесят лет общения с литераторами, артистами, композиторами, художниками, Типот занимал одно из первых мест и по качеству остроумия, и по поразительной быстроте реакции, которая ему была свойственна, – писал Ардов. – В смысле быстроты отклика на любой факт, любое слово, им услышанное, Типот, на мой взгляд, почти не имел соперников. Только покойный поэт Вадим Шершеневич, великий острослов В.В. Маяковский и конферансье А.Г. Алексеев могли с ним соперничать. И если к тому же легко и быстро создаются остроты точные и умные, не только вызывающие смех, но и отлично оценивающие факт, то это означает наличие у данного остроумца подлинного таланта».

Надо заметить, что и Виктор Ардов сам в высокой степени обладал качеством остроумного экспромтиста. Впрочем, как вспоминает Рина Зеленая, у каждого из них был свой юмор. Если Ардов изучал юмористическую литературу, знал наизусть многие страницы произведений «сатириконцев», Горбунова и других, остроты сыпались у него «подобно граду ударов у отличного боксера», то юмор Типота был иным. Несколько примеров, приведенных Риной Зеленой в ее книге «Разрозненные страницы», позволяют почувствовать его особенности:

«– Вы «Конец Криворыльска» не видали?

– Что вы! – отвечал он. – Я еще даже начала не видел.

В ресторане ЦДЛ официант рекомендует Типоту попробовать судак в тесте.

«Судак в тесте! Странно… У моего друга, я знаю, есть тесть в Судаке…» (Это было время, когда даже из кулинарии изымались все иностранные названия: блюдо, известное под названием «судак орли», стало «судаком в тесте»)».*

Подобные «бытовые» примеры показывают, что юмор был у Типота способом мышления, формой восприятия и отражения окружающей действительности. Увлечение Типота театром началось рано. В студенческие годы он уже активно подвизался на любительской сцене, одновременно как автор, режиссер и актер. Программки, написанные от руки, сообщают о спектаклях Интимного театра «Союза независимой южнорусской молодежи». Домашний театр приобрел популярность у одесситов, привлекал репертуаром, выдумкой, интеллигентностью. У него были свои авторы – Вера Инбер и Виктор Типот, композитор – Надежда Можаровская, художники – сестры Блюменфельд, сложившаяся маленькая любительская труппа (многие участники впоследствии станут видными учеными, писателями, артистами).

Начинали с откровенных подражаний Игорю Северянину, входившему в моду Александру Вертинскому. В различных музыкальных инсценировках (1914-1916) представали маркизы, баронессы, юные парижанки и другие персонажи, весьма далекие от одесской действительности.

Однако уже тогда характерные для Типота пародийные интонации изнутри подтачивали сложившиеся традиции, придавали ироническую окраску «маркизо-бержереточным» номерам. Примером того, как переосмысливалась Типотом модная тематика,

* Зеленая Р. Разрозненные страницы. – М., ВТО, 1988, с. 55.

может служить небольшая баллада, послужившая основой для музыкальной инсценировки:

Это было в старой пьесе.
По паркету двигаясь плавно,
Подошел маркиз к баронессе
И сказал ей, смущаясь явно:
«Одну мысль постоянно лелею –
Баронесса, о будьте моею!
Я царице вас сделаю равной…»
– *Это было забавно*.
Баронесса ответила строго:
«Маркиз, вы плешивый и тучный.
Захотели вы слишком много».
И ушла. Он заплакал беззвучно,
И весь вечер угрюмый, серый
Скрывался в складках портьеры.
Его взгляд был с ней неотлучно.
– *Это было так скучно*.
А потом, усмехнувшись прощально,
Маркиз с холодной отвагой
Под звуки музыки бальной
Пронзил себя острой шпагой.
Баронесса, бледнея, узрела
Падение тела,
Обернувшись на шум машинально.
– *Это было печально*.

Пародийная стихия все сильнее захватывала Типота. Появляются не только отдельные номера, но и целые пародийные спектакли. Например, «Альбом имитаций кинематографа» (1917).

«1. Русский фильм: роскошная жизненная драма. «Любовь отцвела, не успевши расцвесть, ужасна любимым загробная месть», поставленная фирмой Харитонова, с участием короля русского экрана Размозжухина и артистки императорских театров Р. Прохладной.

2. Итальянский фильм: знаменитая красавица Ева Беллини в сенсационной драме из великосветской жизни «Жертвы клеветы». Необычайная постановка «Торино» превосходит все, показанное до сих пор на экране.

3. Французский фильм: трогательная драма в красках «Дитя-примиритель», разыгранная ансамблем парижской фирмы «Братья Патэ». В заглавной роли известная малолетняя артистка Люси Дюпре.

4. В антрактах любимица одесской публики Оля Петрова (певица скорби людской) исполнит лучшие номера своего репертуара».*

По воспоминаниям современников, даже в первые послереволюционные годы, когда Одесса переходила из рук в руки, культурная жизнь не прерывалась. Возникали новые театры, студии. В мемуарах артиста Я. Галицкого рассказано о маленьких одесских театриках – «Фарс», «Миниатюр», «Улыбка», «Интимный», «Сатира» и им подобных, не испытывавших недостатка в зрителях.

После установления в Одессе советской власти Центросоюз предоставил группе любителей маленький клуб в глубоком подвале на углу Екатерининской и Троицкого переулка. Новый театр малых форм (миниатюр) должен был давать спектакли для работников Центросоюза. Подвал, в котором обосновался театр, подсказал название – «Крот». Оно имело еще и второй, скрытый, смысл и расшифровывалось как «Конгрегация рыцарей острого театра». Одесская пресса отмечала наличие у театра собственного лица, «культурный, тонкий, свежий и смешной репертуар».** «Это первый опыт театра-кабаре, где работают не ремесленники, а действительно люди, любящие свое дело».***

В труппе – Рина Зеленая, Вера Инбер, крепкий герой-любовник Федор Поляков. В музыкальных спектаклях принимал участие будущий великий скрипач, тогда совсем еще мальчик Додик Ойстрах, известная одесская певица Ольга Карасулова. Все участники труппы музицировали, немного пели. «В. Типот еще не совсем опытный конферансье, – писал рецензент журнала «Театр», –

* Здесь и далее тексты цитируются по. личному архиву В.Я. Типота.

** «Театральный бюллетень». – Одесса, 1922, № 11, 1 янв., с. 15.

*** Там же, 1921, № 2, 18 окт., с. 7.

но именно отсутствие актерских приемов и навыков, отсутствие шаблона составляет большой плюс в этом безусловно культурном руководителе театра».*

Дочь Типота, Н.В. Соколова, восстановила весь репертуар, состав труппы, записала рассказы участников и очевидцев. Программа менялась каждую неделю. Руководитель театра придумывал, писал, ставил, играл, конферировал. По неполному списку им было сыграно около ста ролей. И все-таки актерские лавры не привлекали Типота, возможно, и талант его в этом плане был достаточно скромным. Во всяком случае, и в прессе, и в воспоминаниях современников о нем говорится преимущественно как об авторе и конферансье, имеющем свою позицию, наделенном не только юмором, но и собственным взглядом на жизнь. Точность и мгновенность реакций, о чем вспоминает В. Ардов, присущие Типоту от рождения, получили развитие в беседах-конферансах с разноликой в те годы публикой «Крота». Здесь, в «Кроте», сложился тот человек театра, которым Типот и оставался всю жизнь; здесь же, в «Кроте», сформировался и его литературный талант, те формы и приемы комического, которые он развивал и совершенствовал в дальнейшем.

Выше уже упоминалось о кинопародиях в любительском спектакле 1917 года. Немало разнообразных пародий и в репертуаре «Крота». В них высмеивались пошлость, ханжество, вульгарное приспособленчество, конъюнктурность в театре, кино, на эстраде. По своей направленности они близки пародиям «Кривого зеркала», которые Типот мог видеть во время гастролей в Одессе в 1910 году.

Публику особенно привлекал пародийный сериал «Голубой бриллиант» («уголовно-детективный трюковый кинороман»). У Р. Зеленой сохранился текст четырех поставленных серий «Вольф и сыновья», «Четыре страуса», «Бритвенный прибор м-ра Харда», «Вор-трест», незавершенной пятой серии и план шестой. Первые две, написанные Верой Инбер, были изящны, ироничны, действие в них вела современная деловая западная женщина, руководительница фирмы «Вольф и сыновья», успешно заменяющая и Вольфа, и сыновей, ее исполняла Вера Инбер.

* Там же, 1922, № 4, с. 8.

Даже при беглом чтении заметно различие этих двух серий и трех последующих, принадлежавших Типоту. В шутливых пародиях и детективном бурно развивающемся сюжете он находит возможность, не изменяя общей интонации, использовать политическую злобу дня. «Здесь вам не Генуэзская конференция, надо вести себя прилично», – говорит один из персонажей четвертой серии. Она была поставлена в последних числах мая, сразу же после завершения Генуэзской конференции, на которой шли ожесточенные дебаты по ряду экономических и финансовых проблем. Выходы в политику есть и в третьей серии, где упоминается о «законных требованиях Малой Антанты», о предъявлении со стороны США Германии требований об уплате долгов…

Остроумная пародия, какой задуман сериал «Голубой бриллиант», под пером Типота приобретала злободневную политическую интонацию. Постоянные персонажи-маски, участники увлекательной борьбы за обладание драгоценностью, приобрели такую популярность в городе, что, по воспоминаниям очевидцев, незнакомые люди называли Р. Зеленую Вандой, а Надежду Блюменфельд по имени ее героини, секретарши мисс Пипчинс.

Совсем иной, чисто бытовой характер, имели персонажи-маски в номере «Витрина фотографа», который Типот тоже относит к пародиям. Для «Крота» это был один из первых опытов «театра социальной маски» в типотовском варианте:

«Матрос сидит на стуле, положив руки ему на плечо, сидит его подружка, у обоих застывшее, напряженное выражение лиц. В виде декорации бутафорский спасательный круг с надписью: «Боже, храни царя русского флота».

Дама в туалете, обтягивающем пышные формы. Нарочито выставленный вперед бюст, голые плечи, кокетливо изогнутая спина, высоко взбитая прическа».

Конечно, в репертуаре «Крота», строившегося по образу и подобию традиционных миниатюр, немало и всевозможных «безделушек», фарфоровых сердец, оживающих статуэток, инсценированных стихов и песенок, большей частью принадлежавших В. Инбер. Шли также маленькие пьесы, переведенные с французского, английского артистами труппы. Разнообразные роли, сыгранные Типотом в «Кроте», позволили ему почувствовать

особенности контакта с публикой, привили вкус к импровизации. Она была не только в конферансе, но и в номерах, обозначенных в программке как «злободневные комедии dell'arte». В «Кроте» Типот делает первые шаги на поприще политической и бытовой сатиры. Летом 1922 г. В. Инбер, Р. Зеленая и Типот уехали в столицу.

Первое время в Москве «кроты» старались держаться вместе. Вера Инбер и Рина Зеленая, оказавшись в кабаре «Нерыдай», привели туда и Типота. Маленькое кабаре под руководством опереточного актера А. Кошевского стало для него своего рода трамплином в большое искусство. «Нерыдай» был детищем своего времени. Кроме нэпманов среди посетителей были представители творческой интеллигенции – поэты, художники, актеры, критики.

По свидетельству В. Ардова, Типот «немедленно, со свойственной ему энергией и быстротой стал предлагать и ставить написанные им самим или другими авторами вещи, которые сразу же понравились и актерам, и зрителям, и рецензентам…». Влияние, которое быстро приобретал Типот, стало раздражать хозяина предприятия. В результате Виктору Яковлевичу пришлось уйти, однако его вещи продолжали оставаться в репертуаре «Нерыдай» до закрытия кабаре в 1924 году.

Короткое пребывание в «Нерыдай» позволило Типоту быстро войти в круг московских острословов, сатириков и юмористов. Он не только продолжает писать для «малоформатных» театров, но и пробует себя в журналистике. Одним из лучших сатирических журналов начала 20-х годов был «Красный перец», первый

номер которого вышел в январе 1923 года. Как вспоминает тот же Ардов, в «Перце» Виктор Яковлевич «писал и стихи, и прозаические вещи – часто очень малые по объему, но всегда острые и талантливые. Сочинял он и темы для рисунков – важная сторона редакционной работы… Кстати, среди наших «темистов» был и В.В. Маяковский». В период наибольшей популярности «Красного перца» (1923-1924) сатирические стихотворения, фельетоны, диалоги, короткие рассказы Типота – последние обычно тоже написаны в форме диалога – можно найти чуть ли не в каждом номере. Кое-что из напечатанного станет своеобразными заготовками для будущих эстрадных номеров. Так, например, рассказ «Труп де-юре» превратится впоследствии в скетч, много исполнявшийся «Синей блузой».

Для театра миниатюр «Кривой Джимми» Типот (вместе с В. Инбер и Ю. Данцигером) пишет обозрение «Смешанное общество» (1924). Главными персонажами стали знаменитый физик Альберт Эйнштейн – «пророк XX столетия», – якобы приехавший в Москву для изучения нравов, быта и искусства, и крупный делец, нэпман Жозеф Борщ. При помощи изобретенного Эйнштейном аппарата обозреватели начинали свободно перемещаться во времени и пространстве: оказывались в дореволюционной действительности, за рубежом на заседании стран Антанты, посвященном признанию СССР, знакомились с различными сторонами московского быта и даже попадали в ГПУ, где среди арестованных «профессиональный сиделец» Меньшевик («сидел до и после революции»), Спец, Спекулянт и другие. Наибольший успех имела сцена на столичной черной бирже, помещавшейся тогда на Ильинке. Это был злободневный отклик на выпуск Государственным банком разменной серебряной монеты. Советские денежные знаки стали твердой конкурентоспособной валютой. Вокруг «арапской принцессы», олицетворявшей биржу, кружились меняющие валюту «жучки». Поочередно появлялись Лира, Фунт, Марка, Доллар – в куплетах они рекламировали свои достоинства.

«Мне Америка мала –
Я пленен Европою…

Я незыблем, как скала,
Скоро всех вас слопаю», –

заявлял Доллар. Вслед за ним выбегал удалой русский молодец – Гривенник:

«Эх вы, сашки-канашки мои,
Разменяйте бумажки свои,
А бумажки подержанные
И падению подверженные…
Как у нашего монетного двора
Появилася гора из серебра…
А я гривенник, звеню, звеню, звеню,
Я вам живо конъюнктуру изменю…
Что мне лира, что мне доллар, что мне франк –
Заведу себе я собственный свой банк…
Иностранный потеснись теперь народ,
К вам в компанию новый гривенник идет…»

По свидетельству очевидцев, сцена неизменно вызывала овации зрителей. «После слащавой агнивцевского типа романтики, – писал рецензент, – «Смешанное общество» – радостная попытка дать современное советское. обозрение».*

Когда управление зрелищных предприятий Мосгорисполкома обратилось в журнал «Красный перец» с просьбой помочь в создании советского сатирического театра, то выбор пал на Типота. Годы заведования художественной частью Московского театра сатиры (1924-1927) можно считать периодом расцвета дарования Виктора Яковлевича. Интенсивность работы была ошеломляющей: ежегодно два-три обозрения, репертуар для концертных номеров плюс руководство театром, режиссером которого по выбору Типота становится Д.Г. Гутман. Как происходил этот выбор, он рассказывает в заметке, подготовленной, по-видимому, к десятилетию театра. По его словам, созданию театра предшествовал год упорной борьбы. Она шла на два фронта. С одной стороны,

* «Новый зритель», 1924, № 14; с. 11.

приходилось воевать с перестраховщиками, ставившими под сомнение саму возможность существования сатиры в социалистическом обществе, ханжами, пугавшимися качества развлекательности, которое в те годы ассоциировалось с нэпманской стихией. «Враг был достаточно силен, чтобы заставить нас продвигаться с боями, чтобы оказывать нам на каждом шагу глухое, упорное сопротивление», – вспоминал Типот.

На другом фронте строителям советского сатирического искусства противостояли старые добрые традиции миниатюрного жанра. Некоторым казалось, что Театр сатиры должен был их унаследовать вместе с труппой и помещением «Кривого Джимми» в подвале Гнездниковского переулка, где еще недавно обитала «Летучая мышь». Надо было вести борьбу за зрителя. «Кассовые идеологи, – писал Типот, – несли знамена с лозунгами: «Без маркизов и апашей сборов не будет. Публика не интересуется советской тематикой…».**

В спектакле, подготовленном к открытию театра, маркизов и апашей не было. Обозрение «Москва с точки зрения» продолжало и развивало то, что было найдено в «Смешанном обществе». Тот же широкий обзор московской жизни, тот же сюжетный ход в виде путешествия персонажей. Сходство убеждает, что замысел и общая конструкция пьесы принадлежали Типоту. Однако сами обозреватели, вероятно, не без помощи его соавторов заметно изменились. Вместо условного Эйнштейна появилось вполне конкретное семейство Пуприяков, приехавших в Москву из провинции. Ситуация для того времени вполне типическая – приезжие буквально наводняли столицу. Спектакль, поставленный Д. Гутманом, по свидетельству критика, покорял «крепко завязанной связью с московским бытом… а вокруг основного мотива об уплотнении вырастает ряд анекдотов, многие из них станут ходячими и будут повторяться в Москве».***

С Гутманом у Типота сохранятся добрые отношения на многие годы. Еще не раз после ухода из Театра сатиры будут они работать вместе. Здесь же в течение трех сезонов Типотом было написано девять многоактных обозрений. Из них шесть – в соавторстве

** Типот В. Если память мне не изменяет. – Архив автора.
*** «Правда», 1924, 4 окт.

с другими литераторами: кроме «Москвы с точки зрения» «Семь лет без взаимности», «Спокойно, снимаю», «Европа, что надо», «Ой, не ходи Грицю на заговор императрицю» и «Вечерний выпуск». Три – «Мишка, верчи», «Насчет любви» и «Мечты… мечты…» – написаны Типотом самостоятельно. (За исключением последнего, на афише рядом с Типотом стояло еще и имя Д. Гутмана – режиссера, участвовавшего в создании обозрений.)

Типот любил работать в соавторстве. Свободное импровизационное состояние возникало при наличии собеседников, в условиях словесной дуэли. Подобный коллективный метод порой приводил к перенасыщенности остротами и каламбурами. Впрочем, в первые сезоны Московский театр сатиры имел без преувеличения сенсационный успех. Маленький зал был переполнен. Спекулянты билетами кланялись Гутману, называли его своим кормильцем. Поскольку репертуар не издавался, то ловкие администраторы посылали в зал стенографисток для записи текстов обозрений.

В истории Московского театра сатиры впоследствии будет немало выдающихся спектаклей, которые принесут ему славу. Рядом с ними первые обозренческие работы выглядят скромно. О справедливости такой оценки спорить не берусь. Но подобной атмосферы раскованности, как в закулисной жизни, так и в самих спектаклях, неровных, построенных на чередовании сатирических сценок, фельетонов, куплетов, танцев, пародий, буффонады, не только в Театре сатиры, но и в других театрах, кажется, больше не было. И еще одно немаловажное обстоятельство, выделявшее Театр сатиры среди других, – собственный, оригинальный и современный репертуар.

Последовательное обращение к современности было программным для Типота. Атмосфера, царившая в театре, как бы развивала и продолжала полулюбительское творчество «Крота», равно как и обстановку на «темных» заседаниях «Красного перца». Не только на практике, но и в печати Типот будет неизменно бороться за «эстрадный уклон»: «Подать серьезную тему в легкой форме – дело серьезное и нелегкое».

Литературная работа Типота 20-х годов отмечена широтой тематики. Сатира высвечивает различные стороны современного

быта, он предстает во всей пестроте и многоликости. И даже в тех случаях, когда автор объявляет свое обозрение «однотемным», как, например, «Насчет любви», он отнюдь не ограничивает себя заданной проблемой. В обозрении высмеивается бюрократизм, протекция, показуха, вроде столовых Моссельпрома, где «сытости никакой – одна агитация», и многое другое. Но главным объектом сатиры становится мещанство, мещанская психология в разных ее проявлениях.

В эпизоде «Отдых дома», который произвел столь сильное впечатление на Зорича, респектабельная супружеская пара, страдающая от упадка «культуры духа», принимала гостей. Досуг заполнялся классической музыкой. Звучали рояль, скрипка, виолончель. Хозяйка исполняла романс. Все были милы, интеллигентны, корректны. Но стоило кому-то сфальшивить, и идиллия взрывалась скандалом. Добропорядочность, интеллигентность служили здесь лишь прикрытием взаимной ненависти, супружеской неверности, постоянных дрязг. Хозяева обеспокоены только одним – скрыть скандал от соседей! Страсти стихали, и снова звучала классическая музыка, на фоне которой изредка слышалось: «Мерзавец! Негодяй! Сам подлец!».

Совсем иным был эпизод «Столовая Моссельпрома», по форме подобный развернутому фельетонному монологу. Рассказ о работе показательной столовой, по вечерам трасформирующейся в кабаре («днем обеды с идеологией, вечером ужины с выпивкой»), идет от лица старшего официанта: «У нас столовая показательная, организована была на 2600 обедов в день… Ввиду перехода от субсидии через хозрасчет на самоокупаемость мы для избежания убытков сократились до сорока шести обедов…». Ситуация абсурда по ходу монолога еще нагнетается. Широко используются сатирическая реприза, ядовитый каламбур.

Как и другие обозрения Театра сатиры, «Мечты… мечты…» точно отразили время. Шел 1927 год. Нэп заканчивался, страна вступала на новый путь. Будущее выглядело неясным, трудно предсказуемым. В своих размышлениях о разных сторонах жизни Типот, следуя законам сатирического театра, шел «от противного», показывал, каким это будущее быть не должно. К сожалению, в ряде случаев его опасения оправдались.

Тексты обозрения позволяют увидеть особенности манеры Типота – литератора, работающего для эстрады и эстрадного театра. Как публицист и журналист он пишет быстро, не уделяя особого внимания литературной обработке. Эстрада для него – прямой разговор с публикой, в котором широко используются ирония, насмешка, иносказание, шутка. Оказавшись руководителем и автором театра, он временами остается все тем же «разговаривающим» со своей аудиторией конферансье, в чьей роли он когда-то начинал на эстраде «Крота». Владение как стихотворной, так и прозаической формами позволяет ему свободно и органично их сочетать, что немало пригодится ему в будущем, когда он начнет работать для оперетты. В своих обозрениях Типот не создает развернутых характеров персонажей, разве что эскизные наброски. Главным для него остается острая постановка проблемы, мысль, отчетливо заявленная в сценке, куплете, фельетоне.

К концу десятилетия тучи вокруг сатирического направления сгущались. «Мечты… мечты…», без обычного для театра блеска поставленные Э. Краснянским, продержались недолго. Московский театр сатиры решительно менял свой курс. Отказавшись от «обозренческого» уклона, театр переходил на постановку больших сюжетных пьес.

Новый курс театра не устраивал Типота, продолжавшего верить в идейную и политическую значимость эстрадной миниатюры, частушки, куплета, обозрения. Не желая перестраиваться, он уходит из созданного им театра. «Он был большой мастер по уходам, – говорит о нем Рина Зеленая. – Уйти, хлопнуть дверью, это же гораздо легче, чем бороться, настаивать на своем». Уже на следующий, 1928 год он создал Театр обозрений Дома печати, стал его художественным руководителем, одним из авторов и режиссеров. Спектакли театра большей частью состояли из небольших эстрадных номеров. В качестве объединяющего начала использовалась оригинальная по тем временам форма парного конферанса. Выдумка Виктора Яковлевича (по свидетельству Р. Зеленой, он был и автором текста) сразу же получила признание публики. Не случайно впоследствии он станет одним из постоянных

авторов парного конферанса Л. Мирова с Е. Дарским, а затем с М. Новицким.

Рина Зеленая вспоминает заполненный до отказа зал, со стоявшими у стен и за открытыми дверями зрителями, среди которых писатели, поэты, газетчики и, конечно, актеры, «единение сцены и зала было полным. Подчас люди, о которых шел разговор на сцене, сидели тут же в зале».*

Типот много пишет для «Синей блузы». Как правило, это те же, по определению С. Третьякова, «эстрадно-бытовые сценки», куплеты, из которых складывались и упоминавшиеся выше многоактные обозрения Театра сатиры.

В них представали бюрократы, приспособленцы, люди, работающие по шаблону, не желающие вникать в суть вопросов, которыми они занимаются. Содержание выражено предельно ясно, обычно оно еще резюмируется в финале. Автор ориентируется на массового зрителя, совсем иного, чем в маленьком Театре Дома печати.

Многое из созданного Типотом для «Синей блузы» звучит вполне актуально и сегодня. Хотя бы лаконичная – полторы странички текста – буффонада «Кого сократить?», написанная в соавторстве с М. Вольпиным. Действие происходит в кабинете «зава», ломающего голову, кого сократить в связи с необходимостью выполнить решение о сокращении штата: Иванов – нахал, от него не отобьешься, Петров – племянник большого начальника, Сидоров – единственный работник. Советуясь с секретарем, решает сократить курьера, но так как без него тоже нельзя, то зачислить его «на постоянную временную работу».

«**Зав.** Так ведь это же гораздо дороже выйдет?

Секретарь. Для проведения режима экономии никаких народных денег не жаль».**

Великолепная по своей точности реприза характерна для таких коротких диалогов, где действуют обобщенные персонажи-маски. Она завершается куплетами «синеблузников», сбрасывающих маски:

* Зеленая Р. Разрозненные страницы, с. 49.
** «Синяя блуза», 1928, № 2.

«У нас расчетливый режим,
Копейкой каждой дорожим,
Проводим сокращенье штатов.
Но часто, проводя режим,
Головотяпством мы грешим.
И если сокращать решим,
Давайте раньше сократим
Совдураков и бюрократов».

Журналистская кровь сделала Типота своим в среде «синеблузников». В свою очередь работа для «Синей блузы» подсказала ему не только содержание, но и форму обозрения «Вечерний выпуск» (вместе с М. Вольпиным), поставленного Театром сатиры.

Типот в 1938 году еще раз пытается создать в Москве Театр эстрады и миниатюр. Один из самых ярких номеров первого сезона – монолог Розалинды Лазуревской в исполнении Рины Зеленой. В архиве Виктора Яковлевича сохранился его первоначальный вариант (впоследствии он дорабатывался самой актрисой и В. Поляковым) Конферансье (в тексте Типота назван Смирнов-Сокольский) приглашает кого-нибудь из публики «высказаться об эстраде». Поднявшись на сцену из зрительного зала, Розалинда Лазуревская начинает рассказывать трогательную историю о том, как она познакомилась с мужем.

– Он что, работал на эстраде? – спрашивает конферансье.

– Нет, при чем здесь эстрада? Вот у меня был знакомый летчик в Сочи. Когда я уезжала, вы знаете, что он сделал? Он обещал мне, что поднимется в самолете над поездом и прямо из мертвой петли бросит мне в окно букет цветов…

Конферансье пытается прервать поток бессвязных излияний или хотя бы приблизить их к теме, указанной на афишах.

– Вы знаете, что совершенно нельзя верить афишам… Я вижу – афиша «Взаимная любовь», оперетта, интересно… Любовь, тем более взаимная, – это шик, блеск, страсть и модельная обувь, и, как вы думаете, что мне вечером показывают? Что евреи взаимно любят казаков. Разве это та любовь, которая мне нужна?

А после этого я отказываюсь пойти в сатиру на «Неравный брак», потому что ясно: «Неравный брак» – это легкая промышленность, в одном цеху такой брак, в другом – такой, в третьем – еще меньше, а потом оказывается, что это пьеса про американца и про любовь… Между прочим, мне один знакомый драматург сказал, что сейчас современным драматургам пьес заказывать больше не будут. Будут заказывать пьесы только классикам, они гораздо более актуально пишут…

В монологе хорошо прослушиваются интонации Рины Зеленой, ее торопливая, сбивчивая, чуть пришепетывающая речь. Гротесковая фигура Розалинды была точна и узнаваема. Естественным выглядел ее выход из зрительного зала, где могли находиться подобные дамы.

В послевоенные годы, если не считать большой, требующей отдельного изучения области различного рода «капустников» (Дома литераторов, ЦДРИ и т. д.), Типот почти целиком уходит в музыкальную драматургию. Впрочем, для старых друзей по эстраде он по-прежнему остается желанным автором.

«К сожалению, характер и дарование этого незаурядного человека были таковы, – писал В. Ардов, – что он оставил след лишь в тех областях, где скорее всего забываются достижения и заслуги. Но это уже не вина Виктора Яковлевича, а скорее – беда. Беда не только для его памяти, если можно так сказать. Беда и для нас – для тех, кто помнит этого выдающегося человека; нам бы хотелось, чтобы люди, никогда не встречавшие Виктора Яковлевича, могли бы хоть заочно подивиться его редкому многообразному дарованию. Увы! Многие из нас, работников в сфере «малых форм», обречены на такую же судьбу. И тем не менее редко кто оставляет наше поприще, как не оставил его до самой смерти и покойный наш друг – Виктор Яковлевич Типот».

Мне не удалось повстречаться с Виктором Яковлевичем. Но, изучая историю эстрады, я могу лишь подтвердить справедливость характеристики, данной Ардовым. Человек театра – автор, режиссер, конферансье, – он всегда, насколько позволяли силы, боролся за развитие эстрадного театра как театра злободневного, умного и веселого.

В столовой*

Плакаты: Обеды от 22-х копеек, для членов скидка.
Если хочешь быть счастливым, пей Горшановское пиво, кружками 35 копеек.
Ты был «человеком», а стал человеком.
Курить воспрещается, водить собак тоже воспрещается.
Общественное питание – освобождение женщины.
Столовая, не то Моссельпром, не то Нарпит. Все грязно, не прибрано. В ложе судомойки моют посуду, грязные официанты разбрасывают по ненакрытым столам оловянные чашки и деревянные ложки. Ходок за одним столиков нетерпеливо стучит. Он – единственный посетитель.

Первая судомойка. Сейчас заведующий повара крыл.

Вторая судомойка. А что?

Первая судомойка. Да вчера мясник прислал свежую хорошую телятину на вечер для гостей, а он ее спьяна в обед для нас пустил.

Вторая судомойка. Значит, нас вчера свежим накормили. Здорово. Как бы не захворать с непривычки.

Первая судомойка (*старшему лакею*)**.** Гаврила Фомич, глядите, кто-то сидит.

Гаврила. Я вижу, что сидит, а кто стучит?

Первая судомойка. Он и стучит.

Гаврила. А что это он стучит?

Вторая судомойка. Бог его знает.

Гаврила. Сходить поспрошать. (*Подходит к Ходоку*.) Это, товарищ, ты стучишь?

Ходок. Я стучу.

Гаврила. А зачем же это ты стучишь в публичном месте?

Ходок. Есть хоцца.

Гаврила. А. Ну от стука сыт не будешь.

* Фрагменты из второго акта трехактного обозрения «Насчет любви» (в соавторстве с Д. Гутманом).

Ходок. Да я стучу, чтобы обедать несли.

Гаврила. Удивительно.

Ходок. В чем же дело?

Гаврила. Вот это я у тебя и спрашиваю.

Ходок. Здесь общественная столовая народного питания?

Гаврила. Здесь…

Ходок. Вы здесь… как это… подавало будете?

Гаврила. Я.

Ходок. Обеды у вас от скока до скока?

Гаврила. С девяти часов утра до пол-одиннадцатого.

Ходок. Что же это так рано? Никто же в этакую рань обедать не станет.

Гаврила. И не надо.

Ходок. Столовая же?

Гаврила. Столовая.

Ходок. Обеды же?

Гаврила. Обеды…

Ходок. Так как же?

Гаврила. Ты, видать, не местный, а с мест.

Ходок. Да, я по командировке.

Гаврила. Позволь разъяснить в таком разе… У нас столовая показательная, организована была на две тысячи шестьсот обедов в день. Каждый обед в три блюда, а цена ему двадцать две копейки.

Ходок. А почему это у вас кошками пахнет?

Гаврила. А тебе, чтобы за двадцать две копейки бенгальскими тиграми пахло! Обеды общедоступные, ну и запах такой ж. Продолжаю: ввиду перехода от субсидии через хозрасчет на самоокупаемость, мы для избежания убытков сократились до сорока шести обедов.

Ходок. Ну вот, и давайте мне один из сорока шести.

Гаврила. Странно ты рассуждаешь, гражданин. А я, значит, с голоду помирай?

Ходок. Ничего не понимаю.

Гаврила. Чего не понимать. Обедов-то у нас сорок шесть, а служащих-то по штату – шестьдесят три. А служащим-то по колдоговору обед причитается. Вот мы, значит, в соседнем ресторане

сами ежедневно семнадцать обедов добираем. В обрез. Где уж тут посторонних кормить!

Ходок. Что же делать?

Гаврила. Все одно, скажем по совести, какие могут быть три блюда за двадцать две копейки. Сытости никакой, одна агитация. Потерпи уж до вечера.

Ходок. А вечером что?

Гаврила. Приходи к нам. Отужинать.

Ходок. Да у вас, верно, ужины вроде обедов.

Гаврила. Что ты! А-ля карт… Гостям удовольствие, нам доход.

Ходок. Так вы бы только вечером и торговали.

Гаврила. Невозможно… Ведь столовая же показательная… для пропаганды общественного питания на предмет раскрепощения женщины от семейного очага… Днем обеды с идеологией, ночью ужины с выпивкой. И обстановка не то, что ночью, что днем. Придешь – не узнаешь. Прямо ночь и день. Раз-два придешь и своим человеком заделаешься…

Ходок. Да я ненадолго в Москву… по командировке.

Гаврила. На какой предмет?

Ходок. Вот (*показывает командировочное свидетельство*).

Гаврила. Удивительно. Любовь, говоришь?

Ходок. Именно.

Гаврила. Самая любовь опять же у нас вечерком. Но, по совести говоря, любовь, где она? Ранее она действительно была. Любовь. Я до мировой бойни в этом самом помещении прислуживал… Сорок два кабинета – и все как один работали. Вот это я называю любовь. А теперь, извольте видеть, чаевые отменены. Взамен заработка плакат повесили. «Ты был человеком в кавычках, а стал человеком без кавычек». А может, я через эти кавычки двухэтажный домик купил. Это без внимания. Да и клиент теперь больше насчет пива. Какая же от пива может быть любовь? А который посетитель даже при деньгах, и тот против прежнего клиента не конкурент, постоянства нет. Прежний ходит, ходит и ходит… А этот ходит, ходит и сядет… А пока не сел, в ожидании. У теперешних уж очень нервная система. Да-с, молодой человек, про любовь ты меня спроси. Я в этом деле спец. Сколько ее, этой любви, у меня через руки

Вольный

прошло, по губам текло, в рот не попало… Любовь, она дорого людям обходится.

Ходок. Жизнь за нее отдают…

Гаврила. Ну жизнь, не жизнь, а иная любовь по пятьдесят тысяч влетала…

Ходок. Ну это не то… Это не настоящая любовь.

Гаврила. Как, то есть, не настоящая? Кто бы за нее тогда такие деньжищи платил, если бы она была фальшивая… Деньги были настоящие, люди были настоящие, любовь была настоящая. А почему? Потому жизнь раньше шла вперед, а не стояла на одном месте по нонешнему образцу…

Ходок. Что вы, гражданин, мы несемся на всех парах и каждый день все ближе и ближе к заветной цели.

Гаврила. Будучи членом профсоюза, насчет цели выражаться опасаюсь, а что я прав, могу тебе доказать а-ля карт. Ранее месяцев было штук двенадцать, каждый по особому назывался, и в каждом свои празднества. А теперь что не месяц – Октябрь, что ни празднества – октябрьские. Уразумел? Уразумел? Люди пошли фальшивые, деньги грошовые и любовь цыплячья… Да вот сам сейчас увидишь. [……]

Пародия на «Кирпичики»

На окраине, где-то в городе,
Я в убогой семье родилась.
Горе мыкая, лет пятнадцати
Я в шантан выступать нанялась.

Было легко мне время первое,
Но пришел вдруг 17-й год –
И с шантанными песнопеньями
Не податься ни взад, ни вперед.

В Посредрабисе Сеньку встретила,
И ему не хватало на хлеб,

Но, как водится, безработицу
Вдруг сменил благодетельный нэп.

Кажду ноченьку выступали мы
Там, где пьянствовал всяческий сброд,
И за старые за куплетики
Мы имели приличный доход.

Но пришла перерегистрация,
По эстраде ударила вдруг –
Сенька вылетел, а за ним и я.
И еще 270 штук.

Тут война пошла с куплетистами,
Ожидал нас ужасный удар,
И по строчечке, по куплетику
Зачеркнули весь репертуар.

После Смольного счастья вольного
Почему ж до сих пор я жива,
Потому что мы вместе с Сенькою
Изменили в куплетах слова.

Так нашли мы вновь счастье старое
И повсюду, куда ты не глянь,
Мы по-новому, по-советскому
Возродили шантанную дрянь.

Пародия на негрооперетту

Негр

Американские негры
Прибыли сегодня в Москву.
Нэпач,
Хоть плачь,

Грустит от негра безмерно:
Как скверно –
Он, наверно,
Из Коминтерна.
Нет, огорчаться вам рано,
В нас вовсе политики нет –
Нэпач,
Не плачь:
Из мирового шантана
Мы привезли привет… (*танцует*).

Мы – предмет импорта. Раньше думали выписать за эти деньги несколько тракторов. Потом сообразили, что мы лучше. Трактор – это мертвый предмет. А мы – живая культурная связь с Западом. Трактор – это очень тяжеловесная штука. А мы, наоборот, очень легковесная штучка, например, гоп! Трактор пашет, негр пляшет. Трактор землю роет. Пустяки. Мы тоже носом землю роем, например, гоп! К тому же в Советской стране все интересуются тяжелым положением угнетенных народов. А мы показываем, как сказано в нашей афишке, жизнь и нравы негритянского квартала в Нью-Йорке. Теперь все москвичи будут знать, что несчастный, угнетенный, притесненный, бесправный, голодный, холодный, оборванный, бедный, бедный негр чуть свет уже надевает хорошо сшитый фрак, а его жена не успевает даже снять ночную сорочку, и оба два танцуют без перерыва на обед эксцентрические танцы – такие длинные, такие трудные, что пот с них градом валит. Например, гоп! Мы бедные скромные труженики в нескромных туалетах.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Путешествие

336 Евгений Деменок
Италия. Страна бесконечных сокровищ

Евгений Деменок

Италия. Страна бесконечных сокровищ

Человек устроен так, что наибольшее разочарование ему приносит несовпадение ожиданий и реальности – в том случае, конечно, когда ожидания оказываются завышенными. И наоборот: когда не ожидаешь ровным счетом ничего и вдруг наталкиваешься на что-то совершенно великолепное – тогда восторгу нет предела.

Так случилось у нас этим летом в Италии, когда по приглашению Веры Митурич-Хлебниковой мы приехали погостить в ее небольшую квартиру в маленьком городке Роккасекка, находящемся как раз на полпути между Римом и Неаполем. В Италии даже маленькие города являются средоточием великой истории – в Роккасекке, например, родился и вырос Фома Аквинский.

Две с половиной недели в Роккасекке предоставили нам чудесную возможность часто ездить в Неаполь, о чем я давно мечтал – ведь тут жили мои знаменитые родственники. Двоюродная сестра моего прапрадедушки, Тихона Александровича Квятковского, была женой Михаила Бакунина. Звали ее Антонина Ксаверьевна Квятковская, и в браке с Бакуниным (но, скорее всего, не от него, а от его близкого друга, адвоката и анархиста Карло Гамбуцци) у нее родились трое детей, Карло, Мария и София (позже в уже официальном браке с Гамбуцци у них родилась дочь Татьяна). Мария стала профессором химии в Неаполитанском университете и была одно время президентом Академии Понтаниана, а у Софии в браке с хирургом Джузеппе Каччиополли родился сын Ренато, ставший знаменитым математиком и антифашистом. Так что главной целью моих поездок в Неаполь стали

поиски следов своих родственников. Улицы Марии Бакуниной и Ренато Каччиополли я нашел быстро, химический факультет университета – тоже, а вот поиски семейного склепа Бакуниных-Гамбуцци в связи с масштабными восстановительными работами на кладбище пришлось отложить.

Пока я рыскал по следам родственников, моя семья не тратила времени зря и исследовала неаполитанские музеи и достопримечательности, немедленно делясь со мной своими восторгами, после чего я следовал за ними. Количество музеев несметно, но наибольшее потрясение вызвал у нас музей Каподимонте и королевский дворец в Казерте.

Неаполитанский музей Каподимонте по ценности своей коллекции не уступает музеям Рима и Флоренции. Рафаэль, Тициан, Боттичелли, Караваджо, Питер Брейгель-старший, Эль Греко, Гойя, Мазаччо, Лотто, Вазари, Микеланджело, Джованни Беллини, Пармиджанино, Мантенья – список далеко не полон. Тут представлены помимо богатейшей коллекции семьи Фарнезе картины семьи Борджиа, гобелены семьи Авалос, фарфор Марии-Амалии

Саксонской, отдельно – залы с оружием, рисунками и эстампами, коллекция прикладного искусства Марио де Чиччо и так далее, и так далее. Музейное пространство великолепно организовано, а бесконечная анфилада залов дворца Бурбонов, построенного по приказу Карла VII, короля Неаполя и Сицилии, а по совместительству короля Испании и герцога Пармы, производит потрясающее впечатление. Такое же впечатление производит и городской парк Каподимонте, из которого открывается сногсшибательный вид на город и Неаполитанский залив.

Из шедевров коллекции Каподимонте мне больше всего запомнились две работы: знакомая всем нам с детства по репродукциям «Притча о слепых» Брейгеля-старшего и портрет Луки Пачоли работы Якопо де Барбари.

Именно Брейгель вдохновил Мориса Метерлинка на написание пьесы «Слепые», Герта Хоффмана на создание романа «Притча о слепых», поэта Уильяма Карлоса Уильямса на серию стихотворений. И Бодлера тоже:

О, созерцай, душа: весь ужас жизни тут
Разыгран куклами, но в настоящей драме
Они, как бледные лунатики, идут
И целят в пустоту померкшими шарами.
И странно: впадины, где искры жизни нет,
Всегда глядят наверх, и будто не проронит
Луча небесного внимательный лорнет,
Иль и раздумие слепцу чела не клонит?
А мне, когда их та ж сегодня, что вчера,
Молчанья вечного печальная сестра,
Немая ночь ведет по нашим стогнам шумным
С их похотливою и наглой суетой,
Мне крикнуть хочется – безумному безумным:
«Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?»

А на великолепной работе Якопо де Барбари, написанной около 1500 года, изображен великий Лука Пачоли, нищенствующий монах-францисканец, который изобрел основу сегодняшнего бухучета, двойную запись (кстати, главную книгу тоже он при-

думал). Пачоли начинал как подмастерье у художника Пьерро делла Франческа, но больше его увлекала математика. Он – автор «Суммы арифметики, геометрии, отношений и пропорций», трактатов «Об игре в шахматы», «О счетах и записях». В Милане, где Пачоли возглавлял созданную им же кафедру математики, он сдружился с Леонардо да Винчи, который и проиллюстрировал трактат «Об игре в шахматы», называвшийся еще «Отгоняющий скуку». Да Винчи приписывают и часть изложенных там шахматных задач. Вместе они работали и над трактатом «Божественная пропорция» – Леонардо также его проиллюстрировал. Возможно, знаменитый «Витрувианский человек» как раз создавался изначально как одна из иллюстраций к трактату Пачоли. Более того, есть мнение, что и собственно портрет Пачоли принадлежит кисти не Барбари, а Леонардо.

Вторым потрясением стал королевский дворец в небольшом городке Казерта в двадцати минутах езды от Неаполя. Это самое большое здание, построение в Европе в XVIII веке. Во дворце пять этажей, тысяча двести комнат, в том числе два десятка парадных квартир, 1742 окна, 34 лестницы, 1026 каминов, большая библиотека и театр, созданный по образцу театра Сан-Карло в Неаполе. Общая его площадь – шестьдесят одна тысяча квадратных метров. Неаполитанские (или Сицилийские) Бурбоны решили построить дворец в Казерте, потому что дворец в Неаполе был уязвим для нападений со стороны моря.

Дворец строился по проекту архитектора Луиджи Ванвителли (он был голландцем, ван Виттелем, в Италии изменил фамилию), который взял за образец не столько Версаль (хотя, конечно, с Версалем шло негласное соревнование), сколько королевский дворец в Мадриде, где провел детские годы тогдашний король Карл VII (в Испании он был Карлом III, а вообще он двоюродный брат Людовика XV).

Строительство дворца продолжалось с 1752 (первый камень заложили 20 января, в 36-й день рождения короля) по 1780 год (в 1789-м дворец начали заселять, а все работы были завершены аж в 1845 году), при этом был полностью изменен ландшафт, а город Казерта перенесен на десять километров. Не все идеи Ванвителли удалось воплотить – так и не были построены университет

и библиотека, не построили двадцатикилометровую подъездную аллею. Зато вокруг дворца был разбит самый обширный из регулярных парков Италии с фонтанами и колоссальным акведуком.

В 1759 году Карл VII вернулся в Испанию, его место занял его сын Фердинанд IV. Работы шли быстро, но позже замедлились из-за эпидемии холеры и голода. В 1773 году Луиджи Ванвителли умер, и работу продолжал его сын Карло (вот польза обучения детей своему ремеслу). С провозглашением Неаполитанской республики в 1799 году дворец, как и другие владения короны, экспроприировали, мебель была разграблена и восстановлена после Реставрации. Строительные работы также продолжались в течение «французского десятилетия». Стендаль писал: «Мюрат пытался достроить этот дворец: фрески еще хуже парижских, а убранство великолепнее».

К моменту завершения строительства мода на подражание Версалю ушла в прошлое, так что комплекс в Казерте стал последним грандиозным дворцово-парковым ансамблем в истории

Европы. 22 мая 1859 года во дворце умер Фердинанд II, король Обеих Сицилий.

В 1997 году ЮНЕСКО объявила дворец памятником Всемирного наследия человечества. В Казерте проходили съемки двух приквелов «Звездных войн», фильмов «Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны».

Если вы доберетесь до дворца в Казерте и соберетесь прогуляться по парку, категорически рекомендую взять напрокат велосипед или отстоять очередь и проехаться на небольшом автобусе – пройти его пешком, особенно в жаркую погоду, испытание серьезное. Парк имеет площадь сто двадцать гектаров и длину почти три километра, причем скрыться от солнца особо негде.

Еще одно неожиданное открытие мы сделали на севере Италии. Цель была простой – заехать по пути в Чехию на озеро Гарда, чтобы хотя бы полдня полюбоваться его красотами. Переночевав в крошечной деревушке Арланч, где живут всего четырнадцать человек, мы направились было к озеру, но я предложил минут на сорок заскочить в город Роверето, о котором мы раньше никогда не слышали, чтобы хоть одним глазком взглянуть на музей современного искусства Роверето и Тренто (MART), в котором, как я прочитал ночью, находится хорошая коллекция работ итальянских футуристов. И появился этот музей благодаря вдохновенной деятельности человека, которого звали Фортунато Деперо.

Скажу сразу: это один из лучших музеев, которые я видел в своей жизни.

Когда Маяковский писал о том, что единица – ноль и вздор, он был категорически неправ. Примеров того, как единица меняет

историю, множество. Взять, например, историю Деперо. Он вырос в итальянском Роверето, где учился у мраморщика и работал декоратором. В 1913 году прочитал в газете статью основателя футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, которая его необычайно вдохновила. В 1914-м Деперо переехал в Рим, где познакомился с Джакомо Балла. В 1915-м они написали совместный манифест под названием «Riconstruzione futurista dell'Universo» («Футуристическая реконструкция Вселенной»). Деперо стал своим в кругу футуристов и проявил себя как всесторонне талантливый человек – он выступал как художник, дизайнер, скульптор, график, иллюстратор, театральный оформитель и писатель.

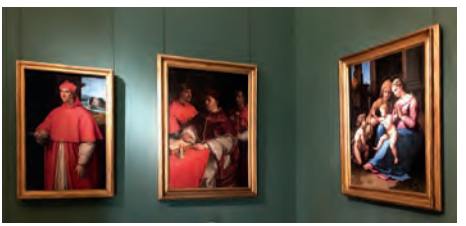
В 1919 году Деперо основал Дом футуристического искусства в Роверето, который специализировался на производстве игрушек, гобеленов и мебели в футуристическом стиле. В 1925 году он представлял футуристов на «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes» (Международной выставке современного промышленного и декоративного искусства)

и представил зал футуристов на «Monza Biennial». В 1927 году вместе со своим другом, рекламным агентом и издателем Феделе Азари (Динамо-Азари) Фортунато Деперо разработал «Depero futurista 1913-1927» – так называемую «книгу на болтах», которая была напечатана в его родном Роверето и представляла Деперо как художника, графического дизайнера и ремесленника.

С 1928 по 1930-й Деперо жил в Нью-Йорке, разрабатывал обложки для журналов «The New Yorker» и «Vogue» и занимался дизайном интерьеров. Созданный им в Нью-Йорке Дом футуристов быстро закрылся – Великая депрессия была безжалостна. В 1930-м он вернулся в Италию, где основал журнал «Динамо», а в 1931 году в Риме издал альманах «Футурист «Кампари», где опубликовал «Манифест искусства рекламы» («Manifesto dell'arte pubblicitaria»). Кстати, созданный им в 1932 году дизайн бутылки для «Campari Soda» используется до сих пор.

Русские и украинские футуристы в большинстве своем поддерживали коммунистов, итальянские – фашистов. Не стал исключением и Деперо. Он поддерживал Муссолини и выпустил в 1943 году сборник националистических стихотворений. Понятно, что после окончания войны он был подвергнут травле и решил снова уехать в США, где жил с 1947 по 1949 год. Одним из его достижений во время второго пребывания в Соединенных

Штатах стала публикация «Так я думаю, так я рисую» – перевода его автобиографии, первоначально выпущенной в 1947 году в Тренто. Он продолжал мечтать о создании большого музея футуризма. Вернувшись в Италию, Деперо публикует в 1950 году художественный манифест «Pittura e plastica nucleare» («Атомная живопись и скульптура»), возродивший интерес к его творчеству. А в 1959-м он наконец открыл Галерею-музей Деперо в Роверето – первый музей футуристической живописи в Италии. Сейчас «Casa d'arte futurista Depero» является одной из локаций совершенно гениального музея MART – Музея современного искусства Роверето и Тренто. По сути, MART возник именно потому, что Деперо создал свой собственный музей, и в коллекции MART сейчас множество работ Деперо и работ из его коллекции, а его личный архив стал базой для создания архива и библиотеки в MART, где сейчас собраны личные архивы художников, арт-критиков и архитекторов.



Вот так мечта одного человека о создании музея футуризма изменила жизнь целого города – в MART проходят выставки мирового уровня, причем одновременно по две-три, и туда приезжает множество туристов и исследователей.

Понятное дело, что MART специализируется на футуризме – среди пятнадцати тысяч работ в постоянной коллекции есть работы Балла, Карра, Руссело, Северини. Есть и работы других итальянских художников XX века – среди них Де Кирико, Моранди, Фонтана. А еще в музее есть огромный архив – более восьмидесяти личных коллекций. Это десятки тысяч писем, рисунков, фотографий, монографий (85000 томов), каталогов (12000 томов), газетных и журнальных публикаций (1600 периодических изданий), а еще коллекция оригинальных футуристических публикаций – в общем, вся хронология итальянского искусства XX века.

Помимо собственно музейной коллекции мы посмотрели три совершенно потрясающие выставки – ретроспективу Алекса Каца, «Art and Eros» (Пьер Клоссовски, Кароль Рама, Ханс Беллмер, Пьер Молинье), выставку под названием «La forza del vero. I pittori moderni della realtà», ставшую для меня главной выставкой года. Это выставка группы художников, впервые выступивших совместно в 1947 году в Милане. Тогдашняя экспозиция называлась «Живопись группы современных художников-реалистов», и ее участниками, как и участниками сегодняшней выставки, стали Григорий Шилтьян, братья Антонио и Ксавьер Буэно, Пьетро Аннигони, Джованни Аччи, Карло Гуарьенти и Альфредо Серри. В 1948 году Шилтьян организовал повторную выставку этой же группы в Риме, и вот теперь она воспроизведена в Роверето. Родившийся в Ростове-на-Дону и умерший в Риме Шилтьян, на чье

творчество оказали в определенной степени влияние Караваджо и де Кирико, друживший до эмиграции с Судейкиным, Сориным, Гозиасоном, Евреиновым, братьями Зданевичами, Тицианом Табидзе, стал позже одним из самых знаковых итальянских художников прошлого века.

Нужно ли говорить, что задержались мы в музее до самого конца дня, так и не поехав на озеро?

А еще при музее совершенно гениальное кафе.

Италия, одним словом.

Ах, Одесса

348 **Феликс Кохрихт**
Ах, «Одесса»!
350 **Сергей Осташко**
Город, мы и журнал

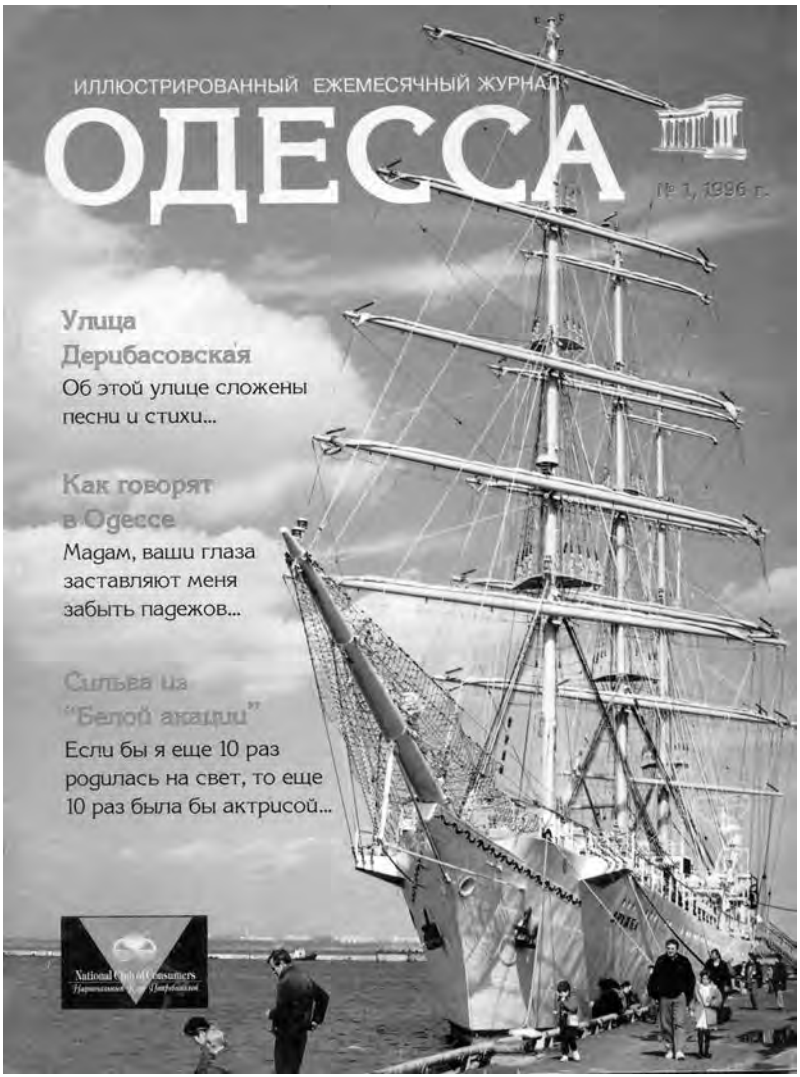
360 **Феликс Кохрихт**
Айзенштадт в Дюссельдорфе

363 **Григорий Яблонский**
Бокс с Фигурой

Ах, «Одесса»!

Фраза, вынесенная в заголовок этих заметок, имеет как минимум три смысловых и эмоциональных значения. Впервые она родилась в начале девяностых в одном из кабинетов газеты «Знамя коммунизма» во время дежурства, которое несли в тот день шеф отдела фельетонов, отец раздела «Полундра!» Карп Полубаков, в миру – Александр Петрович Шнайдер, заместитель редактора Паша Шевцов и я – и. о. ответственного секретаря этого печатного органа. Речь шла об имени юмористической газеты при серьезной, которую нам наконец разрешили выпускать Союз журналистов и отдел печати ОК КПУ. Вечер перетекал в ночь, бурным потоком нам поступали с телетайпов материалы очередного пленума ЦК КПСС, которые надлежало поставить в номер. Уставший за день Карп Полубаков задумчиво вздохнул: «Ах, Одесса!». С этим залихватским и сентиментальным именем газета стала для нас, журналистов разных газет, местом, где можно было шутить и даже зубоскалить, что и происходило несколько лет…

Перестройка дала толчок рождению новых изданий. Среди них был журнал «Одесса», созданный по инициативе просвещенного бизнесмена и патриота города Александра Гришина. Евгений Голубовский, Олег Губарь и я вошли в первую редколлегию. Журнал выходил несколько лет, но в конце 90-х был сражен экономическим кризисом… В 2000 году мы в том же составе редколлегии начали выпускать альманах «Дерибасовская – Ришельевская», который продолжает выходить уже в XXI веке Когда я в конце минувшего года сдавал этот материал на верстку, уже вышел девяносто первый номер. Нынешний – девяносто второй. Недавно в редакцию альманаха пришел наш давний товарищ, соратник по созданию «Одессы», известный журналист и кавээнщик Сергей Осташко. Он принес воспоминания о тех годах, о нашем


ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ОДЕССА
№ 1, 1996 г.
Улица Дерибасовская
Об этой улице сложены песни и стихи...
Как говорят в Одессе
Мадам, ваши глаза заставляют меня забыть падежов...
Сильва из "Белой акации"
Если бы я еще 10 раз родилась на свет, то еще 10 раз была бы актрисой...
National Club of Consulters

журнале, и мы единогласно решили их опубликовать. К сожалению, большой объем, и потому – несколько глав. Знаменательно, что в альманахе с первого номера есть раздел «Ах, Одесса» – скорее юмора, чем сатиры, и неизменной ностальгии. Закономерно, что Сережины мемории опубликованы именно здесь.

Феликс Кохрихт, редактор журнала «Одесса»
и альманаха «Дерибасовская – Ришельевская»

Сергей Осташко

Город, мы и журнал

Пройду по Дерибасовской, сверну на Итальянскую, на вкусной Мясоедовской слегка перекушу

Придумывать новый журнал, да еще с именем «Одесса», нам было нелегко: уж слишком велика была ответственность. Было ясно, что он должен был в корне отличаться от других, уже имеющихся изданий.

Во всех журналах есть рубрики. Но ведь Одесса – это город. Значит, в этом журнале будут не рубрики, а улицы. Читать стихи мы будем на улице Пушкинской, говорить о секретах одесской кухни – на Мясоедовской, знакомиться с ближне-дальним зарубежьем – на Греческой, Итальянской, Бродвейской (хотя такой улицы в Одессе пока нет), а когда реальных улиц будет не хватать, мы начнем строить новые и расселять там своих героев. Ну а шутить мы будем, естественно, на улице Ильфа и Петрова. Хотя такой улицы в Одессе тогда еще тоже не было.

Постойте, но ведь в Одессе шутят везде! А это значит, любая одесская улица может пересекаться с улицей Ильфа и Петрова. То есть к любой, даже самой серьезной статье может быть небольшое (или большое) юмористическое приложение в тему – карикатура, стишок, анекдот, фраза и т. п. И называться это приложение будет «Угол Ильфа и Петрова».

И в первом же номере журнала у улицы Пушкинской, где были напечатаны стихи прекрасной одесской поэтессы Марины Хлебниковой, появился первый «Угол Ильфа и Петрова».

В подборке стихов Марины Хлебниковой было напечатано стихотворение

К Воронцовой!

По Итальянской, по Итальянской
Бьются копыта, мчится коляска.
Солнце сквозь листья – в бешеной пляске,
По Итальянской мчится коляска.

К белой ротонде, кованым стрелам,
К пальцам, дрожащим в кружеве белом, –
Вихрем сминая светские маски,
По Итальянской мчится коляска!

Елизавета, Элис, Элиза –
Имя в дыханьи южного бриза
В спутанных кудрях, солнечной краске –
По Итальянской мчится коляска,

Мчится предтечей звукам романса,
Мчится к загадке vobulimans'a…
Что будет завтра – нынче не ясно.
По Итальянской мчится коляска…

Шеф-повар журнала

Впрочем, одно исключение из этого общего правила все-таки было. У самой вкусной улицы Одессы – Мясоедовской – была еще и рубрика. И называлась она «Burda-Kuchen». И это самым тесным образом связано с заведующим этой рубрикой, одесским эрудитом, знатоком и бардом Борисом Бурдой.

С самого начала было решено привлекать к работе в журнале лучшие одесские силы. И во исполнение этого желания я отправился к Борису домой.

– Кем ты меня видишь в журнале? – спросил он.

– Ну, может быть, ты мог бы рассказывать об интеллектуальных играх и задавать вопросы читателям, – предложил я.

– Это неинтересно. В «Что? Где? Когда?» главное – эффект присутствия и ограниченное время на ответ. А от номера к номеру может сообразить любой, – возразил эрудит.

– Тогда бардовская песня. Ты же чуть ли не самый главный ее основоположник в Одессе, – польстил я.

– Ну, во-первых, это не так, – возразил скромный Борис. – И кроме того, я уже давно отошел от этого движения.

– А что бы ты сам хотел?

– Э нет, так не пойдет. Ты хочешь, чтобы я работал в твоем журнале, так предложи мне что-нибудь интересное.

Переговоры явно заходили в тупик. И тут я вспомнил, как Борина одноклассница мне однажды рассказала, что Борис очень любит готовить. Этого я не знал, но прикинулся шлангом:

– А не хотел бы ты поделиться с читателями своими кулинарными секретами?

У знатока загорелись глаза…

– Как Макаревич на телевидении…

Глаза напоминали уже две искорки, из которых разгоралось пламя… И я решил его еще больше раздуть.

– А с твоей эрудицией и знанием мировых кухонь – это может стать вообще главной рубрикой журнала.

– Да, это интересно. Согласен, – ни минуты не раздумывая, сказал будущий шеф-повар журнала. – Какое блюдо приготовить первым?

– Форшмак, – ни минуты не раздумывая, ответил я.

На том и порешили.

В дальнейшем создание всех выпусков «Burda-Kuchen» проходило по одной схеме. Мы с фотографом Ваней Череватенко появлялись на небольшой кухоньке у кулинара, где уже были

заготовлены продукты. Боря начинал готовить, Ваня – фотографировать, а я предвкушать. И мои предвкушения обычно оправдывались. Когда форшмак, омлет по-азербайджански «чу-чу» или икра из синеньких были готовы, мы втроем садились дегустировать. Правда, когда готовился плов, борщ или тунец, фаршированный аптечным алтеем, ждать приходилось долго, но с эрудитом, знатоком и бардом ждать было не скучно.

Таким образом, со всей ответственностью могу утверждать, что знаменитым кулинаром Борис Бурда впервые стал на страницах журнала «Одесса».

Как говорят в Одессе

Еще одну рубрику хочется отметить особо. Однажды, не помню, каким путем, ко мне попала дипломная работа филолога Алексея Стецюченко об одесском языке. Я решил посоветоваться с Голубовским, можно ли это печатать с продолжениями. Он сказал, что словарного материала маловато, но вот если бы я дописал, расширил и дополнил…

Честно говоря, в общем замоте с подготовкой первого номера времени у меня совсем не было, я дал почитать диссертацию Стецюченко своему сыну-филологу, и тот с радостью согласился расширить и дополнить. Не возражал и Леша, и в течение года в журнале «Одесса» на улице Ильфа и Петрова выходил словарь «Как говорят в Одессе». Иллюстрировал словарь известный одесский карикатурист Валентин Стоянов.

Мой коллега из московского журнала «Новое время», прочитав словарь, пришел в восторг и попросил разрешения перепечатать его в своем журнале. А еще через год «Новое время», опять же с согласия авторов, издало отдельной книгой «Самоучитель полуживого одесского языка» тиражом в тысячу экземпляров. Семьсот экземпляров были привезены в Одессу на одну из юморин и распроданы в течение одного дня.

День ангела журнала «Одесса»

Еще одна презентация журнала запомнилась, я думаю, всему городу. И называлась эта скромная презентация «День ангела журнала «Одесса».

В последнее воскресенье августа в 12:00 на построенную в торце Красного переулка сцену вышли артисты и, сменяя друг друга, не уходили с нее до 23:00.

Впрочем, действо шло не только на сцене. В праздничную площадку превратился весь Горсад. На его аллеях одесситы и гости города могли поговорить «за Утесова» с двумя, пожалуй, самыми большими специалистами по этому вопросу Борисом и Эдуардом Амчиславскими, полюбоваться офортами Геннадия Гармидера и живописью из галереи «На Уютной», сыграть в уникальные резные шахматы, изготовленные, нет, все-таки сотворенные художником Игорем Ивченко, осмотреть и потрогать модели судов из клуба «Альбатрос», пообщаться с настоящим морским волком, героем и другом журнала «Одесса» яхтенным капитаном Анатолием Кириченко и многое-многое другое.

Первая часть праздника была детской. И те дети, которые оказались в районе Горсада, думаю, не пожалели. Было все – бесплатное мороженое, которым буквально закормило одесситов АО «Полярная звезда» (да-да, тогда и одесское мороженое еще существовало, и «Полярная звезда» еще не светила выбитыми окнами на Старопортофранковской), концерт, конкурсы на самую смешную рожицу, на самое быстрое надувание шарика, на самый лучший рисунок на асфальте и прочая, и прочая… Проигравших не было, все дети ушли с подарками, которые предоставили многочисленные спонсоры праздника.

Перерыва не было. Трехчасовую паузу три часа подряд, сменяя друг друга, заполняли оркестры: джаз-банд Николая Голощапова, духовой оркестр военного округа, симфонический оркестр одесской филармонии, фольклорные коллективы. А затем, опять же без перерыва, на сцену вышли взрослые – артисты одесских театров, КВН-команда «Джентльмены ОГУ», поэты, барды, самые красивые одесские грации, одетые в от-кутюр лучших одесских

модельеров, и прочая, и прочая, и прочая. А когда отзвучала последняя песня, будто по заказу возле бара «Воронцов» в Горсаду грянул салют.

«В празднике участвуют авторы, герои и друзья журнала «Одесса», – было написано в объявлении, опубликованном всеми одесскими СМИ. Объявление по редакциям развозил я, а также я приглашал авторов, героев и друзей журнала поучаствовать в празднике. И что интересно, ни один из больших, заслуженных и даже народных артистов даже не заикнулся о гонораре.

Специально к этому дню был написан гимн журнала «Одесса», которым открывала праздник тогда еще заслуженная, а теперь народная артистка Украины Евгения Михайловна Дембская.

Гимн журнала «Одесса»

I

Когда я пою о журнале «Одесса»,
Встает милый город из пены морской…
Знакомые лица
На каждой странице
Хочу я Одессу запомнить такой.

Припев:

Встречаю друзей на страницах журнала «Одесса»,
Одесса…
Я вижу людей, твою славу и гордость, Одесса,
в журнале «Одесса»…
Ты в сердце моем,
Ты всюду со мной,
В журнале мой город родной.

II

О глади залива, о кружеве улиц,
О тех королях, кто немножечко шьет,
О тех, кто уехал,
О тех, что вернулись,
Со мною курантами город поет.

Припев.

III

Храни Бог и Дюк от всех зол и напастей
Мой город, которому славу пою,
От мыса до мыса,
От горя до счастья,
От века до века Одессу мою.

Припев.

КВН в «Одессе»

На второй год своего существования журнал занялся КВНом. Почему-то в тот год город не захотел взять под эгиду первенство КВН, и была придумана гениальная формулировка: «Открытое первенство КВН на кубок журнала «Одесса». Декорацию нарисовал, опять же, герой журнала, прекрасный одесский художник Геннадий Гармидер, и опять же, бесплатно. Мне тогда удалось соединить небо с землей и не платить денег никому. Зал для КВН политех давал журналу за процент от проданных билетов, а телевизионных рекламщиков я поразил потрясающей своим нахальством фразой: «Мы бесплатно предоставляем вам право съемки организованного нами общегородского мероприятия, а вы во время эфира можете вставлять туда любую вашу рекламу». Прожженный Александр Васильевич Масляков, услышав от меня эту формулировку, аж крякнул от зависти: «Как это все у вас в Одессе легко делается».

Наверное, нет смысла пересказывать ход этого напряженного первенства, в котором принимали участие команды вузов, школ, Одесской церкви Христа, сборная города Овидиополя и др. Кто захочет, сможет прочесть подробные отчеты обо всех играх, которые публиковались на страницах журнала.

А здесь хочется процитировать наиболее удачные шутки этого первенства. Итак, о чем шутят одесситы, когда их не подслушивает Останкино.

* * *

– Если вас оскорбили в трамвае, обратитесь в суд.

– Да, а вы уверены, что судья сможет ответить лучше, чем я?

* * *

– Мой зарубежный партнер платит мне большие деньги.

– За что?

– За то, чтобы я копался тут и не мешал ему работать там.

* * *

– У вас, батенька, дети есть?

– Сейчас! Они у меня есть, они у меня пить, а я за ними ходить и убирать!

* * *

Одесские ученые сделали открытие. Оказывается, лучшие в Украине телевизоры делают в Японии.

* * *

– Я вчера на Дерибасовской девушку фотографировал, так у нее лицо в объектив не помещается!

– Ну ты и загнул!

– Я загнул, а оно все равно не помещается.

* * *

– Вот у меня папа бизнесмен, булочками торгует. У меня этих булочек…

– И у меня папа бизнесмен, шоколадом торгует. У меня этого шоколада…

– А у меня мама бизнесмен. У меня этих булочек, шоколада и пап…

* * *

– А в старину вообще водку ведрами пили.

– Ведрами пили, ведрами и закусывали.

* * *

– Сейчас перед нами выступит человек, который последним видел Сталина.

– Не может этого быть! Я точно знаю, кто последний раз видел Сталина.

– И кто же это?

– Это Ленин в Мавзолее.

* * *

– А Катя вчера гуляла с соседским мальчиком.

– Так у соседей же девочка?..

– Вот с ее мальчиком она и гуляла.

* * *

– Будешь гадости говорить, я твоей маме расскажу, что ты с Васькой целовалась.

– Я взрослая, мне можно…

– Тебе можно, а Васька после этого заикается.

Должен сказать, что уровень первенства оценил тогдашний редактор телевизионного КВН на Центральном телевидении Михаил Марфин. Я пригласил его в жюри на финал, и после игры он сказал мне: «Любая из трех команд-финалистов, если она приедет в Сочи, будет играть в сезоне высшей лиги».

Увы, ни один из финалистов не смог в том году достать денег на ежегодный фестиваль КВН в Сочи. Начинался кризис, который в конечном итоге погубил «Одессу» и все ее планы.

А еще… А еще… А еще… Вместо послесловия

А еще были наполеоновские планы создания видеоверсии журнала «Одесса»… И один выпуск даже вышел в эфир.

А еще планировали бесплатно распространять журнал на пассажирских судах ЧМП. Бесплатно, естественно, для пассажиров. Но в ЧМП закончились пассажирские суда…

А еще собирались выпускать два приложения к журналу: более дорогое – литературно-художественный альманах «ОдессАрт», и более дешевое детское – «Одесся»…

А еще…

А еще…

А еще…

Но, как говорится, человек предполагает, а финансы не располагают.

Издание нашего журнала с его высоким полиграфическим качеством, обилием цветных иллюстраций, к сожалению, не пол-

ностью покрывалось продажей и рекламой на его страницах, а тут еще экономический кризис конца 90-х ударил по всей Одессе – разумеется, и по нашей… И журнал ушел в историю.

А через два года родился альманах «Дерибасовская – Ришельевская», где работают мои друзья. И если вы читаете эти строки, то вышел в свет уже девяносто второй номер.

Феликс Кохрихт

Айзенштадт в Дюссельдорфе

1957 год. Первокурсник Одесского военно-морского медицинского училища Раф Айзенштадт

Звучит не так убедительно, как Ширвиндт в Ширвиндте (предки известного артиста происходят из этого немецкого города), равно как и Кохрихт в Аугсбурге (мы – оттуда). На самом деле мой давний друг Раф родился в Баку, учился и жил в Одессе, но в конце XX века переехал в столицу федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, где уже много лет яркая творческая фигура в среде не только наших бывших земляков, но и коренных жителей.

Он провел десять литературных фестивалей, написал и издал три книги, одну из которых, «Вечера на хуторе близ Дюссельдорфа», недавно переслал мне сыном Дмитрием… ныне – одесситом.

Много лет назад (шел 1957 год) мы всерьез увлекались Гоголем (и это –правда!) и открывали для себя великих земляков: Бабеля, Ахматову, Багрицкого, ранее запретные главы романов Ильфа и Петрова. Снабжал нас этой литературой Фима (Фома) Фок. Впервые мы встретились в старинном здании на углу

Уже штатские соавторы «ФД – РД»

Год 1960. Городские пижоны

Начало 1960-х. По улице Белинского к Эду Штефану на встречу Нового года.
Впереди с тарелкой – я. Радиолу несут Ксана Добролюбская, Раф и Вова Владимиров

Садовой и Торговой – на плацу Одесского военно-морского медицинского училища. Раф был в матросской форменке и брюках клеш: он год здесь уже проучился, а мы только поступили. Но медики для подводных лодок из нас так и не получились: училище расформировали, и наша бурса осталась без бескозырок и парадных палашей.

Закончили же гражданское медучилище в клиниках (я – в психбольнице на Слободке) и лабораториях. Но больше, чем медицина и здравоохранение, занимали нас книги и концерты – особенно джаз и рок. Мы учились на заочных отделениях вузов: я – на филфаке, который и привел меня в журналистику.

Раф и я дружили с артистами знаменитого студенческого театра «Парнас-2» и даже написали для него пьесу, которую подписали «ФД – РД». Отчества у нас одинаковые – Давидовичи. Пьеса эта не пошла, но было весело.

Наша компания состояла из умных и очаровательных девушек, среди которых блистали две Лины, и ребят, среди которых был и Юра Михайлик, ныне выдающийся поэт.

Дюссельдорф. Раф и Галя Педаховская подводят итоги очередного поэтического турнира

Какое-то время мы жили рядом – на углах: Таня и я на Заславского и Чичерина, Галя и Раф на Кузнечной и Чичерина. Родители Тани Вербицкой и Гали Педаховской до войны входили в круг одесской «недобитой» интеллигенции, в котором жила и семья будущего гениального пианиста Святослава Рихтера. И это сближало…

К сожалению, за прошедшие годы мы виделись всего пару раз. То мы в Дюссельдорфе, оправляясь в круиз по Рейну, не заставали их, то они в Одессе – нас…

Книги родителей принес нам Дима Педаховский. Я помню, как он родился в большой породистой одесской коммуналке. Дима – бизнесмен, собиратель работ современных одесских художников, что опять же – сближает.

Вы видите обложки сборника произведений Рафа и путеводителя по Дюссельдорфу, который составила Галя. А я передал им, нашим давнишним авторам, юбилейный, девяностый номер альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» и пригласил вновь у нас печататься.

Григорий Яблонский

Бокс с Фигурой

Вернувшись из своего самого отдаленного круиза, Геннадий Фомич собрал всю контору и спрашивает:

– Вот вы, Чушков, сколько дел обрабатываете за день?

– Ну как когда, – замялся Чушков.

– И так всегда! – зафиксировал Геннадий Фомич и раскрыл свою новую записную книжечку со светящимся устройством. – А в это же время ваш коллега Наоси-сан из фирмы «Фудзияма» прокручивает до полной ясности сорок восемь вопросов, выполняет не меньше девяти новых указаний и три ежедневных личных поручения своего шефа.

– Ну да, японцы – они такие!.. – хмыкнул старший экономист Фингалов.

– А мы-то какие?! – обозрел свой коллектив Геннадий Фомич. – Вот давайте выясним у тишайшего Чушкова: получая новый посыл, а тем более руководящее замечание, какие скрытые эмоции испытывает он по отношению ко мне лично: мол, послать бы тебя, начальник, самого и подальше!.. А? Открывайтесь, Тихон Тихоныч!

– Как можно… – смутился Чушков, – такое скажете…

– Можно!! – освобождаясь от условностей, шеф расстегнул новый пиджак, за которым сверкнула подтяжка с солнечным иероглифом. – И скажу: сам я не в высоких кабинетах начинал и всякое получал! Потому давайте начистоту: если в процессе сложных контактов со своим начальником и у вас накапливается желание выдать ему «Ах ты, старый зануда, чего пристаешь со своими поручениями и замечаниями? Взять бы тебя за подтяжки…» и так далее, – это же нормальная реакция для всякой подчиненной личности. И как считают японцы, не надо ее глушить!

На отложенной записной книжечке замелькал красный сигнал. А у Чушкова даже уши побурели. Прочие сидели пока без всяких признаков.

– Неужели я такой несоответствующий руководитель, – заглянув в книжечку, перешел к выводам Геннадий Фомич, – что даже столь слабых эмоций не возбуждаю у своих подчиненных?

– Ну почему же, Геннадий Фомич? – вдруг заволновалась кадровик Берта Аркадьевна. – Бывает, и не такое, и не так хотят выразить! Но мы же на работе, а не в трамвае или дома – вот там и выражаем всё свое, которое тащим с собой!

– Так вот, – акцентировал Геннадий Фомич, – со служебной этикой у японцев гораздо строже, чем у нас. Там вообще жуткое таинство какое-то: кроме угодливых улыбок и поклонов, ничего не увидишь – так что от их вежливости нашего непривычного оторопь берет! Но что на самом деле? Оказывается, и у самого сдержанного японца, по их же данным, негативные эмоции накапливаются и зашкаливают! И даже тамошние стихийные бедствия – клин клином не меняют ситуацию. И сакуры в виде оч-чень красивой японской разгрузки цветут не каждый день… Да, а от своих законных отпусков эти жуткие трудоголики сами отказываются. И только после самопродленного почти до четырнадцати часов рабочего дня (в пользу родной фирмы!) они позволяют себе «расслабляться» за бутылкой саке в ближайшей забегаловке. Ну а после этого безобразная явка домой к полуночи – со стрессом для жен и детей! И вот такое общее зло грозило всем сферам японской жизни не меньше тайфунов!

Книжечка засветилась желтым, а Геннадий Фомич прошелся взглядом по лицам:

– А то, что назревает у нас, мы должны осознать? Вот вы, точно взволнованная Берта Аркадьевна, какой видите выход?

– У нас он там, где вход, – отвечает. – Тебя размазали, а ты не вмазал – и каждый молчит в тряпочку. Или бегом на лестницу курить и материться – про себя! Типа расслабиться…

– Увы, оба действия дурацкие – никакого расслабления и пропащий рабочий день! – отмел Геннадий Фомич и сам же нажал совсем другую, зеленую кнопочку на своей книжечке.

– А вот японцы таки нашли свой супервыход! В каждой крупной компании стали оборудовать специальный бокс психоэмоциональной разгрузки. С полной звукоизоляцией. Но не это самое главное. А то, что в центре каждого бокса помещена фигура здешнего босса в натуральную его величину. Причем точная копия – можно сказать, двойник. Всеми глубоко уважаемый и даже любимый – несмотря на сложности характера – он изготовлен из суперпрочного, но и очень упругого материала. Более того, дубль-босс не молчит. Своими характерными замечаниями на тонах особо вежливой самурайской лексики босс-фигура встречает каждого подчиненного, получившего приглашение в этот бокс. А по вопросам неотложным, срочным и даже очень личным запускают вне всякой очереди!

– Извиняюсь, шеф, – заерзал Фингалов, – а зачем они туда?..

– Извиняю, – усмехнулся шеф. – Туда – на бокс с фигурой шефа, где каждый подчиненный за каждую свою проглоченную обиду намолотит ему такой, простите, мордобой, что уходит оттуда человеком, а не беззащитной рабсилой!

– Прям х-харапури какое-то…– заикнулся Чушков. – И не с-страшно им?..

– В Японии еще и цунами бывают, – пояснил Геннадий Фомич. – А у нас тут пока не страшно путать хачапури с харакири! Жестокое личное средство от самурайского проигрыша и смертельного стыда в императорской Японии давно отменено. А теперь уже стыдно быть ничтожными личностями, по-нашему – винтиками, многим японцам. Они выходят из таких боксов благодарно избавленными от своего личного подлого негатива. После чего работают с полной отдачей. Разве это не выигрыш для всей Страны восходящего солнца?!

Книжечка на столе шефа сверкнула всеми своими кнопками и четко произнесла: «Аригато-о!».

– Кррасиво благодарят! – крякнул Фингалов. – Сказано – японцы…

– Вот вы, вместо того чтобы ерзать и крякать, – заметил Геннадий Фомич, – лучше бы задумались: а как данный передовой опыт использовать у нас? Разве нам не по силам выделить специальное разгрузочное помещение и создать там свой бокс с руководящей фигурой?

– Чьей? – тихо произнесла кадровичка Берта Аркадьевна.

– Моей, – ответил Геннадий Фомич. – Чьей же еще!

Через полчаса, когда до всех дошло, что шеф не шутит, в нашей конторе, то есть, простите, в офисе, все буквально загорелись! Помещение для бокса нашли быстро, очистив от всякого печатного хлама крайне редко посещаемый отдел НТИ. Самим боксом стала ранее приобретенная серьезная будка для охраны. А вот с Фигурой возникли временные трудности. Фирменного суперупругого и ударопрочного пластика (применяемого в космонавтике!) выбить сразу не удалось. А создавать образ управляющего известной госорганизацией из какого-то поролона было бы актом несовместимым. Вот тут старший экономист Фингалов, у которого оказались связи в кругах, близких к ритуальным, взял и предложил, простите, переплюнуть фирму «Фудзияма», изваяв нашу Фигуру из ценного камня отечественной добычи. Но… Во-первых, как потом выяснять отношения с камнем без камней в руках? А во-вторых, сам Геннадий Фомич, разобравшись с кадровым главбухом Яковом Наумовичем Шимановичем, понял, что при жизни это как-то неудобно.

Поэтому решено было пока остановиться на Фигуре из литой резины (типа для автопокрышек). А поверх – узнаваемая одежда двойника (которой уже не жалко!). Для создания же самой важной части Фигуры – надеть на соответствующую резиновую болванку художественное папье-маше с полным портретным сходством! Приятно, что у самого немногословного главбуха Якова Наумовича для этого таки нашелся недорогой, как для таланта, вариант. Им был его внук Изя – гордость выпускного курса местного художественного училища по разделу скульптуры.

– Прям трудно отличить!.. – вздрагивали все причастные во время помещения новой руководящей Фигуры в кресло за новым двухтумбовым столом – совершенно идентичными мебели в кабинете самого Геннадия Фомича.

И как же было обидно узнать, что его самого в этот важнейший период направляют на ежегодные курсы дальнейшего повышения квалификации госчиновников высшего ранга при кабмине. Всегда у нас так: если радость, то и гадость!

И вот он – наш первый день с «Шефом в боксе». Уже во время честно разыгранного первого захода Чушков недаром провел отведенные ему десять минут: протер специально взятым из дома свежим носовым платочком стол, осторожно удалил с плеча шефа какое-то пятнышко… А когда в ответ на легкую вибрацию Фигура шефа его голосом произнесла: «Чем же, Чушков, вы здесь занимаетесь?..» – ну и еще несколько справедливых замечаний покруче, только тогда Чушков задышал чуть глубже, все признал, извинился и не без огромного облегчения выскользнул из бокса!

Старший экономист Фингалов – тот для разгрузки взялся пылесосить ковер в боксе и никаких замечаний в свой адрес в принципе не расслышал, и на цыпочках вышел.

Берта Аркадьевна, проветрив это закрытое помещение, принесла и установила в боксе букет самых живых цветов. Так и пошло…

Вскоре в этом тесноватом кабинете, но в спокойной деловой обстановке уже ставились и решались наболевшие вопросы. Той же Берте Аркадьевне удалось вырасти в зарплате на десятку. Старший экономист Фингалов поднялся до главного (а прежнего главного здесь же с почетом и кое-какой выплатой наконец отправили на пенсию). Застенчивый же Чушков даже попросил перенести свой отпуск с февраля на август. И получил желаемое! А через несколько дней в это строго охраняемое спецпомещение сумел каким-то образом проникнуть первый деловой посетитель, явившийся за визой управляющего. Вышел он с визой!

После этого число желающих попасть в заветный бокс настолько увеличилось, что пришлось сократить регламент с десяти до пяти, а потом и до двух минут – и утвердить строгий график приема по служебным, личным и иным вопросам. И все было бы даже лучше, чем у японцев, если бы в коллективе не нашелся один сексот (а ведь такие у нас в каждом коллективе!). И этот совершенно не пригодный к службе Шунтягин, пробравшись в бокс, нахамил там и даже пытался поднять руку на Фигуру! Конечно, его осторожно извлекли оттуда – и даже согласились слегка поднять этой гадине зарплату. Но наглеющему Шунтягину все было мало, и он пригрозил, что завтра пойдет куда следует с доносом!

Наверно, этот гад еще не добрался по известному адресу, когда мы услышали грохот из своего бокса! Что там?! Перед взорами заглянувших предстала ужасная картина. Наш неожиданно вернувшийся Геннадий Фомич, вооруженный одной возрастной палкой, разбирался не только со своей Фигурой, но крушил все вокруг! Когда же Фигура стала обезглавленной, а голова, лишившись мятой портретной маски, – просто резиновой болванкой, – он зафутболил ее в темный угол.

– Чего пялитесь, служивые? – сказал нам. – Приятный бокс себе устроили! Верно в нашей тургруппе один затесавшийся поэт такое сложил: «Япона-мать – ей с совком один другого хрена понимать!».

Строчка, конечно, загадочная, но Геннадий Фомич сам ушел, и не глядя на пенсионный возраст, на известном здесь километре бокс японских товаров держит. А контору разогнали за полной ее ненадобностью.

プレートを破って、金の破片を燃やしてください-日本人のペレシプで!

Одесса, девяностые годы. Совка здесь вроде уже нет. Но все совковые по новым кабинетам сидят и по ресторанам гуляют. Потому и вспоминается остальным давно желанная здесь песенка: «Бей тарелки, жги червонцы – на Пересыпи японцы!» (выше по-японски).

О спорт, ты – мир

372 Михаил Пойзнер
«Прошло пятьдесят лет, а все как перед глазами…»

«Прошло пятьдесят лет, а все как перед глазами…»

Интервью с легендарным одесситом Яковом Ильичом Железняком – чемпионом Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене в стрельбе по мишени «бегущий кабан»

Яков Ильич Железняк (р. 1941) – советский и украинский стрелок, многократный чемпион мира, Европы, СССР в стрельбе в винтовочных упражнениях. Олимпийский чемпион (1972), заслуженный мастер спорта СССР (1972). Кавалер ордена «Знак Почета».

Живет в Одессе.

– Известно, что в 1967 г. советское руководство отказало вам, к тому времени известному спортсмену, в выезде на чемпионат мира в Италию в связи с военными действиями в Израиле. В знак протеста вы покинули сборную… Как это было?

– …Стрельбой я увлекся в четырнадцать лет, когда еще учился в Одесском машиностроительном техникуме. И уже в 1955 г. стал выступать за спортивное общество «Динамо» (Одесса).

Так это начиналось…

В 1967 г. на Спартакиаде народов ССР я завоевал две золотые медали, поставил два рекорда СССР выше мировых.

Готовился к чемпионату мира в Италии. Чувствую, вдруг начались какие-то придирки. Одному мне – контрольная проверка: «Никто не будет стрелять, кроме Железняка…». Отстрелялся, результат – высшее достижение сезона. Причем я уже был членом сборной СССР. Тренер снова объявляет: «Контрольные стрельбы». Стрелял вместе с каким-то запасным…

Понял: будут искать зацепки… Война на Ближнем Востоке. Израиль. И все такое…

Я к руководителю стрелкового комитета «Динамо» Исааку Борисовичу Западинскому – авторитетнейшему человеку, на ко-

тором, в принципе, держался весь стрелковый спорт. Он: «Ты же взрослый, решай сам…». В наш разговор вклинился Саша Забелин, пистолетник, заслуженный мастер спорта, член сборной СССР: «Ты что, не понимаешь? Никуда не поедешь. Вашего брата

теперь не выпустят. Будут устраивать всякие проверки, пока ты сам не сорвешься».

Стало обидно. Официально мне никто ничего не говорил. Пошел на контрольные стрельбы и… начал валять дурака. Специально отстрелялся халатно. Как бы назло.

Собрал вещи и уехал в Одессу. И тянулось это до 68-го года.

– Отголоски той Шестидневной войны 1967 г. на Ближнем Востоке еще как-то сказывались на вас?

– 1967 год… После Спартакиады народов СССР в Киеве устроили торжественный прием по случаю успешного выступления команды Украины. Поздравления, награды, подарки… Присутствовал сам Щербицкий – тогдашний первый секретарь ЦК КПУ!

Достаточно сказать, что украинские стрелки взяли четыре (!) золотых медали, в том числе моих – две. Вручали высшую награду Советской Украины – грамоту Верховного Совета Украины! Насколько мне помнится, за нее даже были какие-то льготы…

Ну, думаю, сейчас вызовут меня. Сидел в сладком ожидании.

Не вызвали. Мне – ничего. Было такое ощущение, как-будто меня обокрали…

А через какое-то время спросил главного тренера, моего большого друга: «Коля! Объясни, почему так?! Всем, а мне – нет». В ответ: «Ты что! Я тебя сразу же включил в список. А начальство мне: зачем ты его поставил? Еврея в этот список?! Если хочешь, чтоб другие получили, вычеркни его сам».

Так это было… Время такое…

– Только в 1969 г. в программу Олимпийских игр включили стрельбу по «бегущему кабану». Как вы восприняли это?

– Конечно, сразу воспрянул духом. Советовался с близким другом, известным одесским боксером Ромой Песиным*. Я понимал: чтобы вернуться в сборную, надо быть на голову выше других.

* Песин Роман Давидович (1939-1998) –мастер спорта СССР. Трехкратный чемпион Одесского военного округа, неоднократный чемпион Одесской области, призер первенства Украины и Молдовы. В 20 лет – финалист первенства Вооруженных сил СССР. Чемпион ЦС ДСО «Водник». В память о Романе Песине в Одессе проводятся ежегодные международные соревнования, а также турниры по боксу среди юниоров.

Начал серьезно тренироваться, прежде всего, занимался физическими упражнениями. И боксом в первую очередь.

В 68-м на первенстве Союза выиграл три медали – серебряную и две бронзовых. К этому времени в сборной, как говорится, сменилась власть. И вот на сборах сидим в гостинице, играем в кинга. Один из наших жутко курил, а я, вообще-то, иногда только покуривал. Тут заходит группа тренеров. Дым столбом! И сразу именно по мне: «Железняк! А мы думали, что ты одумался…».

От чего я должен был одуматься?!

И тут назло всем я специально закурил…

А мне говорят: «Ты что?! Они же пришли приглашать тебя в сборную!».

Опять я оказался вне сборной.

После этого в 1971 году была Спартакиада народов СССР, где я снова сильнее всех. Мой рекорд – выше мирового!

Вот так потерял пять самых лучших лет.

Все равно – обида обидой, но я готовился, не жалея сил и времени.

А когда уже подходили к Олимпиаде-72, на коллегии спорткомитета, еще за полгода до Олимпиады, сам Павлов** внезапно спросил: «Говорят, в Одессе есть парень, который стрелял выше мировых рекордов. Почему он не в сборной? Почему нет Железняка?!».

Ему робко намекнули: «А он курит».

Павлов не сдержался: «Курит?! Да если он привезет медаль любого достоинства, я официально разрешу ему курить и еще бутылку поставлю!». Так меня снова вернули в сборную.

И еще о придирках.

До Олимпиады на сборы ко мне в Москву приехали жена Валя с сыном. Я отпросился на ночь.

Тренер сборной СССР по стрельбе, эстонец Энн Иоганович Меривяли, проверял только меня одного. Дежурный тренер нашей пистолетной группы латыш Янис Лацис сказал мне: «Ну смотри, но только в понедельник на зарядке чтобы обязательно был».

** Павлов Сергей Павлович (1929-1993) – советский государственный и общественный деятель. С 1968 по 1983 г. – председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.

Утром в понедельник, в 6:30, я уже был на месте. И все же: «Вы отчислены из сборной». При этом наши, все остальные, только-только начали выползать на зарядку. Я уже собрал вещи на Одессу. Тут меня остановил Янис Лацис, у которого я отпрашивался. Как-то ему удалось отстоять меня.

Нервы… У меня на теле даже появились какие-то пятна. Потом мне моя мама, а она врач, определила: «Это на нервной почве».

Так что, не все так просто.

…Вообще, честно говоря, для меня самые страшные дни – дни, когда меня включили в сборную. Я, как никто другой, понимал, что обложен со всех сторон. Мой результат должен быть никак не ниже второго места.

Чуть забегая вперед, скажу, что в сборной был еще один стрелок-еврей, Боря Мельник* из Львова. В итоге тогда в Мюнхене он стал серебряным призером.

А что я?

Как только мог, старался держать себя в руках, не нервничать. Чтоб все без эмоций, чтоб сохранить себя для уверенной стрельбы.

Я стрелял 31 августа и 1 сентября. Стал первым! Тут же Павлов вручил мне «Заслуженного мастера спорта СССР».

Кстати, тогда на Олимпиаду поехали еще четыре одессита и все вернулись домой с медалями – Женя Лапинский, Юля Рябчинская, Володя Семенец, Коля Авилов. Знай Одессу!

– Яков Ильич, в сентябре 1972 г. в Мюнхене в качестве заложников были захвачены израильские спортсмены. Какова была обстановка на Олимпиаде, связанная с этими событиями? Что запомнилось?

– Конечно, помню эту трагедию. И сейчас все перед глазами.

С окончанием нашего выступления всю команду стрелков отправили домой, а меня с Борей оставили для участия в закрытии Олимпиады. Я старался не выходить в город, хотя нам дали даже

* Мельник Борис Петрович (1945-2016) – советский стрелок, серебряный призер Олимпийских игр в Мюнхене (1972). Заслуженный мастер спорта СССР (1972). Двукратный чемпион мира (1970), шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР. Эмигрировал в Израиль.

какие-то премиальные. Потом все же решили поехать в центр, хотя бы что-то взять домой.

И вот выходим из корпуса, где жили, идем в сторону столовой. Встречаем наших фехтовальщиков: «Вы знаете, что еврейскую делегацию захватили?!».** Сначала подумалось: это очередная шутка. А тут видим, стоят спецмашины, бронетранспортеры… Совершенно другая, какая-то очень настороженная обстановка.

Увидели одного из израильских стрелков, его обступили, расспрашивают. Вокруг толпа народу. Поняли: произошло что-то очень серьезное.

Мы быстро выскочили в город, выходим из метро. На нас рубашки с советской символикой и надписью «СССР». Вокруг паническая атмосфера. Люди избавляются от билетов на соревнования. Слухи, что Олимпиада будет вот-вот закрыта. По дороге попались какие-то туристы из Чехословакии. И сразу к нам: «А, русские?! Вы у нас в Праге тоже стреляли». Мы, конечно, огрызнулись, не совсем понимая, какое это имеет отношение именно к нам.

В Мюнхене в витринах практически всех магазинов работали телевизоры. На экранах – пустые трибуны, траурные мелодии. Жутко…

Заходим в большой магазин. Мы-то вообще тогда мало что знали об этом нападении, а тут слухи: «Это рука Москвы! У них автоматы Калашникова…». Все смотрят на нас, мягко говоря, недружелюбно. Тут один на русском языке: «Вы из сборной команды? Как вы воспринимаете эту ситуацию?!». Мы ответили, как чувствовали. Мол, это бардак! Даже войны останавливались во времена Олимпиад. А тут такое… Видим, к нам уже относятся как-то по-другому, с каким-то даже сожалением.

Подошли к главному входу в олимпийскую деревню. Стоит мужчина в советской форме. Кричит: «Куда вы ходили?!». Мы: «Чего это на нас орете?!». Понятно, это был наш «смотрящий»,

** 5 сентября 1972 г. в Мюнхене произошел теракт. 11 израильских спортсменов (4 тренера, 5 участников соревнований, 2 судей) были захвачены палестинскими террористами из организации «Черный сентябрь». Операция по спасению заложников завершилась провалом – все заложники погибли. В ночь на 6 сентября 5 из 8 террористов убиты в ходе спецоперации.

очередной чекист. Оказывается, нас с Борей уже искали. Мол, пропали два еврея. Мало ли что?!

Вся советская команда на казарменном положении. Под охраной немецких автоматчиков. Место нападения террористов огорожено канатами, а вокруг шатается много олимпийцев из разных команд.

Какая-то неразбериха. Потом выяснилось, что немецкие спецслужбы отказались от помощи Израиля, имеющего огромный опыт борьбы с террористами. А у самих-то ничего не получилось…

Немцы решили замаскироваться под спортсменов, но это было даже нам очень заметно. Надели футболки прямо на военную форму, в туфлях вместо кроссовок. К тому же с автоматами через плечо. Примитивно… Мы их, помнится, даже освистали.

– А какова была реакция руководства советской делегации на эти события?

– Наши руководители нам, конечно, ничего не пояснили. Как обычно, сами не могли принять решение, взять ответственность на себя. Как водится, ждали указаний из Москвы. А может, из нашего посольства.

Кстати, через русского переводчика стрелки израильской команды знали, что в сборной СССР по стрельбе – два еврея. И что именно они оказались лучшими.

В те минуты я воспринимал эту ситуацию так, что вроде бы все уже договорились до чего-то. Предоставили самолет. Мол, отпустят заложников. Прилетели вертолеты, все пересели в них. Вначале даже говорили, что террористы поменялись с заложниками одеждой.

Стемнело… Стрелки… Снайперы… Крики…

Мне подумалось: на каждого террориста – по несколько снайперов. Началась беспорядочная стрельба. Взорвали вертолет с заложниками.

Во все это не верилось до конца…

Вокруг аэродрома немцы устроили облаву. Трех террористов поймали, убили пятерых.

На следующий день – траур. Вообще никто не знал, будет ли продолжение Олимпиады.

Арабские делегации сразу же покинули Мюнхен. Делегации всех стран, кроме Советского Союза, участвовали в траурной церемонии.

Наши ребята возмутились: «А мы что, уроды? Почему мы не идем?!». В ответ: «Мы заботимся о вас. Есть информация, что готовится акция против советских спортсменов».

Ничего лучшего придумать так и не смогли.

Вот тебе на деле спортивное единство всего мира…

Честно говоря, я выдохся, обессилел… Долго не мог прийти в себя от всей этой политики, от вопиющей несправедливости.

Все это как-то сразу проявилось и сработало.

Очень хотелось домой, в Одессу.

Для следующей Олимпиады, в Монреале в 1976 г., у меня, честно, уже не было того запала. А наши ребята молодцы, заняли первое и второе места.

– Говорят, что в те годы вы встречались с самим Михаилом Калашниковым – легендарным конструктором стрелкового вооружения. Как это было?

– После Олимпиады в Мюнхене стрелковое руководство спорткомитета СССР командировало меня в Ижевск для изготовления по спецзаказу персонального спортивного оружия.

Надо сказать, что в то время простому смертному попасть на оружейный завод, тем более в Ижевск, было практически невозможно. Все, что связано с оборонкой, строго засекречивалось. Тем более что мне предстояло попасть в экспериментальный цех самого Калашникова! Сам Калашников заточен только на оборонку, повернуть его в сторону спорта было нереально.

Как говорится, прошел всевозможные проверки, всякие допуски и пропуски. Вот я уже четвертый день на заводе. Работы над моим ружьем подходят к концу. У меня в кармане уже обратный билет на самолет – рейс «Ижевск – Москва – Одесса». И тут в этом экспериментальном цеху я лицом к лицу сталкиваюсь с Калашниковым!

Калашников строго спросил: «Почему в цеху посторонние?». Подняли на ноги охрану, срочно собрали совещание. А он опять: «Почему посторонние в цеху?!».

Тогда один из специалистов, который занимался мной, ответил: «Это не посторонние. Это член сборной страны по стрельбе. Он специально направлен специально к нам за персональным оружием. Он чемпион Олимпийских игр в Мюнхене».

Калашников все же каждый раз повторял: «Ну и что? Ну и что?!».

И тут выложили главный козырь: «Он единственный в нашей команде (!) и единственный из олимпийских чемпионов (!), кто стрелял из отечественного оружия. Оружия нашего завода!».

После длинной паузы в мертвой тишине Калашников произнес: «Снимайте любого рабочего, любого специалиста! Сделайте все, как следует…».

В итоге получилась прекрасная винтовка!

Я из нее установил несколько серьезных рекордов, включая мировой…

Записал Михаил Пойзнер

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
«Наших дурят» 6

Юрий Михайлик
Не верю снам 8

Под звуки воздушной тревоги

Людмила Шарга
Вспомнился «Щедрик» 12

Виктория Коритнянская
Маленький рассказ про чудо 16

Юлия Мельник
Позволь 18

Тая Найденко
Стресс и ярость 19

Анна Михалевская
Два направления одного замкнутого пространства 22

История, краеведение

Андрей Добролюбский
«Жезл гнева» 26

Белла Кердман
Геверет Юдит, дочь пана Владислава 40

Макс Нужный
Яков Юльевич Бардах 48

Олег Недоступ
«Я родился с написанной биографией» 57

Виталий Оплачко
Румейские хроники 68

Михаил Пойзнер
Мой Губарь... 84

Проза

Григорий Барац
Леон 90

Вадим Чирков
Страна недописанных сказок 102

Ганна Костенко
В епіцентрі глухої невідомості 116

Анна Михалевская
Особенности понимания 135

Витя Бревис
Актуальные рассказы 143

Ігор Паночишен
Почуття 152

Алена Жукова
Уроки музыки 156

Леонид Лейдерман
Письмо в соседнее столетье, или Коханая вийде 166

Михаил Пойзнер
Баротравма уха 185

Александр Хинт
Две миниатюры 188

Виктор Шендерович
Как я теперь живу 195

Поэзия

Татьяна Мартынова
Переводы с украинского 198

Юлия Пикалова
Антивоенные стихи 205

Анастасия Яковлева-Помогаева
Emergency 213

Віталія Бабущак
Під співи ракет 216

Ирина Евса
Сверток 222

Анна Маліцька
Будь вільним чи загинь в бою 227

Майя Димерли
В бутылке джина вы не найдете джинна 232

Владислав Китик
Рождество 234

Искусство – жизнь – искусство

Евгений Деменок
«Поэту в этот город сложно не вернуться…» 236

Валерий Романов
Династия Мюльбергов: как силач певец из Эстонии Одессу покорил 257

Евгений Голубовский
Одесские музы поэтов 266

Феликс Кохрихт
Рисуют Рябченки 271

Юлия Жаркова
Опасные цветы 274

Публикации

«Видумать може поет те, чого з ним не було», або «Такий я ніжний, такий тривожний»... 282
Публікація Олени Яворської

Евгений Голубовский
Одесский след 300

Евгений Голубовский
Песни гнева 304

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«Дело серьезное и нелегкое» 308

Путешествие

Евгений Деменок
Италия. Страна бесконечных сокровищ 336

Ах, Одесса

Феликс Кохрихт
Ах, «Одесса»! 348
Сергей Осташко
Город, мы и журнал 350

Феликс Кохрихт
Айзенштадт в Дюссельдорфе 360

Григорий Яблонский
Бокс с Фигурой 363

О спорт, ты – мир

Михаил Пойзнер
«Прошло пятьдесят лет, а все как перед глазами…» 372

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 92

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 92

Издается с 2000 года

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 23.01.2023
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 100 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.
E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34
www.takibook.od.ua